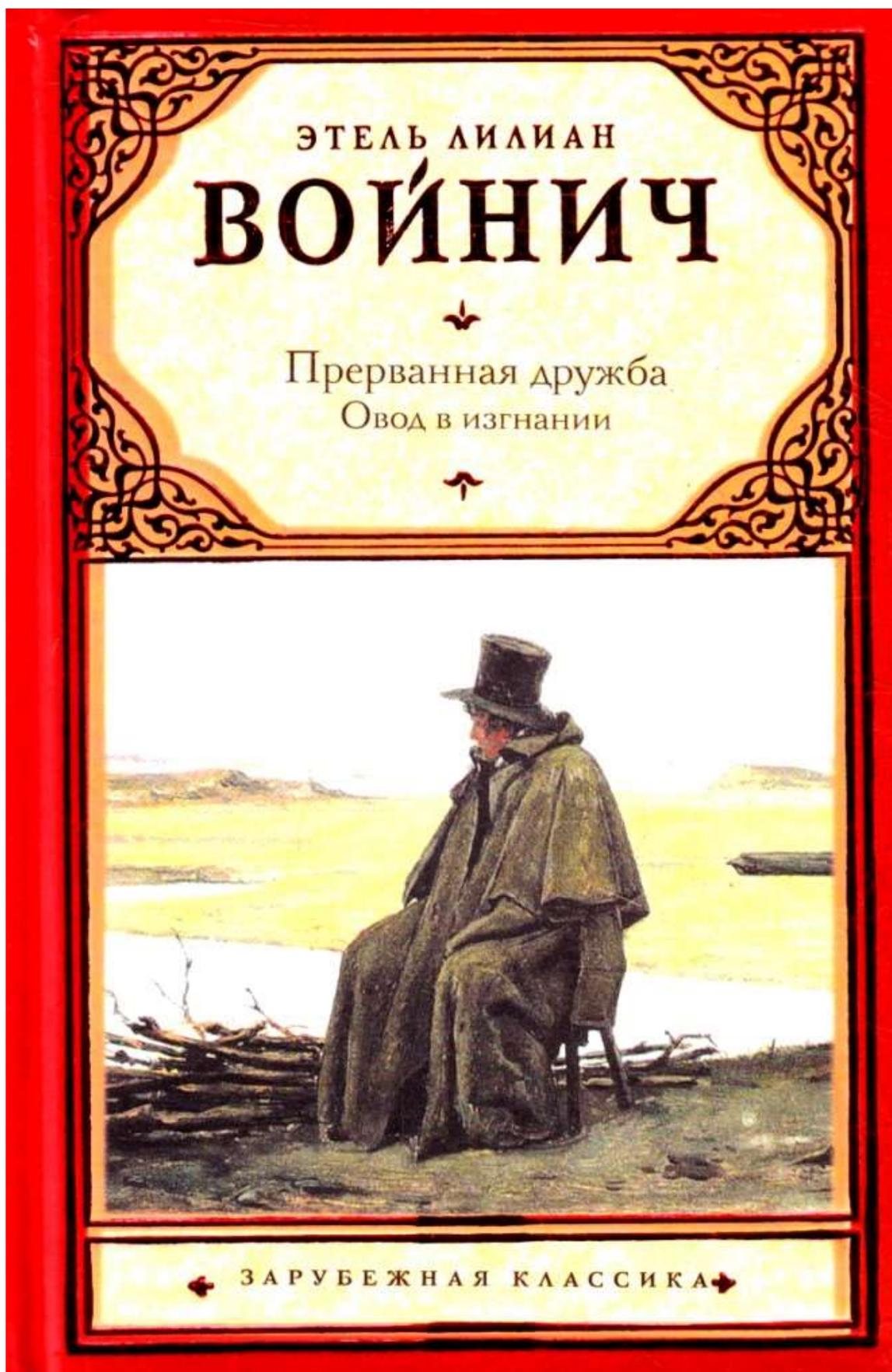


Этель Лилиан Войнич

# Прерванная дружба



## Аннотация

*Роман «Прерванная дружба», в котором автор вновь возвращается к своему любимому герою Оводу, описывая его приключения во время странствий по Южной Америке.*

## ГЛАВА I

Похоронная процессия медленно прошла по раскисшей глинистой деревенской улице и поднялась на холм, где находилось кладбище. Позади плелось несколько старух в белых чепцах; некоторые плакали. Встречные обнажали головы и истово крестились – и не только по привычке: госпожа маркиза была добра к бедным, и они искренне сожалели о её кончине.

Правда, настоящих бедняков в Мартерель-ле-Шато не было. Страшное чудовище – бедность в прежнем её понимании, ужасающая, безысходная нищета, выпавшая на долю этих женщин в юности, – ушло в прошлое вместе со всем укладом жизни, который был сметён волной революции. Она исчезла тридцать три года тому назад вместе с барщиной и налогом на соль, с податями и сборами, вместе с дворянской гордостью и потомственными привилегиями де Мартерелей. Клубы дыма над пылавшим замком унесли с собой так много, что даже тем, кто помнил, какой была жизнь до 1789 года, она казалась теперь кошмарным сном.

Но если ты беднее своих соседей, ты уже бедняк; и теперь в Мартереле бедным считался тот, у кого не было коровы, – так изменился облик бургундской деревни за одно лишь поколение.

Для этих неудачников, а также для всех больных и несчастных покойная маркиза была добрым другом. Она не могла помогать им деньгами: революция, принёсшая благосостояние деревне, разорила обитателей замка. Но маркиза всегда относилась к крестьянам по-добрососедски и по-матерински заботилась о них; хотя она и не могла подарить корову, кувшин молока для больного ребёнка она давала с такой ласковой улыбкой и так искренне беспокоилась о здоровье малыша, что старый Пьерро сказал однажды матушке Папийон: «Никто сроду и не догадался бы, что она из этих проклятых аристократов».

Она, собственно говоря, была только женой аристократа. Дочь дижонского врача, она принесла мужу вместе со скромным приданым лишь благородство души, а не имени. Однако у него хватало знатности на двоих, о чём свидетельствовали разбитые надгробья и гербовые щиты в местной церквушке. В остальном же её приданым, как и у Корделии, была её прекрасная душа, и поэтому с уходом Франсуазы семья сразу осиротела.

Её муж, стоявший с двумя сыновьями около могилы, выглядел до странности потерянным, – могло показаться, что умерла вдова, оставив не двух, а трех сирот, у одного из которых на висках уже пробивалась седина.

Судьба была жестока к этому пожилому спокойному египтологу, внезапно свергнув его в пучину страшных несчастий. За последние две недели он провожал к этой могиле уже третий гроб. Смерть детей опечалила его, хотя, поглощённый своими книгами, он знал их очень мало; со смертью жены рушился весь его мир.

Он медленно отошёл от могилы. Было трудно поверить, что здесь похоронили его жену и что, когда они все трое придут домой, мокрые и продрогшие, она не встретит

их приветливой улыбкой, заранее приготовив нагретые домашние туфли. Четырнадцать лет она была подле него, всегда готовая сделать то, что нужно, всегда готовая стусеваться, если он был занят. Её присутствие, столь удобное и незаметное, стало необходимым условием его существования.

Это не был брак по любви. Маркиз женился по настоянию друзей и, так как ему было всё равно, предоставил им выбор невесты; однако ни он, ни она ни разу об этом не пожалели. В течение всех четырнадцати лет их совместной жизни он был неизменно учтив с женой, поскольку не мыслил иного отношения к женщине, и оставался ей неизменно верен, поскольку его влекли только духовные радости. Но хотя Франсуаза родила ему пятерых детей, хотя она была ему не только женой, но и матерью, ограждавшей его от денежных забот, домашних хлопот и волнений, он совсем не знал её и даже не подозревал, что не знает, – она была для него просто Франсуазой. Теперь же она казалась ему непостижимо величественной и даже страшной, и не потому, что её уже не было в живых, а потому, что она умерла, окружённая ореолом самоотверженного материнства.

Если бы Франсуаза узнала, что её смерть пробудит в маркизе это новое чувство робости перед ней, она бы беспредельно удивилась. Её отчаянная одинокая борьба за жизнь троих детей, заболевших тифом, представилась бы ей (если бы она вообще хоть на минуту задумалась над этим) вполне естественной, – ведь она была матерью. Но Франсуаза, женщина бесхитростная да к тому же не имевшая ни минуты свободного времени, не обременяла себя отвлечёнными размышлениями о разнице между долгом матери и долгом отца и не раздумывая рисковала жизнью, оберегая в то же время от болезни своего мужа. Жизнь выдающегося учёного была слишком драгоценна, чтобы подвергать её опасности. Он же ни во что не вмешивался – не из трусости, а просто потому, что он вообще никогда ни во что не вмешивался. Маркиз полностью доверял Франсуазе, и ему так же не могло прийти в голову усомниться в её житейской мудрости, как ей оспаривать его суждение о каком-нибудь папирусе. И вот теперь, вырвав у смерти одного ребёнка, она последовала в могилу за двумя другими, беспокоясь на смертном ложе только о том, сумеют ли слуги без неё содержать детей в чистоте и хорошо варить кофе.

Старший из мальчиков, Анри, шёл рядом с отцом и горько плакал. Ему было тринадцать лет, и он уже понимал, что мама действительно умерла. К тому же он сам только что оправился от болезни и помимо душевного горя испытывал ещё и физическую слабость. Маркиз ласково потрепал сына по плечу, и Анри поднял голову, улыбаясь сквозь слёзы. Он безгранично, так же как и его покойная мать, обожал отца. Отец был самым умным, самым учёным и самым замечательным человеком на свете, ласка отца была большой честью, утешением в любом горе. Судорожно всхлипнув, Анри перестал плакать и благодарно потёрся мокрой щекой о добрую отцовскую руку.

Маркиз был рад, что хоть Рене не плакал. Ему было очень жаль своих осиротевших мальчиков, но плачущие дети его всегда немного раздражали: они совсем не умели пользоваться носовыми платками. Рене не проронил ни слезинки; ему ещё не было десяти, и он, как и маленькая сестрёнка, ожидавшая их дома, по-видимому не понимал, что произошло. Во время похорон он только ёжился от холода.

Они миновали липовую аллею и проехали под огромной аркой ворот, по обе стороны которых высились остатки крепостных башен. Замок, огромный, сырой, обветшалый, всегда производил довольно унылое впечатление; сегодня же, когда,

забрызганные грязью и дрожащие от холода, они увидели его сквозь сетку дождя, сердце его владельца болезненно сжалось. Никогда ещё маркиз не ощущал с такой остротой его холодную суровость, его застывшую угрюмую надменность; но никогда ещё этот замок не был ему так дорог. Он любил его больше всего на свете – больше детей, даже больше книг. Книги принадлежали только ему, он любил их тридцать лет, – но цепь, которая приковывала его к этому дому, тянулась через четыре столетия. Поколение за поколением Мартерели жили и умирали здесь; их род никогда не был особенно богатым или знатным, но владельцы замка безмятежно верили в своё право на существование и были вполне довольны и собой и, в общем, всевышним. В тех редких случаях, когда они по делам или в поисках развлечений попадали в Париж, с ними порой обходились как с деревенщиной, но дома никакие сомнения не терзали их души, никакие сложные вопросы не омрачали их спокойствия; сам помазанник божий на своём троне не был надёжнее отгорожен от действительности, чем они в своём обнесённом рвом замке. И вдруг свершилось возмездие.

Войдя в огромную прихожую, маркиз вздрогнул. Неужели сегодня мало было горя? Зачем как раз сегодня ожили в памяти страшные воспоминания детства?

Старый облупленный комод уцелел во время разгрома и пожара. Он всё ещё стоял возле ниши, к которой его придвинули кормилица маленького Этьена и её сын Жак, едва успевшие спрятать мальчика. Через минуту ворота были взломаны. Скорчившись в темноте, малыш – он был тогда не старше Анри – судорожно зажимал уши, чтобы не слышать оглушительных криков, проклятий, топота ног и воплей, раздавшихся на лестнице и так внезапно оборвавшихся.

О, эти страшные вопли на лестнице!

Воспоминание о них отравляло его юность, лишая окружающий мир светлых красок; из-за них любимый дом, в который он вернулся, проведя несколько лет в Англии, вселял в него ужас, а не дарил радость. Только появление Франсуазы изгнало призраки, – рядом с таким спокойным, жизнерадостным и в высшей степени прозаическим существом не было места страхам, порождённым воображением. Неужели теперь, когда Франсуазы больше нет, призраки опять вернуться?

Маркиз с ужасом ощущал их приближение. О них напоминал даже пронзительный плач девочки в детской. В его жизни было так мало значительных событий, что это единственное страшное воспоминание так и не изгладилось из памяти; и сейчас, когда он был измучен усталостью и горем, прошлое опять вставало перед ним с отчётливостью кошмара. Ему казалось, что он снова ощущает густой, удушливый запах гари и опять слышит тревожный голос Жака:

– Этьен! Господин Этьен! Где вы? Вы живы? Они ушли, мой маленький.

Тот же самый Жак, поседевший, но по-прежнему заботливый, остановил его около двери в кабинет. Глаза его были красны от слёз.

– Господин маркиз, не забудьте переодеться в сухое. День сегодня холодный. Марта приготовила горячего супу.

– Спасибо, Жак, – благодарно ответил маркиз. – Ты всегда обо всём подумаешь. Присмотри, пожалуйста, чтобы кто-нибудь занялся детьми. И скажи, чтобы меня не беспокоили, – я хочу побыть один.

Он с облегчением вздохнул, очутившись наконец в своём кабинете за запертой

дверью, отгородившей его от внешнего мира, среди друзей юности, которые, выстроившись на полках, безмолвно предлагали ему благородное утешение. Маркиз открыл книжный шкаф, вынул «Республику» Платона и со вздохом поставил её обратно – сегодня греки не могли ему помочь. Некоторое время он не мог решить, что же выбрать, и в раздумье ласково гладил корешки любимых книг: Вольтер, Дидро, Гоббс, Гиббон; затем вынул том Монтеня и, пододвинув кресло поближе к пылающему камину, углубился в главу «О жизненном опыте».

Ветки каштанов, стучавшие в окно, отвлекли его внимание от книг. Старые громадные деревья были посажены слишком близко к дому; летом их густая листва не пропускала ни солнца, ни воздуха, а в зимние ночи шум ветра в ветвях звучал как нескончаемый стон. Франсуаза, тревожившаяся за детей, часто думала, что было бы лучше, если бы эти мрачные гиганты росли подальше от дома, но она ни разу не предложила их срубить, зная, как дороги они её мужу. С ними были связаны первые воспоминания его детства, и каждая их веточка была священна.

Сейчас постукивание веток по стеклу показалось маркизу приветствием друга. Он встал, открыл окно, сорвал несколько больших жёлтых листьев и прижал их к лицу. Хотя стояла поздняя осень, листья все ещё слабо пахли, – это был самый дорогой для него в мире запах.

Почему-то эти листья, их прикосновение, их аромат облегчили гнёт его горя. Чистые и гладкие, прохладные и душистые, они умирали с ясным и спокойным благородством, достойным самого Монтеня. Он вспомнил успокаивающие, проникнутые мудрым терпением слова: «Que les bastimens de mon aage ont naturellement a souffrir quelque gouttiere. Il est temps qu'ils commencent a se lascher et desmentir: C'est une commune necessite: Et n'eust on pas fait pour moi un nouvtau miracle»<sup>1</sup>

Все это так, но Франсуаза умерла молодой.

Маркиз облокотился о подоконник и устремил взор на поросшую лесом равнину и видневшиеся вдали на холме башни. Везде – серые силуэты на сером небе. И его жизнь такая же серая, как это небо. После кроваво-красной вспышки в самом начале она всегда была бесцветной, а теперь, без Франсуазы, светлые минуты будут совсем редки. Но как ни мало радостей сулило будущее, жить всё-таки стоит, если удастся сохранить душевное спокойствие и продолжать свою работу.

Но как можно быть спокойным, когда наверху так пронзительно плачет Маргарита? Первое, что он услышал, вернувшись домой час тому назад, был её вопль, и с тех пор она все плакала. Наверно, нянька оставила её без присмотра или не может её успокоить. У Франсуазы дети никогда так не плакали. Такой крик просто невыносим, и, наверно, трехлетнему ребёнку вредно так долго плакать. Надо положить этому конец. Однако мысль о необходимости впервые в жизни вмешаться в домашние дела приводила маркиза в ужас, и он открыл дверь в детскую с чувством робости и тоскливой неуверенности.

– Берта, – мягко сказал он. – Почему Маргарита так долго плачет? Может быть, она

---

<sup>1</sup> Организм, достигший моего возраста, обычно страдает каким-нибудь изъяном. Проходит время, и он начинает слабеть и разрушаться. Такова всеобщая закономерность. Меня это ничуть не поражает.

голодна или...

Женщина повернула к нему испуганное, заплаканное лицо.

– Все эта ленивая дрянь Сюзанна, господин маркиз. Я только на минуту пошла в церковь попрощаться с моей доброй госпожой, а она... а она...

– Что она? – спросил маркиз, стараясь разобраться, в чём же дело, и невольно морщась от шума. – Она ушибла девочку?

Нянька опять залилась слезами.

– Я не виновата, клянусь богом, не виновата! Откуда было мне знать, что она так плохо будет смотреть за нашей душечкой?

– Берта! – сурово сказал маркиз, подходя к няньке. – Что-нибудь случилось?

Нянька закрыла голову фартуком. Несколько строгих вопросов – и она во всём призналась: решив сбежать потихоньку на похороны, она оставила девочку на попечении пятнадцатилетней судомойки; та в свою очередь засмотрелась в окно, забыв про малышку, которая вышла в новых туфельках на лестницу и скатилась вниз по каменным ступеням. При падении она сильно ушиблась и рассекла голову.

Ближайший доктор жил довольно далеко; и поскольку девочка не успокаивалась, послали за матушкой Коннетель, которая умела ходить за больными. Она дала малютке макового настоя, и, когда девочка заснула, объявила, что ничего страшного не случилось – все кости целы.

Тем не менее маркиз не совсем успокоился. Но вскоре новая беда заставила его забыть про Маргариту: Анри – простудился на похоронах, и так как он ещё не успел окрепнуть после тифа, то ночью ему стало очень плохо. В течение десяти дней отец не мог ни о чём думать, кроме угрозы новой, четвёртой по счёту, потери; когда же опасность миновала, синяки Маргариты почти совсем прошли.

Полоса несчастий и тревог как будто наконец кончилась, но нервы маркиза были совершенно расстроены. Его мучила бессонница, и по ночам он бродил из комнаты в комнату, преследуемый кошмаром, что с детьми опять случится несчастье.

С каждым днём маркизу становилось всё яснее, что слугам, несмотря на их добрые намерения, доверять нельзя. И не только потому, что Маргарита по их недосмотру упала с лестницы, а Анри они отпустили на похороны в тонких ботинках и не переодели сразу в сухое, когда он вернулся домой, – детей не следовало оставлять под влиянием этих невежественных и суеверных крестьян и по другим, не менее веским соображениям. Он обнаружил, что детей пичкали рассказами о людоедах и оборотнях, и заметил также, что хотя Франсуаза умерла совсем недавно, между кухней и детской установилась близость, которую он считал крайне нежелательной. Слуги особенно баловали и портили своего любимца Рене. Мальчик ходил за Жаком по пятам, катался на нём верхом, слушал длинные истории о святых и чудесах, развязывал старой поварихе тесёмки фартука, помогал ей молоть кофе, получая в награду горячие пирожки, перенимал у слуг неряшливую манеру есть и протяжную бургундскую речь. Разумеется, прислуга желала детям добра, а привязанность Жака к их семье не подлежала сомнению, но тем не менее его влияние на Рене могло оказаться пагубным. Отсутствие хозяйки в доме обрекало детей на множество неудобств, не говоря уж о том, что Маргарита не сможет получить хорошего

воспитания, если в детстве будет лишена влияния женщины их круга.

Что-то нужно было делать. Но что? Мысль о вторичной женитьбе претила маркизу – и потому, что это оскорбило бы светлую память Франсуазы, и потому, что присутствие в доме женщины нарушило бы покой, необходимый ему для занятий. Франсуаза обладала необычайной способностью быть незаметной, и это казалось маркизу самым драгоценным из её многочисленных достоинств, но нельзя было рассчитывать, что ему посчастливится встретить ещё одну подобную женщину.

Проще всего было бы пригласить в замок какую-нибудь родственницу, которая взяла бы на себя заботу о хозяйстве и детях. Но это было бы немногим лучше второго брака, а пожалуй, даже и хуже, поскольку при женитьбе всё же возможен какой-то выбор, тогда как единственной подходящей родственницей была его свояченица мадемуазель Анжелика Ло-монье, старая дева с малыми средствами и многочисленными добродетелями. Она, конечно, была бы счастлива расстаться со своим скучным домом в Аваллоне и почувствовать, что она действительно кому-то нужна, но она стала бы вторгаться в его кабинет, чтобы предложить ему утешение религии, и наводнила бы дом дурно воспитанными монахами и болтливymi монахинями.

Оставалось только отослать детей туда, где бы заботились об их духовных и телесных нуждах и где бы они получили воспитание, приличествующее их положению в обществе. Правда, это обойдётся недёшево, а доходы маркиза были невелики; но он умел довольствоваться малым и не испугался бы никаких материальных лишений, лишь бы ничто не возмущало душевного спокойствия, необходимого ему для занятий. К сожалению, как бы он ни урезывал своих расходов, отказывая себе даже в самом необходимом, ему всё равно не хватит денег, чтобы отдать детей в приличные школы, если не продать часть и без того оскудевшего и перезаложенного поместья. Хорошее образование мальчикам нужнее, чем земля, а на приданое Маргарите всегда что-нибудь да останется.

Земля была продана, и маркиз поручил дочь заботам тётки, определив на её содержание такую солидную сумму, что Анжелика, зная, в каких стеснённых обстоятельствах находится её зять, запротестовала:

– Это слишком много. Этьен. уверяю вас. Что стоит прокормить и одеть такую крошку? А заботы – неужели вы думаете, что мне надо за них платить? Она будет моей радостью, будет напоминать мне о дорогой Франсуазе.

На глазах у Анжелики навернулись слёзы, на которые она никогда не скупилась. Маркиз невольно нахмурился и спросил себя: откуда у Франсуазы было такое умение держаться? Она никогда не плакала. Правда, Жак и старая повариха могли бы рассказать ему другое, но он действительно ни разу не видел слез своей жены.

– Дорогая Анжелика, – сказал он своим мягким голосом, – оставьте мне единственную роскошь бедного человека – право честно платить свои долги. Я, конечно, никогда не смогу отплатить вам за любовь, с которой вы будете заботиться о моей дочери, но по крайней мере я обязан избавить вас от лишних беспокойств. Я не хочу, чтобы Маргарита страдала из-за нехватки денег, – довольно с бедняжки и того, что она лишилась матери. Мне же довольно корки хлеба и моих книг.

Теперь нужно было устроить мальчиков. Маркиз считал, что для Анри лучше всего

подойдёт бернардинский коллеж в Аваллоне. Перенеся две тяжёлых болезни, мальчик сильно ослабел. Ласковый и привязчивый, он истосковался бы вдали от дома, а в Аваллоне он будет видеться с сестрёнкой и тётёй, да и отец сможет его навещать. Конечно, религиозное воспитание... но что же делать? Маркиз пожал плечами. Сам он был убеждённым атеистом, но Франсуаза верила искрение и глубоко, хотя никогда ему этим не докучала, и она бы обрадовалась, узнав, что её старший сын вырастет добрым католиком. Школа была недорогая и удобно расположена. Кроме того, местное дворянство не терпело вольнодумства в вопросах религии. Если Анри пожелает в дальнейшем поселиться в именье и заняться сельским хозяйством, ему будет легче жить, если он будет разделять убеждения соседей. Да, собственно, почему бы ему и не вырасти верующим? Он хороший мальчик, прекрасный мальчик, но, пожалуй, немного туповат:

С Рене было сложнее. Вряд ли имело смысл отправлять его к добрым бернардинцам; туповатым его, во всяком случае, никак нельзя было назвать. В это время маркиз получил письмо от брата, единственного – кроме него – члена их семьи, который уцелел во время разгрома замка. Осиротевших мальчиков приютил дальний родственник; когда начался террор, он бежал с ними в Англию. Младший из братьев так и не вернулся на родину; он принял британское подданство и переделал своё имя на английский лад, – теперь его звали Генри Мартель. Он сделал хорошую карьеру и, женившись на англичанке, поселился в Глостершире. В письме он предлагал брагу взять Анри на несколько лет к себе и поместить его в школу вместе со своими сыновьями.

Отец показал Анри письмо дяди, считая сына достаточно взрослым, чтобы посоветоваться с ним, но тот в ответ лишь расплакался. Хотя маркиз не терпел слез, он ласково успокоил мальчика, пообещав, что никто не пошлёт его в Англию насильно. В этот момент в саду раздался звонкий дискант Рене:

– Какой же ты глупый, Жак! Это всё можно сделать гораздо проще. Смотри, вот так, – понятно? А теперь поверни – да нет, наоборот. Вот и все!

– Подумать только, – прозвучал восхищённый голос поварихи, – какой он у нас умница! Сразу во всём разобрался!

– И правда! – подхватил Жак. – А мне бы сроду не догадаться. С такой умной головой вы далеко пойдёте, господин Рене.

Это положило конец колебаниям маркиза. Если так будет продолжаться, слуги своей глупой лестью окончательно испортят мальчика. Ну а в английских школах как нигде умеют отучить ребёнка от излишнего самомнения. Маркиз тут же написал брату, что Анри уже устроен в школу, но – что он с благодарностью пошлёт к нему младшего сына.

Покидая родительский дом, Рене был так бледен и молчалив, что решимость маркиза на какое-то мгновение поколебалась. После пережитого в детстве потрясения в нём развилась болезненная чувствительность – зрелище чужих страданий было для него невыносимо. Он едва не сказал Рене, как сказал до этого Анри: «Ну, раз ты не хочешь ехать, оставайся». Но он тут же подумал, что, потакая капризам мальчика, окажет ему плохую услугу и что когда Рене привыкнет к новой обстановке, то несомненно полюбит Англию. Во всяком случае, у дяди к нему будут хорошо относиться. И потом... что ещё с ним делать?

Проводив Рене, маркиз ушёл в свой кабинет и закрыл за собой дверь. Последнее время он думал только о детях; он сделал для них все что мог, и продолжать беспокоиться о том, что уже улажено, было бы преступной тратой драгоценного времени. Маркиз решительно выбросил из головы семейные дела и снова взялся за перевод иероглифов с одного из луврских саркофагов.

\* \* \*

Когда Анри окончил бернардинский коллеж, ему было девятнадцать лет. Он сильно вырос и окреп, но остался таким же скромным и кротким, каким был в детстве. Подучившись основам садоводства и ведения молочного хозяйства, он вернулся в замок и взял в свои руки управление поместьем. Он уволил невежественного и вороватого управляющего и, как покойная мать, посвятил свою жизнь тому, чтобы ограждать отца, перед умом которого благоговел, от мелочных уколов и волнений, сопутствующих бедности.

Рене тем временем жил в Англии, проводя каникулы у дяди в Глостершире. Он, казалось, стал совсем англичанином: письма домой, написанные на довольно корявом французском языке и посвящённые главным образом крикетным матчам, он подписывал «Р. Мартель». В школе Рене любили и товарищи и учителя. Он окончил её восемнадцати лет, добившись выдающихся успехов в плавании, проказах и географии.

Для Анри возвращение брата, которого он не видел восемь лет, было событием первостепенной важности. Он отшагал несколько миль по пыльной парижской дороге, чтобы встретить дилижанс, и так горячо обнимал и целовал вернувшегося странника, что Рене, отвыкший в английской школе от такой экспансивности, багрово вспыхнул и пробормотал:

– Ну что ты?..

Услышав, как открылись массивные чугунные ворота, маркиз вышел из кабинета на террасу и смотрел на подходивших к дому сыновей. Ростом, телосложением, цветом волос они походили друг на друга, но, несмотря на это, разница между ними была очень велика. Отец с улыбкой подумал, что Рене похож на оригинал, а Анри на его добросовестную копию. Он приветствовал сына сдержанным английским рукопожатием и лаконичным «ну, здравствуй!». За обедом маркиз внимательно приглядывался к младшему сыну. Тоненький нервный мальчик превратился за восемь лет в рослого застенчивого юношу, атлетически сложенного, загорелого и испытывающего явные муки из-за необходимости о чём-то говорить. В красивой посадке его головы было что-то от грациозной насторожённости оленя: казалось, одно слишком ласковое прикосновение – и он, вскинув голову, метнётся через дверь террасы в сад, рассыпая брызги разбитого стекла.

Сразу после обеда Рене сбежал из столовой к себе в комнату и поспешно распаковал чемодан, из которого извлёк кучу всевозможных свёртков. Затем помчался на кухню и, постучав в дверь, весело спросил:

– Можно войти. Марта?

Старуха почтительно присела перед ним, но через минуту уже крепко его обнимала.

– Наконец-то мой мальчик вернулся... А как вырос, какой стал сильный... и ни капельки не изменился...

Марта чуть не плакала. Рене обхватил обеими руками, полную талию старухи.

– Совсем не изменился, говоришь? Берегись же! Её фартук упал на пол. Марта наклонилась за ним, колыхаясь от смеха, – и в тот же миг Рене приколот ей к чепцу агатовую брошь и убежал, прежде чем она успела опомниться.

– До чего же хорошо вернуться домой! – крикнул он, врываясь, как ликующий смерч, во двор, где его дожидался Анри, желавший показать брату хозяйство. – Как будто снова стал мальчишкой!

– Если бы ты только знал, как мы рады, что ты вернулся, – любовно проговорил Анри. – Но тебе ведь в английской школе не было плохо, а?

Рене посмотрел на него с удивлением.

– Плохо? Да как может быть плохо в такой замечательной школе?

– А учителя? Они хорошо к тебе относились?

– Да, в общем, ничего. Старикан Бриггс был нашим лучшим крикетистом. Директор иногда шумел, но это у него от подагры, – а когда кому-нибудь приходилось плохо, на старика можно было положиться. А о спорте и говорить нечего. Знаешь, ведь в последний раз мы всыпали Регби!

– Неужели ты совсем не скучал по дому, так далеко от всех нас?

– Но ведь со мной были Гильберт и Фрэнк, а в случае нужды всегда можно было бы добраться до дяди Гарри и тёти Нелли. Это всё равно что иметь два дома... Нет, но как же тут всё-таки замечательно! В этом бассейне, наверно, можно плавать... Ах, чёрт возьми!..

Рене увидел большие каштаны. Он долго смотрел на них молча, потом повернулся к брату. Глаза его сияли.

– А я и забыл, что они такие большие!

Они осмотрели службы. Рене сразу подружился с полдюжиной огромных кудлатых псов и проявил живейший интерес к голубятне, кроличьим садкам и птичнику. Лошадей он осмотрел довольно критически и, сам того не ведая, обидел брата, не выразив восхищения при виде крутобоких белых коров и откормленных чёрных свиней. Потом они услышали цоканье копыт, и Жак, ездивший за покупками на рынок, поспешно соскочив с лошади, кинулся здороваться со своим любимцем. Когда старик развернул свой подарок, его глаза наполнились слезами.

– Подумать только! Сколько времени прошло, а господин Рене не забыл, какие я люблю трубки!

Рене потрепал старую гнедую кобылу по холке.

– Да, да, господин Рене, это та самая Диана, на которой вы учились ездить верхом. Она ещё ничего лошадка – от самого Аваллона шла рысью и, видите, даже не вспотела. Уж можете себе представить, как я спешил повидаться с вами после стольких лет. Ох, и выросли же вы! В последний раз, как я вас видел, вы сидели в парижском дилижансе – совсем ещё дите, в лице ни кровинки, и такой худенький. Я чуть не заплакал, когда вы сказали: «Прощай, Жак», – да так жалобно! И куда, думаю, такому малышу ехать одному в эту Англию? А теперь! Просто красавчик, да и ростом с господина Анри!

Тут старик смутно почувствовал, что Рене как будто не по себе. Прервав поток воспоминаний, он вынул из кармана письмо.

– От мадемуазель Маргариты.

Когда братья пошли дальше, Анри неуверенно сказал:

– Надеюсь, ты не рассердился на Жака? Он наш старый преданный слуга, и отец обязан ему жизнью, поэтому мы ему многое разрешаем. У нас здесь в деревне все попросту, но в Англии ты, должно быть, отвык от такой фамильярности слуг. Жак любит поговорить, но ведь это не от непочтительности.

Рене пришёл в ещё большее замешательство.

– Какие там слуги, – пробурчал он. – Дело совсем не в этом! Пусть себе болтает сколько хочет, – просто я терпеть не могу, когда разводят всякую сентиментальную дребедень.

Ответ брата привёл Анри в недоумение, – он так и не понял, что хотел сказать Рене. Взглянув на Рене, он увидел, что тот хмурится, читая письмо. Это было вежливо-сухое, как урок чистописания, послание, очевидно продиктованное кем-то из взрослых и написанное на линованной бумаге круглым аккуратным почерком. Подпись занимала три строчки.

*Маргарита  
Алоиза  
де Мартерель.*

Покачав головой, Рене сложил письмо.

– И зачем маленькой девочке имя в три раза длиннее её самой? – сказал он задумчиво. – По-моему, ей вполне хватило бы «Мэгги Мартель». А когда у неё начинаются каникулы, Анри? Она просит, чтобы я почаще к ней приезжал. Разве она сама не скоро приедет домой?

Анри удивлённо взглянул на брата.

– Но... как же она уедет из Аваллона. Она всегда там живёт.

– Всегда там живёт? И у неё не бывает каникул? Да неужели бедняжка круглый год сидит там взаперти со свирепой старой тёткой?

– Тётя очень добрая и славная, – с мягким упрёком отвечал Анри. – Я уверен, что Маргарите у неё очень хорошо... насколько это возможно для девочки с её увечьем.

Рене остановился как вкопанный.

– С её у... Послушай, она что... чем-нибудь больна?

– Разве ты не знаешь, что она прикована к постели?

– Прикована к постели? И давно?

– Но... вот уже больше трех лет, после той тяжёлой болезни.

– Я ничего не слыхал ни о какой болезни. Неужели она всё время лежит в постели? Всё время?

– Нет, конечно! У неё есть кушетка, специальная кушетка на колёсиках. Маргариту перевозят из комнаты в комнату, а в хорошую погоду выносят в сад. Но как же так?

Ты ничего не знал?

Рене помолчал, потом спросил:

– Ты мне когда-нибудь писал об этом?

– Нет, я... я, наверно, думал, ты знаешь.

– И все, наверно, тоже так думали. Что с ней?

– Помнишь, она упала с лестницы в день маминых похорон?

– И это с тех самых пор?

– Нет, что ты! Сначала всё было как будто хорошо, только она как-то неуклюже ковыляла и не очень твёрдо держалась на ногах; иногда вдруг начинала хромать и жаловалась, что у неё болит ножка. А три года назад, зимой, она поскользнулась, и у неё началась болезнь сустава. Доктора говорят, что она, наверно, повредила себе бедро, ещё когда упала с лестницы. Для отца это было большим горем. Мы с ним никогда не говорим о её увечье. – И никогда не привозите её домой?

– Когда ты её увидишь, Рене, ты поймёшь, почему этого нельзя сделать. Она не вынесет дороги.

– А нога у неё очень болит?

– К счастью, нет, когда она не двигается; но очень тяжело смотреть, как она пытается приподняться. Дорожная тряска причинила бы ей невыносимые страдания. Да и отцу было бы очень больно её видеть.

Рене искоса взглянул на брата.

– Разве он никогда с ней не видится?

– Конечно, видится: он специально ездит в Аваллон почти каждый месяц. Ты себе не представляешь, какой он хороший и добрый. Только мы с тётей стараемся оберегать его от тяжёлых впечатлений. Отец так болезненно все переживает... ты сам поймёшь, когда узнаешь его получше.

– Мне и так все понятно, – пробормотал Рене. Он заговорил о рыбной ловле и не упоминал больше о Маргарите.

Вечером маркиз спросил Анри, показал ли он брату ферму.

– Нет ещё; он, наверно, – устал с дороги. Может быть, завтра...

Рене поднял голову.

– Лучше как-нибудь в другой раз. Завтра я хотел бы съездить в Аваллон, сударь, если вы не возражаете.

Он увидел, как по тонкому аристократическому лицу отца скользнула тень грусти. Однако она тут же исчезла, и маркиз дружески кивнул и улыбнулся сыну.

– Конечно, мой мальчик, съезди к сестре. Пошлём ей клубники, Анри; она ведь, наверно, уже поспела.

На другой день рано утром Рене отправился в Аваллон. Анри вызвался поехать вместе с ним: он не представлял себе, как можно предпочесть ехать в одиночестве, когда находится попутчик. Однако Рене отказался под не слишком убедительным предлогом, что он «привык ездить верхом в одиночку», – ничего лучшего он

придумать не смог. Озадаченный и несколько огорченный странной холодностью брата, которую он мысленно назвал «английской», Анри привязал к его седлу корзинку с клубникой и отправился на ферму.

Домик тёти Анжелики был таким же опрятным, чистеньким и душным, каким Рене запомнил его с детства. Тётка сама открыла ему дверь; белый фартук был повязан поверх простого тёмного платья, на поясе висели крупные чёрные чётки. Она была занята варкой варенья, и появление в самый разгар дневных хлопот неуклюжего застенчивого подростка совсем её не обрадовало. Тем не менее она приняла племянника очень ласково, расспросила об успехах в школе и осведомилась, аккуратно ли он исповедовался пока был в Англии. Затем, не зная, чем ещё занять гостя, она достала бутылку вина и анисовое печенье.

– Извини меня, дорогой, тебе придётся посидеть немного одному. – сказала она наконец, устав вытягивать из него словно клещами каждое слово. – У меня варится варенье.

Рене обрёл дар речи:

– Тётя, а разве мне нельзя повидаться с Маргаритой?

– Разумеется, мой мальчик, только немного погодя. Сейчас она занята – сестра Луиза готовит её к исповеди. Отец Жозеф всегда приходит в первую субботу каждого месяца. Может, ты пока погуляешь в саду?

Этот сад, как и все в Аваллоне, был невелики обнесён высокой стеной; но внутри было очень красиво: вдоль ограды росли фруктовые деревья, земля была покрыта густым ковром ландышей, анютиных глазок и фиалок, беседка алела розами, а с заросших травой ступенек около солнечных часов открывался вид на бесконечную вереницу лесистых холмов.

Через некоторое время – для Рене оно тянулось невыносимо долго – его позвали в дом; в дверях он встретился с отцом Жозефом и сестрой Луизой. У святого отца были тонкие губы и холодный взгляд; пробурчав невнятное приветствие, он прошёл мимо Рене, поклонился Анжелике и с постной миной такой же унылой, как чёрная сутана, полы которой били его по ногам, направился вниз по горбатой, залитой солнцем улочке. Минуту Рене смотрел ему вслед, затем повернулся, чтобы войти в дом, и очутился в объятиях старой монахини.

– Так вот он, мой крошка Рене! – воскликнула она, всплеснув своими пухлыми белыми ручками. – Наконец-то он вернулся домой! И как вырос – я тебе теперь до подбородка. Ты помнишь меня? Я выхаживала тебя, когда ты болел корью. Твоя покойная мамочка тогда ещё не оправилась после рождения нашей дорогой бедняжечки Маргариты. Господи, как бежит время! Скоро тебе, Анжелика, придётся искать этому молодому человеку невесту, право придётся. Так ты в первый же день привёз своей сестричке эту чудную клубнику? Похвально. Я вижу, вы оба, и Анри и ты, пошли в свою дорогую мамочку – она всегда думала о других. И правда, наша бедная маленькая мученица заслуживает этого – она истинное воплощение христианского терпения. Нам всем надо брать с неё пример. Отец Жозеф сейчас сказал, что зрелище её смирения возвышает душу, можно подумать, что она давно уже приняла постриг, а ведь ей всего лишь одиннадцать лет. Хорошо, хорошо, дорогая Анжелика, если уж вы так настаиваете, я попробую ваше варенье. Но мне надо

спешить, меня ждут мои бедняки.

Анжелика провела Рене через две большие унылые, скудно обставленные комнаты и остановилась перед дверью в третью.

– Надеюсь, дорогой, я могу на тебя положиться – с твоей сестричкой нужно обращаться очень бережно.

У Рене раздулись ноздри. Чёрт знает что такое! Уж не думает ли она, что он собирается поколотить девчущку? Выражение его лица в эту минуту было не из приятных, но он отвернулся, и тётка, ничего не заметив, продолжала в счастливом неведении:

– Я знаю, что тебе никогда не придёт в голову обидеть нашу больную бедняжку, но ведь мальчики не привыкли иметь дело с калеками. Ты можешь заговорить о чем-нибудь грубом и напугать её или... Ну да ты, я думаю, и сам понимаешь. Это твой брат, милочка. Я оставлю вас вдвоём, чтобы вы подружились.

Тётка закрыла за собой дверь и отправилась поболтать с сестрой Луизой. Рене осторожно, стараясь не скрипеть ботинками, подошёл к столу и неуклюже поставил на него корзинку с клубникой. Он чувствовал себя крайне неловко и с трудом поднял глаза. Его охватила мучительная застенчивость и маленькая фигурка на кушетке показалась ему устрашающе неприступной.

– Спасибо, что ты так скоро приехал навестить меня, – сказала Маргарита тонким чистым голосом. – Это очень мило с твоей стороны. Садись, пожалуйста.

Рене сел в полной растерянности. Совсем не детская, чопорная любезность сестры окончательно его подавила. Он украдкой взглянул на неё: неужели действительно бывают такие примерные дети, как в рассказах мисс Эджворт? Потом посмотрел на Маргариту ещё раз, и его охватило жуткое чувство, словно рядом с ним было существо из другого мира.

«Можно подумать, что она давно уже приняла постриг», – вспомнилась ему глупая болтовня сестры Луизы. Лицо этой девочки, которую даже можно было бы назвать хорошенькой, если бы не её восковая, прозрачная хрупкость, было похоже на лицо старой монахини – скрытное, замкнутое, отмеченное печатью долгого молчания.

Видя, что её брат не в состоянии открыть рта, Маргарита заговорила первая и стала занимать гостя светской беседой по старательно заученным образцам. Она осведомилась о здоровье отца и Анри, а затем – тем же вежливым тоном – о здоровье английской тётки и двоюродных братьев, которых никогда в жизни не видела. Она спросила, как ему понравилась Англия, часто ли там бывают туманы, рад ли он, что вернулся домой. С лица её не сходила механическая улыбка, а худенькие пальчики так же механически трудились над каким-то вышиваньем.

Рене же с каждой минутой все более терял присутствие духа и совсем не находил, что сказать. Это походило на кошмарный сон; ему хотелось ущипнуть себя и проснуться. Наконец вошла тётя Анжелика и позвала его обедать.

– Я уговорила сестру Луизу пообедать с нами. – сказала она. – Отвезти тебя в столовую, Маргарита, или ты хочешь обедать у себя?

Маргарита откинулась на подушки. Слабым, усталым голосом она покорно ответила:

– Как хотите, тётя.

– Мне кажется, после такого волнения тебе нужен покой. Отдохнёшь полчасика после обеда, а потом Рене вывезет тебя в сад, и вы там поболтаете, пока я приготовлю банки для варенья. Ты ведь не спешишь, Рене?

– Нет, нет, – ответил он торопливо. – Если только... – Он запнулся и посмотрел на Маргариту. – Если только я тебе не надоел.

– Как ты только мог это подумать?! – воскликнула Анжелика. – Ну конечно же она очень рада, что ты приехал.

Но Рене, наблюдавший за Маргаритой, заметил, как она взглянула на него украдкой, на мгновение вскинув ресницы и тут же опять их опустил. Впервые в жизни он видел такие ресницы – они лежали на се белых щёчках словно шёлковая бахрома. Нелегко разгадать, что таят глаза, скрытые за такой завесой!

– Я буду очень рада, если ты останешься, – произнесла Маргарита своим тоненьким благовоспитанным голоском.

Он сел за стол, с глухим раздражением ощущая на себе взгляды тёти Анжелики и сестры Луизы, следивших, не забудет ли он перекреститься: атеистические склонности маркиза неоднократно обсуждались в Аваллоне; кроме того, Рене провёл восемь лет в стране отъявленных еретиков и язычников. Во время обеда женщины толковали о делах прихода и благотворительности, обсуждали слабости соседей и подробности недоразумения между отцом Жозефом и другим священником, и под конец Рене захотелось заткнуть уши и выбежать из-за стола.

Неужели этой бледненькой девчужке в соседней комнате приходится слушать такие разговоры каждый божий день? Правда, девочки переносят все это легче, чем мальчишки, но когда у тебя болит нога, тебе, наверно, безразлично, который из священников наговаривает епископу на другого. Потом он задумался над тем, часто ли у Маргариты болит нога и очень ли ей бывает больно. На слова Анри нельзя полагаться – он и в письмах всегда все преувеличивал. Но даже если нога у неё совсем не болит, ей все равно страшно не повезло – родиться девчонкой да вдобавок лежать всё время на спине. Ей даже нельзя ходить, не то что играть в крикет, плавать или заниматься ещё чем-нибудь интересным...

– Дорогой, – сказала тётя Анжелика после еды, – разве ты не собираешься прочесть благодарственную молитву?

Рене торопливо перекрестился и вышел в сад. Ему, казалось, не хватало воздуха.

Пока женщины благочестиво судачили, попивая кофе в комнате с приспущенными шторами, где пахло вчерашним постным обедом, Рене сидел в беседке и размышлял о разных предметах: не в той ли речушке внизу под горой поймали рыбу для постного обеда, и есть ли вообще тут места, где можно поудить рыбу; кто глупее – карпы, которых разводят у них в пруду, или сестра Луиза, а также чья кровь холоднее – их или отца Жозефа; нравится ли Маргарите быть примерным ребёнком, созерцание которого возвышает душу, и что бы она сказала, если бы вместо несчастной канарейки, изнывающей в своей клетке в затхлой комнате с опущенными жалюзи, он привёз ей лохматого щенка, ирландского терьера, который стал бы весело носиться по саду.

– Рене, – раздался около беседки голос тётки, – где ты? Помоги мне вынести Маргариту.

У Маргариты он застал сестру Луизу, которая, наклонившись к девочке, нежно её целовала.

– До свидания, моя тихонькая мышка. Я расскажу матери-настоятельнице, как тебе понравилась её хорошенькая книжечка.

– Я надеюсь, матери-настоятельнице тоже понравится подарок Маргариты, – сказала тётя Анжелика, взяв из рук племянницы вышиванье и придирчиво его рассматривая. – Это саше-подарок к её именинам. Только чур не проговоритесь, сестра Луиза, это секрет.

– Ну что вы! Ах, как красиво! А что будет в середине? Цветок?

– Я думаю, монограмма. Маргарита хотела вышить колесо святой Екатерины, но святой эмблеме, по-моему, не место на саше. Ну, Рене, берись с тон стороны. Только осторожнее на ступеньках.

Когда кушетку поставили на траву, Анжелика поспешила к своему варенью. Сестра Луиза ещё раз поцеловала свою ученицу и ушла. Рене закрыл за ней калитку и, с отвращением ощущая на руке ласковое пожатие жирной ладони монахини, вернулся в сад. Кушетка стояла так, что Маргарита не могла видеть брата, пока он не подошёл совсем близко, а его шаги заглушались мягкой травой. Приблизившись к кушетке, Рене увидел, как Маргарита вынула носовой платок и стала стирать поцелуй монахини. Она тёрла щеку с таким ожесточением, что на ней осталось яркое красное пятно. Но как только Рене подошёл и сел рядом, Маргарита снова взялась за вышиванье и скромно опустила глаза. Долгое время оба молчали.

Наконец Рене в отчаянии выпалил:

– Хочешь щенка?

Маленькая ручка на секунду замерла, и голубая нитка обвилась вокруг пальца. Но через секунду Маргарита продолжала работу.

– Большое спасибо. С твоей стороны очень мило подумать обо мне...

«О черт! – мелькнуло в голове у Рене. – Она ведь это уже говорила. Они научили её твердить одно и то же, как попугая».

Тихий благовоспитанный голосок продолжал:

– ... но тётя не любит собак.

– А я вовсе не ей предлагаю, – возразил Рене. – Ну, тогда котёнка? Это, конечно, не то, что терьер, но всё-таки лучше какой-то паршивой канарейки.

Маргарита опустила вышиванье.

– Это всё равно. В прошлом году Анри собирался подарить мне черепаху, но тётя Анжелика не хочет, чтобы в доме жили какие-нибудь животные.

– А как же канарейка?

– Она не наша, мы взяли её на время. Это канарейка племянницы отца Жозефа. Отец Жозеф говорит, что животных держать в доме можно, только не надо разрешать себе чересчур к ним привязываться.

– А, чтоб ему провалиться, этому отцу Жозефу!

Рене в ужасе замолчал. Теперь он её совсем напугал! Вдруг он увидел, что Маргарита в первый раз за всё время смотрит на него широко открытыми глазами. И что это были за глаза!

Некоторое время брат и сестра молча глядели друг на друга, потом пушистые ресницы опять опустились. Рене пробормотал извинение и окончательно смешался. Он снова и снова пытался завязать разговор, смущаясь после каждой новой неудачи все больше, а через полчаса сбежал, пробормотав что-то о расковавшейся, лошади, и, терзаемый стыдом, поехал в Мартерель.

Всю дорогу домой Рене обдумывал происшедшее за день, и его собственное поведение казалось ему все более глупым и безобразным. Что бы он ни думал о друзьях тётки Анжелики, Маргарите они, по всей вероятности, нравятся, – и тем лучше, раз уж ей приходится жить среди них. В конце концов они её балуют и по-своему любят, хотя от их любви порой делается тошно. По крайней мере они не избавились от неё и не забыли о её существовании, как...

Он оборвал себя, испугавшись того, о чём чуть было не подумал... Ведь отец постарался сделать для неё всё, что было в его силах, а вся эта набожная болтовня, быть может, ей даже и нравится. Девчонки вообще любят слушать всякие разглагольствования и обожают, когда с ними носятся. Во всяком случае, какое имеет право он, совсем чужой для неё человек, вмешиваться в давно заведённый порядок и расстраивать девчушку, ругая её друзей? А он ещё разозлился на тётку Анжелику, когда она усомнилась, сумеет ли он вести себя как нужно! Её опасения вполне оправдались. Ведь мама умерла, а отец... отец занят; и Маргарита, наверно, привязана к сестре Луизе и отцу Жозефу, – и показывать, что они ему не по душе, просто подло.

Только... почему она тёрла щеку?

Подъезжая к замку, он окончательно решил, что в будущем ему лучше всего держаться от Аваллона подальше, раз он сваял там такого дурака.

За ужином Рене говорил мало и так свирепо огрызнулся на невинные расспросы Анри о впечатлении, которое произвела на него Маргарита, что, подняв глаза от тарелки, заметил устремлённый на него внимательный взгляд отца. Вставая из-за стола, Анри невольно вздохнул.

– Во вторник я поеду в Аваллон на свиную ярмарку. Может быть, ты поедешь со мной, чтобы лучше подружиться с Маргаритой? – спросил он брата, грустно взглянув на его нахмуренное лицо.

– Зачем я туда поеду? Я не собираюсь торчать там всё время.

В голосе Анри прозвучала нотка упрёка:

– Не забудь, что она не может сама к нам приехать. И у неё так мало радостей.

– А, да замолчи ты наконец! – пробормотал Рене по-английски.

В воскресенье вечером он попросил у отца разрешения пользоваться одной из лошадей, сказав, что привык перед завтраком ездить верхом. На следующий день он встал на заре и в десять утра, покрытый дорожной пылью, смущённый и сердитый, уже стучался в дверь тётки. На этот раз бедная Анжелика едва сумела скрыть своё неудовольствие – кто же ходит в гости в такое неурочное время? – однако законы

гостеприимства были для неё священны, и она заверила Рене, что его неожиданный приезд для них «очаровательный сюрприз», и «в виде исключения» позволила Маргарите прервать занятия.

Девочка корпела над грамматическим разбором отрывка из «Телемака» – Она отложила книгу без малейшего признака радости или неудовольствия, и тётка с племянницей чуть ли не целый час с безукоризненной любезностью занимали своего гостя светской беседой. Разговор, как и в предыдущий раз, шёл о делах прихода, о вышивках для церкви, о благотворительности, о предосудительной склонности служанок одеваться, как благородные дамы, об отце Жозефе и его племяннице и о матери-настоятельнице. Наконец Рене заставил себя встать, неловко распрощался и уехал.

Теперь он окончательно убедился, что Маргарита ему не нравится. Если ей доставляет удовольствие вся эта возня вокруг её особы, значит она надутая ломака, если же нет-то маленькая лицемерка. И в том и в другом случае она противная девчонка. Но ей всё-таки чадо бы немного поправиться... и почему она на него так смотрит? Если в субботу она не поднимала глаз, то сегодня почти всё время глядела на него, и он чувствовал себя очень скверно. И почему она должна всё время лежать на спине в этой отвратительной комнате? Это просто несправедливо. Пускай она ему не нравится, но всё-таки было бы лучше, если бы она не упала тогда с лестницы. Однако, раз он ничем не может ей помочь, пожалуй ему не стоит ни во что вмешиваться.

Тем не менее к вечеру в четверг он опять оказался в Аваллоне. Явиться к тётке просто так, без всякого предлога, у него не хватило духа, поэтому он заехал на базар и купил вишен в дешёвой корзиночке. На худой конец он скажет, что его прислали с вишнями из дому. Рене был правдив и вовсе не хотел лгать, но он почувствовал себя гораздо увереннее, зная, что на крайний случай у него припасено правдоподобное объяснение.

Ему сказали, что тётка отправилась навещать больных бедняков; мадемуазель Маргарита одна и будет, конечно, очень рада гостю. Он пошёл вслед за служанкой в сад, с трудом подавляя паническое желание броситься наутёк, В прошлый раз он всей душой желал, чтобы тётка убралась куда-нибудь подальше, и сейчас многое отдал бы за то, чтобы она вернулась, – перспектива привести несколько часов наедине с сестрой приводила его в смятение.

Кушетка стояла на старом месте, и Маргарита все вышивала саше к именинам настоятельницы. Она, по-видимому, очень спешила закончить работу, потому что, подав брату свою худенькую ручку, тут же снова взялась за вышивание. Реме не сделал попытки поцеловать её, а она и не подумала подставить ему щеку, как делала при тётке.

Рене сел на скамейку рядом с кушеткой, размышляя над тем, стала бы она стирать и его поцелуй, если бы он отвернулся на минуту?

Сегодня ужасающее самообладание как будто совсем оставило Маргариту, она с таким же трудом выдавливала из себя слова, как и брат. Сначала Рене почувствовал огромное облегчение: потом ему пришло в голову, что, по-видимому, он в субботу напугал и огорчил сестру своими словами об отце Жозефе. Нервно ковыряя ручку корзинки, Рене говорил себе, что только подлец мог расстроить такую бледенькую крошку. Но что сделано, того не воротишь.

– Тётя скоро придёт? – уныло спросил он.

– Наверно, скоро, обычно она возвращается к четырём.

– Ну, тогда я подожду её.

Ещё две-три минуты проползли в тоскливом молчании. Нет, это никуда не годится. Если он дожждётся прихода тётки, тогда вообще ничего нельзя будет сказать.

– Знаешь, – пробормотал он наконец с удручённым видом, – ты меня извини... за субботу. Маргарита взглянула на него.

– Субботу? Какую субботу?

– Ну... за то, что я сказал об отце Жозефе и вообще... Это, конечно, не моё дело...

Рене говорил торопливо, отводя глаза. Наконец он осмелился взглянуть на сестру, и извинения замерли у него на губах. Он беспомощно развёл руками.

– Я ничего не могу с собой поделать. Здесь просто дышать нечем, как будто, на тебя навалили перину, Только и слышишь что отец Жозеф. сестра Луиза, мать – настоятельница, – и до того все хорошие, что просто противно. Скажи, неужели они тебе в самом деле нравятся?

– Я их ненавижу! – Огромные глаза на бледном личике сверкнули недетской злобой. Она ударила слабеньким кулачком по ручке кушетки.

– Ненавижу! Ненавижу их всех! Они приходят и лезут ко мне со своими поцелуями и приносят отвратительные сахарные книжонки. А я должна благодарить и делать подарки для матери-настоятельницы!.. – Она скомкала саше и швырнула его в траву.

Рене застыл на скамейке, потрясённый вызванной им бурей.

– Да, но почему ты соглашаешься? – проговорил он. – Возьми да скажи, что не будешь, вот и все. Попробовали бы они заставить меня!.. А может... – у него опять раздулись ноздри, – а может, они... наказывают тебя, а? Я им тогда...

– Нет, но они заели меня нравоучениями. Только и делают, что читают нравоучения. Приходит отец Жозеф и начинает проповедовать христианское терпение: не надо роптать, и надо радоваться, что я лежу здесь во славу Иисуса. Хорошо ему – у него ведь не болит нога. А я ропщу! И посмотрел бы ты, какой шум подняла на днях сестра Луиза, когда у неё заболел зуб. Я бы их всех убила! Всех до одного!

Рене неловко протянул руку и робко дотронулся до её сердито сжатого кулачка.

– А ведь я не знал, что ты больна. Эти свиньи сказали мне только на прошлой неделе. Тебе очень больно?

Маргарита несколько мгновений молча смотрела на брата, потом закрыла лицо руками и разрыдалась.

– Не надо! Не плачь! – воскликнул Рене, сам чуть не плача, и, бросившись на колени рядом с сестрой, нежно её обнял.

– Если отец Жозеф снова начнёт тебя пилить, он у меня узнает, старый... Маргарита... ну не плачь же!

Вернувшись домой, Анжелика застала Рене за обучением сестры игре «в верёвочку». Он хотел было взять для этой цели кусок голубой тесьмы,

предназначенной для саше, но Маргарита сказала, что, если это обнаружится, их «заедят нравоучениями», И тогда, пошарив в карманах, он нашёл там обрывок бечёвки.

Старая дева просияла, увидев, как они подружились.

– Ну как, мои милые, весело провели время? Что это, вишни? Надеюсь, ты их не очень много скушала, Маргарита? А как твоё вышиванье? Ах, что это с ним случилось?

Она взяла со столика измятое саше. Рене тут же нашёлся.

– Простите, тётя; я нечаянно смахнул его рукавом и не заметил, а потом наступил ногой. Кажется, нитка оборвалась. Мне очень жаль, что я испортил вышиванье.

Тётка разгладила материю.

– Боже мои, какая жалость! Ну ничего, милочка, он ведь не нарочно, и, я думаю, все можно поправить – подержать над паром, а потом прогладить чуть тёплым утюгом. Хорошо хоть, что не запачкалось. Разве тебе уже пора, Рене? Да, правда, ехать далеко. Ты, наверно, оставил лошадь в гостинице? Только помоги мне внести кушетку. Ноги, ноги, пожалуйста, вытри! Ну, до свидания. Кланяйся папе и Анри, и большое спасибо за вишни.

Брат и сестра распрощались так церемонно, как будто:...то был не Рене, а Анри. Когда же тётка вышла за тряпкой, чтобы подтереть на ступеньках его следы. Рене наклонился к сестре.

– Не беспокойся, я поговорю с отцом. Мы приструним отца Жозефа. И правится это тёте или нет, а щенок у тебя будет.

Девочка порывисто приподнялась, обняла его за шею, и Рене на минуту прижал сестру к груди. Потом осторожно опустил её на подушки и сказал появившейся в дверях тётке:

– Надеюсь, я её не утомил. Я скоро приеду опять. Нет, нет, я не наслежу! До свидания!

## ГЛАВА II

– Вы мне можете уделить несколько минут, сударь? – спросил Рене отца, перехватив его у дверей кабинета, – Если вы не слишком заняты, я хотел бы с вами поговорить.

Маркиз открыл дверь, пропуская Рене вперёд.

– Входи.

Затенённая листвой огромных каштанов, скудно обставленная комната с выстроившимися вдоль стен книжными шкафами была погружена в безмолвный зеленоватый полумрак. Маркиз опустил в потёртое кожаное кресло и с улыбкой посмотрел на сына.

– Ты становишься похож на свою мать.

– А Маргарита похожа на неё?

Рене стоял у окна, хмуро глядя на ветви каштанов; он задал этот вопрос, не повернув головы.

– Ничуть. Говорят, она похожа на меня. В семье твоей матери у всех были светлые волосы.

– У тётки Анжелики светлые волосы. Мама была на неё похожа?

В голосе Рене слышалось какое-то странное упорство, и отец внимательно посмотрел на него.

– Можно было догадаться, что они сестры. Обе светловолосые... но нет, всё же сходства между ними было мало. Вот портрет твоей матери, правда, не очень удачный.

Портрет, висевший на стене, действительно был не очень удачен: художник совсем не уловил материнской нежности, которой дышало лицо Франсуазы: он увидел только черты лица, а чертами лица она напоминала Анжелику. Рене сердито отвернулся от портрета. Обожествление мёртвых было не в его натуре: Маргарите нужна мать из плоти и крови, добрая и разумная. Он вспомнил своих оглушительно жизнерадостных двоюродных сестёр и братьев в Глостершире; тётка Нелли хоть и не блещет умом, но зато знает, как сделать, чтобы тебе было хорошо, мальчик ты или девочка. Дора и Трикси вечно хохочут, такие толстые и весёлые, как скворчата. Им-то не нужно лежать на кушетке и вышивать саше для всяких противных старух.

Он взглянул на отца.

– Вы знаете священника, который ходит к тётке Анжелике? – вдруг смущённо выпалил Рене.

– Отца Жозефа? Знаю, встречался с ним несколько раз.

– Вам не кажется, что он довольно гнусный субъект? Маркиз вопросительно посмотрел на сына.

– Почему ты так думаешь?

– Просто так, – пробормотал Рене, снова прячась в свою раковину.

– Может быть, – задумчиво сказал маркиз. – Очень может быть.

Несколько мгновений он молча хмурился, перебирая свои бумаги, потом спросил:

– По-твоему, Маргарите там... не очень хорошо?

– По-моему, это просто свинство не позволять девочке завести щенка, когда ей хочется.

– Завести... кого?

– Но она ведь совсем ещё маленькая, отец, и ей просто не с кем играть, – только тётка да куча монахинь. Конечно, если бы мы могли взять её сюда на недельку-другую, вроде как на каникулы, – уж тут у неё были бы и собаки, и кролики, и всё такое...

Смущение опять сковало язык Рене. Маркиз посмотрел на сына серьёзно и озабоченно.

– Да, конечно. Но как же её привезти? Всё дело в том, каким образом доставить её сюда и обратно.

– Можно сделать так, чтобы она ехала лёжа. Если взять телегу для сена и положить доски... вот так...

Рене подошёл к письменному столу и взял карандаш. Отец молча пододвинул ему листок бумаги, и Рене быстро набросал схему.

– Нужны прочные доски, шесть футов два дюйма в длину и двенадцать дюймов в ширину. Под них ставятся двое козёл – те, что в сарае. У одних нужно будет укоротить ножки на четыре дюйма.

– Ты их уже измерил?

– Измерил. Вот здесь мы вобъём большие крюки, чтобы все это прочно держалось, и подвесим на верёвках кушетку – вот так. Маргарита тогда совсем и не почувствует тряски. Я сяду в телегу и буду придерживать кушетку, если она начнёт раскачиваться, а Жак будет править. Мы поедем очень медленно через Вийамон. Так дальше, но зато дорога там гораздо лучше.

– Вот как? Ты и там уже побывал?

– Да, я съездил туда сегодня утром. Дорога испорчена только в одном месте, но там мы с Анри можем снять кушетку и перенести её на руках.

Как только Рене взял в руки карандаш, всю его застенчивость как рукой сняло. Он был настолько поглощён чертежом, что совсем забыл про своё смущение; однако стоило ему закончить объяснение, как уши его густо покраснели, он уронил карандаш и, поспешно нагнувшись за ним, ударился головой о стол. Отец тем временем рассматривал чертёж. Линии были чёткие, как будто проведённые твёрдой рукой чертёжника-профессионала.

– Рене, – сказал наконец маркиз; и Рене появился из-под стола с карандашом в руках.

– Да, отец?

– Что, если нам с тобой как-нибудь на днях съездить в Аваллон и поговорить с тётёй Анжеликой?

– Хорошо. Только... – Рене запнулся, вертя в руках карандаш, и закончил одним духом. – Может быть, лучше Анри с ней поговорить? Если это предложит он, тётя скорее согласится.

Маркиз улыбнулся.

– Пожалуй. Я вижу, ты мудр, как змий, сын мой. Рене насупился: уж не смеётся ли над ним отец?

– Вы с Анри как будто собирались сегодня осматривать ферму? – спросил маркиз.

– Да, он, наверно, уже ждёт меня.

– Так, может, ты сам с ним об этом и поговоришь? Когда Рене повернулся, чтобы идти, маркиз окликнул его.

– Рене!

– Что?

– Твой брат хороший человек, очень хороший. Рене с недоумением посмотрел на отца.

– Разумеется, отец.

– Он не должен почувствовать, что... всё устроилось помимо него. Он очень привязан к Маргарите.

Рене быстро взглянул на отца, встретил его взгляд и кивнул; потом вышел, напевая английскую песенку:

Что может быть прекраснее,  
Чем эти ночи ясные  
Весеннею порой?

Голос Рене ещё не вполне установился и срывался с баса на высочайший дискант, однако несколько нот он взял очень чистым и мягким тенором.

Вечером Анри пришёл к отцу с предложением взять Маргариту на каникулы домой. Он начал словами: «Мы с Рене считаем...» – но, по-видимому, находился под впечатлением, что этот план придумал он. Маркиз слушал с видом человека, которому подали совершенно новую идею, выразил своё согласие и как бы совсем случайно заметил, что поговорить с тётёй Анжеликой лучше всего ему, Анри.

– Лучше, если с ней поговоришь ты, а не я и не Рене. Он слишком молод: а если мне самому заговорить об этом, она может подумать, что я недоволен тем, как она ухаживает за Маргаритой, и огорчится. Мне бы этого не хотелось. Ты ведь знаешь, как она предана девочке,

– Разумеется, знаю, – с жаром отвечал Анри. – Только я уверен, что тётя никогда не истолковала бы ваши слова превратно. Рене, правда, может сказать что-нибудь не совсем тактичное, хотя, конечно, и без всякого злого умысла. Он бывает так... резок. Это у него, наверно, от английской школы.

– Наверно, – согласился отец. – Бедняга Рене совсем не дипломат.

Анри отправился в Аваллон, проникнутый сознанием ответственности своей миссии. Вначале тётка отвергла весь план, как нелепый и неосуществимый, но вскоре была покорена искренними заверениями племянника, что все обитатели Мартереля будут в восторге, если она приедет в гости, и принялась укладывать свои вещи и вещи Маргариты.

Анри привёз отца в Аваллон в старой карете, предназначенной для тётки Анжелики и её вещей. Так как на обратном пути Жаку, Рене и Анри предстояло везти Маргариту, маркиз вызвался сам править каретой, чтобы не нанимать кучера в городе. Узнав, что её величественный зять собирается сесть на козлы, Анжелика пришла было в смятение, но утешилась, решив, что этим он выказывает истинное смирение благородной души. В этот день все семейство обедало у неё, и отец Жозеф, пришедший проститься, был также приглашён к столу.

В доме Анжелики священник был царь и бог. Ни хозяйка, ни гости, которых он привык у неё встречать, никогда не подвергали сомнению его непререкаемый авторитет во всех вопросах. Даже избалованную и своевольную большую девочку подавляло его мертвящее бездушие. Но в обществе маркиза его надменная невозмутимость как-то сморщилась и слетела с него, словно шелуха. Он превратился в наряжённого в чёрную юбку злобного и жалкого человечка, пытающегося – со своим скрипучим голосом и вульгарным выговором – подражать речи аристократа. Рядом с врождённым достоинством маркиза обнаружилась искусственность напускного достоинства священника, на котором держалось все его влияние. У него это было

нечто благоприобретённое и старательно культивируемое; у маркиза – естественное выражение определённого склада ума.

Отец Жозеф то и дело посматривал на точёный профиль неприятного ему гостя, в присутствии которого он всегда чувствовал себя ломовой клячей, оказавшейся рядом с породистым рысаком. Он вызывающе оглядел собравшихся за столом и с тайным удовлетворением отметил, что поблек не он один. Бедняжка Анжелика, робко и суетливо исполняющая обязанности хозяйки за своим собственным столом, никогда не казалась такой растерянной и безнадежно буржуазной. Изысканная почтительность, которую выказывал ей её зять, лишь сильнее оттеняла её жалкий вид: она как бы извинялась за собственное ничтожество. Анри же спасала сама полнота его самоуничижения. Он глядел на отца с обожанием преданного пса и не терзался никакими сомнениями.

Отец Жозеф встрепенулся. Он, христианский священник, позволяет заведомому атеисту нагнать на него такого страха, что язык отказывается ему повиноваться! Да ещё в присутствии молодёжи! Маркиз большой учёный, известный египтолог? Хорошо же, он покажет этим слабым людишкам, что церковь может постоять за себя. Поспешно припомнив немногочисленные статьи, прочитанные им в журналах и собравшись с духом, отец Жозеф яростно напустился на «новые теории о всемирном потопе». Маркиз положил вилку. На какое-то мгновение его сдвинутые брови выразили нестерпимейшую скуку, но он тут же вежливо повернулся к говорящему и принялся слушать его с любезным и снисходительным вниманием.

Отец Жозеф закончил свою речь на воинственной ноте, но в его глазах была растерянность. Он надеялся, что ему станут возражать, – тогда бы он оказался на высоте положения: он всегда чувствовал себя уверенно в спорах, особенно с противниками, которых ему удавалось вывести из себя. Но маркиз выслушал тираду священника в вежливом молчании, а когда тот кончил, по-прежнему, не говоря ни слова, взял своими белыми пальцами ягодку клубники. Анжелика, беспокойно переводя взгляд с одного на другого, робко вмешалась в разговор:

– Боюсь, отец Жозеф, что ни у кого из нас, кроме господина де Мартереля, нет достаточных знаний, чтобы разобраться в этом вопросе... Господин маркиз, конечно, может по достоинству оценить... – И умолкла, бросив на зятя умоляющий взгляд.

– Вы слишком скромны, – мягко сказал маркиз. – Отец Жозеф только что изложил нам – чрезвычайно исчерпывающе и поучительно – именно точку зрения человека, не имеющего специальных познаний в этом вопросе. Специалист же, естественно, несколько иначе смотрит на эти вещи.

Анжелика неуверенно улыбнулась: она была несколько сбита с толку, однако всё же полагала, что очень мило со стороны Этьена, известного учёного, так хорошо отозваться об отце Жозефе. Но священник, оскорблённо вспыхнув, отвёл газа и встретил сверкающий злорадством взгляд Маргариты. Он заметил, как она переглянулась с Рене, и сразу догадался, что брат и сестра вполне понимают друг друга и оба его ненавидят.

Он начал с новым интересом рассматривать молчаливого юношу. При первой встрече его пренебрежительный взгляд отметил только внешние признаки норманской расы: высокий рост, атлетическое сложение, лицо, пышущее здоровьем и добродушием, светло-карие глаза, загорелые щеки и густые короткие кудри, – и он

подумал: «Ещё один Анри». Сейчас же его вдруг охватила странная тревога, и он почувствовал в Рене врага.

Отец Жозеф ещё раз взглянул на Рене. Мало сказать, что глаза юноши смотрели неприязненно, – в них было холодное презрение, та же бессознательная отчуждённость, что и у его отца. От них обоих веяло таким ледяным холодом, что отец Жозеф, взглянув на часы, вспомнил о якобы назначенной им встрече и поспешно распрощался.

Анжелика проводила его встревоженным взглядом. Для неё он по-прежнему был воплощением святости, так же как зять – олицетворением учёности, но она смутно сознавала, что отец Жозеф преступил границы своей компетенции и попал в смешное положение. На её лице появилось робкое, извиняющееся выражение.

– Я очень рада, Этьен, что вы с отцом Жозефом могли познакомиться поближе. У него, конечно, нет ваших знаний, – он пожертвовал возможностью заняться наукой, чтобы остаться здесь, со своими бедняками. Я уверена, что он не променял бы их ни на какие богатства; он выбрал себе в удел святую бедность, и я бесконечно доверяю ему.

Маркиз взял ещё одну ягоду.

– Дорогая Анжелика, я не сомневаюсь, что отец Жозеф не способен украсть ваши серебряные ножи, но, к сожалению, он способен с них есть.

Маргарита сдавленно фыркнула, заставив тётку покраснеть от досады, и снова взглянула на Рене. Она никак не могла привыкнуть к чудесной мысли, что у неё есть брат, с которым можно вместе посмеяться, и ежеминутно искала тому подтверждения. Но Рене не глядел на сестру. Вид у него был сумрачный и сердитый. Хорошо, конечно, что отец Жозеф получил щелчок по носу, но зачем тётя Анжелика болтает такие глупости, и зачем отец... А уж этой зловердной девчонке совсем нечего хихикать.

Маргарита чуть было совсем ему не разонравилась, но во время переезда она казалась такой маленькой и несчастной и так боялась каждого, даже самого слабого толчка, что, когда она доверчиво ухватила за его руку, у него комок встал в горле.

Сразу по приезде её уложили спать, а на другое утро она проснулась весёлая, как птичка, сторя от нетерпения поскорей увидеть кроликов. Переезд несколько ей не повредил.

Не прошло и месяца, как складки в уголках её рта разгладились. Это были первые каникулы в её жизни, и каждый день от восхода солнца до заката был наполнен чудесами. Собаки и лошади, кролики и голуби ежедневно являлись к маленькой королеве, возлежавшей на кушетке под большими каштанами. Один раз ей даже принесли отчаянно визжащих поросят; они вырвались и пустились наутёк, и Жак гонялся за беглецами по клумбам под звуки весёлого детского смеха, столь необычного в этом саду, пока наконец, тяжело дыша, но победно улыбаясь, не принёс их под мышкой, чтобы они «извинились перед барышней».

В дождливые дни самую светлую комнату замка заполняли цветы, бабочки, котят, мох, птичьи яйца и всякие другие замечательные вещи. Иногда девочку относили в большую старомодную кухню, где Марта, пододвинув к кушетке доску для теста, учила Маргариту делать крошечные пирожки для кукольного чая. В хорошую погоду её братья носили кушетку по ферме или устанавливали её на телеге, в которую впрягали старую Диану, и, осторожно правя, везли Маргариту к скалистым лощинам

или заросшим водяными лилиями прудам, или к прохладным зелёным полянам. Там братья собирали сучья и кипятили на костре чайник, а Маргарита, сидя в своих подушках и радостно щебеча, делала бутерброды для «английского пикника». Иногда даже отец откладывал в сто-рону свои книги и принимал участие в общем веселье. То были самые счастливые дни: во-первых, потому, что маркиз был всегда желанным гостем, а во-вторых, потому, что в его присутствии тётка ни во что не вмешивалась и никого не пилила. Вообще она стала много спокойнее – перемена обстановки была, видимо, полезна и ей.

Только через четыре недели, которые промелькнули как в сказке, Анжелика стала серьёзно подумывать о возвращении в Аваллон. Затем явился отец Жозеф, приехавший навестить и исповедать своих нерадивых духовных дочерей.

На другой день Анжелика завела разговор об отъезде.

– Мы чудесно провели время, – сказала она, – и совсем забыли, что нам давно пора домой. Я думаю, нам следует отравляться завтра. Ты сможешь дать нам лошадей, Анри?

– Ну конечно, тётя, лошади для вас всегда найдутся; только зачем вам так торопиться? Мы собирались на будущей неделе в Бланнэ за диким крыжовником.

– Оставайтесь ещё хотя бы на неделю, – сказал маркиз. – Этот месяц доставил нам всем много радости.

– Вы очень добры, Этьен, но сестра Луиза рассчитывает на мою помощь. Мы слишком долго думали об удовольствиях, и теперь нам пора вернуться к нашим обязанностям, не правда ли, Маргарита?

Рот девочки сжался так горько и упрямо, что на минуту она стала похожа на измождённую старуху. Тётка грустно покачала головой.

– Ах, Маргарита, Маргарита! Если ты будешь делать недовольную мину, я подумаю, что каникулы вредно на тебя действуют. Что сказала бы наша дорогая мать-настоятельница, если бы...

– Рене! – воскликнула Маргарита таким голосом, что все вскочили со своих мест.

Рене мгновенно оказался около кушетки и успокаивающе взял сестру за руку.

– Хорошо, хорошо. Ромашка. Ты только не волнуйся, мы все устроим. Если вам, тётя, действительно необходимо уехать, может быть, вы оставите у нас Маргариту на недельку-другую? Мы будем хорошо за ней ухаживать.

– Рене! Как ты мог вообразить, что я способна так манкировать своими обязанностями? Я ни за что не соглашусь оставить её одну. Ты не представляешь, какой уход требуется за больной.

– Есть же Марта... – начал Рене и, не договорив, посмотрел на отца.

Маркиз молча наблюдал за Маргаритой. Он видел, как успокоительно подействовали на неё голос Рене и прикосновение его руки, и заметил, что и во время разговора Рене не отпускал руки сестры.

– Мы обсудим все это позже, – сказал он и добавил вполголоса, обращаясь к Анжелике: – Мне кажется, этот разговор её волнует. Пойдёмте ко мне в кабинет. И ты тоже, Анри. Я хочу с тобой посоветоваться.

Когда они вышли, Маргарита обняла Рене за шею и отчаянно разрыдалась.

– Не поеду! Не поеду с ней! Рене, Рене! Не отдавай меня им!

– Ну, не надо плакать, Ромашка! Отец все устроит, не беспокойся. Только не надо обижать тётю. Это все отец Жозеф. Отец её уговорит.

– Не уговорит! Он отошлёт меня! Я ему не нужна! Рене сердито покраснел.

– Перестань молоть вздор, Маргарита! Это неправда! Отец во всём нам помогал. Он молодчина.

Чья-то рука легла ему на плечо.

– Ты думаешь, мой мальчик? Я в этом не так уверен.

– Это вы, отец! Послушайте, сударь, её нельзя отдавать тётке. Это... это несправедливо. Каково нам будет... Но его заглушил вопль Маргариты:

– Не поеду! Не хочу, чтобы сестра Луиза опять лезла ко мне с поцелуями. Отец, я... я убью себя, если вы отправите меня назад.

– Да перестань же! – возмущённо прикрикнул Рене, покраснев до корней волос. – Не будь такой дурочкой. Успокойся, Ромашка. Отец никуда тебя не отпустит. Не надо... не плачь же так. Ну что ты, глупенькая?

Он обнял сестру и гладил её волосы – движением, унаследованным от Франсуазы.

Маркиз снова тронул его за плечо.

– Скажи ей, что она никуда не поедет, – и тихо выскользнул из комнаты, оставив Рене с Маргаритой, которая судорожно рыдала у него на груди.

Дав обещание, маркиз держал его героически, хотя с первого взгляда трудности казались почти непреодолимыми. Ему пришлось пустить в ход весь свой такт и все обаяние, чтобы умиротворить Анжелику, глубоко обиженную неблагодарностью своей воспитанницы и возмущённую тем, что маркиз потакает всяким капризам и «фокусам». Сердцу старой девы была очень дорога приобретённая Маргаритой репутация терпеливой и набожной девочки, и эта неожиданная недостойная выходка огорчила Анжелику гораздо больше, чем сознание, что Маргарита не оценила её преданность. Сгоряча Анжелика чуть было не решилась отряхнуть прах этого дома со своих ног и позволить зятю завершить свою разрушительную работу, – ведь это он своими непочтительными замечаниями в адрес отца Жозефа посеял в душе девочки губительные семена. Но постепенно она всё же смягчилась и, осушив слезы, стала скрепя сердце обсуждать, что можно сделать.

По предложению Анри в кабинет позвали старую Марту. Она сказала, что её овдовевшая дочь, которая живёт в деревне, будет рада ухаживать за барышней. Немедленно послали за Розиной. Она оказалась опрятной добродушной женщиной с добрыми серыми глазами и тихим голосом и сразу же завоевала симпатии маркиза.

– Ну что ж, Анжелика, по-моему, пока можно на этом становиться. Осенью Рене, наверно, уедет учиться в Париж; и раз уж они с Маргаритой так подружились, пусть проведут лето вместе. Месяц-другой Розина присмотрит за Маргаритой, а мы тем временем решим на досуге, как быть дальше.

– Разумеется, пока всё идёт хорошо, Розина сможет за ней ухаживать. Но у девочки

очень хрупкое здоровье, и за ней необходимо постоянное наблюдение. Неужели мы можем довериться невежественной крестьянке?

– Тётя права, – сказал Анри. – Мы и так ей всем обязаны. Мне кажется, просто жестоко из-за минутного каприза лишать Маргариту её самоотверженной заботы.

Маркиз заколебался. Он так долго жил среди своих книг, что сейчас, когда перед ним встал практический вопрос, требующий немедленного разрешения, он растерялся, как летучая мышь, внезапно ослеплённая дневным светом. Ему всегда было легче уступить, чем настаивать на своём; но как он тогда посмотрит в глаза Рене?

– Мне чрезвычайно больно поступать вопреки вашим желаниям, дорогая, – сказал он, обратив на Анжелику взгляд, который сразу её обезоружил. – Вы так много для нас сделали, что я не в силах отблагодарить вас, но я не могу нарушить слово, данное девочке. Нам просто придётся пойти на риск в надежде, что вы нас простите и вскоре приедете к нам снова.

Анжелика от умиления заплакала.

– Ах, дорогой Этьен, мне нечего прощать.

Маркиз слегка попятился, опасаясь, что ей вздумается обнять его в знак примирения, как она только что обняла Анри. Ему вспомнился негодующий и жалобный крик Маргариты: «Не хочу, чтобы сестра Луиза опять лезла ко мне с поцелуями!» – и впервые за всё время он подумал о дочери с искренней нежностью.

Остаток дня Анжелика укладывала вещи, давала всем указания и почти не отходила от Маргариты. Не питая доверия к Розине, она решила предупредить последствия возможного недосмотра и натёрла больную ногу девочки мазью, рекомендованной матерью-настоятельницей. Маргарита плакала от боли, а тётка, глядя на неё, тоже плакала, жалея свою любимицу. На следующее утро Анжелика покинула Мартерель, нежно со всеми распрощавшись и сохраняя на лице выражение мягкого укора. Маргарита, которой Рене строго-настрого приказал «не быть поросёнком», кое-как выдержала благопристойный тон, пока до неё не донёсся скрип колёс по гравию дорожки, свидетельствовавший о том, что тётка, Анри, багаж и молитвенники действительно двинулись в путь. Тут они с Рене издали такой оглушительный победный клич, что маркиз вышел из кабинета узнать, в чём дело.

– Это мы так, сударь, – проговорил, задыхаясь. Рене, поднимаясь с пола и ловко швырнув под стол подушку, которой Маргарита только что в него запустила. – Простите, что мы вам помешали... Мы просто играли.

– Да, вижу. Маргарита!

При неожиданном появлении отца девочка накинула плед на голову и теперь робко выглядывала из-под него, поблёскивая глазками.

– Что, отец?

– Тебе ведь стало веселей с приездом Рене, не так ли?

– Да, отец.

У неё испуганно расширились глаза и задрожали губы. Маркиз с улыбкой посмотрел на взъерошенную голову Рене.

– Мне тоже. Может быть, если мы с тобой будем хорошо себя вести, он позволит

тебе и мне с ним дружить. Извини, мой мальчик, я не хотел помешать вашей битве. Когда Маргарита тебя отпустит, зайди ко мне – я хочу с тобой поговорить. Но это не к спеху.

Маркиз ушёл к себе. Маргарита медленно повернула голову и жалобно посмотрела на Рене.

– Он хочет от меня избавиться...

– Брось болтать вздор. Ромашка. Тебе не нравится, когда тебя без конца тискают и целуют, как сестра Луиза: а когда этого не делают, ты воображаешь, что от тебя хотят избавиться. Отец хороший, только он очень занят. Ты бы тоже никого не замечала, если бы всё время думала о мумиях.

Она покачала головой.

– Поди узнай, чего он хочет. Вот увидишь, он скажет, что через месяц отправит меня к тётке. Вот увидишь!

Рене, нахмурившись, пошёл в кабинет. С тех пор как Маргарита перестала изображать из себя примерного ребёнка и превратилась в живую девочку, его жизнь значительно осложнилась. Что же касается отца, то мумии мумиями, но о Маргарите необходимо подумать сейчас же, и она совсем не похожа на мумию.

– Садись, – сказал маркиз, с улыбкой взглянув на сына. – Что с тобой? Что-нибудь случилось?

– Ничего.

– Нам пора поговорить о твоём будущем. Ты думал о том, чем бы ты хотел заняться? Учиться дальше или остаться здесь и заниматься хозяйством вместе с Анри? Тебе, конечно, известно, что мы очень бедны, но если ты захочешь поехать в Париж и поступить в Сорбонну, это можно будет устроить.

Рене сидел, хмуро уставясь в пол. Затем он поднял глаза.

– Если я поеду в Париж, вы оставите девочку здесь или отошлёте обратно к тётке?

– Маргариту? Я ещё не решил. Во всяком случае, я, конечно, постараюсь сделать так, чтобы ей было хорошо. Но это мы обсудим потом. Сначала я хочу поговорить о тебе. Есть у тебя к чему-нибудь склонность?

– Да, сударь. Но всё зависит от того, что будет с Маргаритой. Я не могу ехать в Париж, если её ушлют в Аваллон и законопатят там на всю жизнь.

– Хорошо, давай начнём с неё. Как ты считаешь, ей действительно было плохо в Аваллоне или это все только капризы? Я хотел бы слышать твоё откровенное мнение.

Рене в мучительном смущении стал тереть пуговицу, не находя слов.

– Ей... ей всё время приходится быть такой примерной... – начал он и вдруг сердито выпалил: – Что правда, то правда! Эта сестра Луиза вечно пристаёт с поцелуями. А тут ещё отец Жозеф со своими наставлениями!.. А что может поделать девочка, да если у неё ещё больная нога...

Он замолк.

– Так, – сказал маркиз. – Спасибо. Во всяком случае, мы избавимся от отца Жозефа и сестры Луизы. Может быть, тётя Анжелика согласится переехать сюда и пожить с

нами несколько лет. – Он со вздохом взглянул на свои книжные полки. – Посмотрим, что можно будет сделать. Теперь поговорим о тебе. Так что же тебе хотелось бы изучать?

Рене совсем смутился и еле выговорил:

– Я... мне нравится география... если вам всё равно, сударь.

– Она, кажется, хорошо давалась тебе в школе? Ты думаешь участвовать в экспедициях или хочешь преподавать географию?

– Я... я не знаю. Как придётся, только чтобы это было связано с наукой.

– Мальчуганом ты всегда что-нибудь мастерил и хорошо разбирался в машинах. Тебя это больше не интересует?

– Интересует; я люблю всё, что можно самому сделать или самому узнать. А древние языки мне совсем не даются – там все больше пустые разговоры.

– Но больше всего тебе нравится география? Ты в этом совершенно уверен?

– Да.

– И ты будешь рад поехать в Сорбонну, если тебе не придётся волноваться за сестру?

– Конечно! Только это, наверно, дорого? Анри ведь не поехал учиться в Париж? Как-то несправедливо.

– Он сам не захотел. Я предложил ему тот же выбор, и он ответил, что предпочитает заниматься хозяйством. Так что у тебя нет никаких оснований отказываться. Мне, конечно, придётся продать часть земли, но я готов это сделать. Не огорчайся, и я и Анри считаем, что ты имеешь на это полное право. Значит, решено – осенью ты отправляешься в Париж. Если, конечно... – Маркиз запнулся, потом неохотно взял лежавшее перед ним письмо.

– Я должен тебе сказать, что три недели назад получил письмо, в котором содержится предложение, касающееся тебя. Если ты захочешь его принять, я не стану тебя отговаривать. Оно от твоего дяди. Он предлагает...

– Да, я знаю, – усыновить меня и послать в Кембридж вместе с Фрэнком.

Маркиз удивлённо посмотрел на сына.

– Разве он с тобой об этом говорил? Из его письма я понял, что ты ещё ничего не знаешь.

– Я и не знал, пока на прошлой неделе не получил от него письма.

Маркиз помолчал, обдумывая услышанное. Анри всегда считал адресованные ему письма их общим достоянием.

– Вот как? По-видимому, он написал тебе после того, как получил моё письмо. Я ему ответил, что сначала хочу узнать твоё мнение. Что он тебе пишет?

– Да насчёт того, что я хочу стать географом. Он, конечно, знал, что мне нравится география, а старик Фаззи – это наш учитель географии – давно твердил ему, что мне следует заняться ею всерьёз. Он пишет, чтобы я не беспокоился о деньгах, – если будет нужно, он пошлёт меня в Кембридж на свои средства. Я ему страшно

благодарен.

– Ты ему ещё не ответил?

– Ответил, в воскресенье. Я написал, что не могу вернуться в Англию.

– Так решительно? – маркиз поднял брови. Рене опять нахмурился и опустил глаза.

– Как же я уеду? Что тогда будет с Маргаритой? Она все глаза выплачет.

– Очень возможно. Что касается меня, хотя я и не стал бы плакать – я не привык плакать, – но, если хочешь знать, я очень рад, что ты отказался...

– Отец... простите меня, отец! Мне надо было сначала спросить вас.

– Ничего подобного, мой мальчик, ничего подобного. Ты вполне способен устраивать свою жизнь по-своему... да, кажется, и мою тоже. Ну что же, решено? Сорбонна и география.

– Спасибо, сударь. Я... большое спасибо. Рене встал, пожал отцу руку и направился к двери. На пороге он остановился.

– Отец...

Маркиз, уже углубившийся в свои рукописи, рассеянно спросил:

– Что, Рене?

– Знаете... Маргарите... страшно приятно, когда вы на неё обращаете внимание. Только она вас немного боится, она такая глупенькая...

Он выскочил из комнаты. Маркиз сидел, глядя на закрывшуюся дверь.

– Моя дочь, кажется, пошла в меня, – сказал он, возвращаясь к своим бумагам. – Я ведь тоже глуповат.

Ещё несколько дней продолжались развлечения; но однажды утром, после купанья, Рене вошёл к сестре и застал её в слезах,

– Ромашка! – воскликнул он. – В чём дело? Ответа не последовало. Девочка дрожала всем телом. Из соседней комнаты вышла Розина и приложила палец к губам. Рене на цыпочках подошёл к ней, не выпуская из рук огромную охапку водяных лилий.

– Что случилось, Розина?

– Барышня, кажется, заболела. У неё жар и, наверно, очень болит ножка, она не даёт к ней притронуться.

Несколько секунд Рене не двигался, потом жестом попросил Розину выйти и на цыпочках подошёл к постели.

– Ромашка, тебе нехорошо? Посмотри, вот лилии, которые ты просила.

– Не трогай! Не трогай одеяла! У меня болит нога...

– Позвать отца?

Она схватила его за руку.

Не уходи, не уходи! Рене... мне так плохо... Рене!

С большим трудом Рене уговорил её позволить Резине ощупать больное бедро.

Нога распухла и горела. Розина тут же пошла за маркизом, а Рене тем временем безуспешно пытался успокоить девочку.

Анри едва удержался, чтобы не сказать: «Я же говорил вам!» Но он был искренне привязан к сестре, и через минуту мысль о том, как ей помочь, вытеснила все остальные. Он немедленно поехал за доктором и, пока тот осматривал больную, с подавленным видом молча стоял за дверью.

– Я, пожалуй, съезжу в Аваллон и упрошу тётю вернуться, – сказал он, услышав, что в суставе образовалось нагноение. – Я думаю, она согласится, узнав, в чём дело.

Маркиз готов был сам отправиться в Аваллон и умолять Анжелику вернуться: зрелище страданий, которые он не мог облегчить, причиняло ему невыносимые душевные муки. Это потрясение лишило его всякой способности рассуждать здраво, и он почти готов был согласиться с Анри, утверждавшим, что девочку нужно отправить к тётке: как бы ни была она там несчастна, и как бы ни иссушался там её ум, это всё же лучше, чем опасность заболеть, не имея рядом привычной сиделки. Но когда, пытаясь утешить Маргариту, маркиз сказал, что скоро приедет тётя Анжелика, девочка пришла в ярость.

– Не хочу! Не хочу никого, кроме Рене! Я не подпущу её близко! Я её ненавижу! Ненавижу!

У неё начинался истерический припадок, и так как в её состоянии это было очень опасно, доктор в конце концов посоветовал отцу уступить хотя бы на время; может быть, Рене с Розиной справятся вдвоём. Вдогонку Анри, который успел уехать в Аваллон, поспешно отправили Жака. К тому времени, когда они вернулись, Рене уже обосновался в комнате больной. В глубине души он страшился неожиданно свалившейся на него ответственности, но ничем этого не выдавал и только с напряжённым вниманием выслушивал указания доктора. И никто никогда не узнал, какого огромного напряжения сил потребовали от него две следующие недели. Розина оказалась внимательной и толковой сиделкой, и доктор был вполне доволен ими обоими.

Со времени смерти Франсуазы у маркиза не было более тяжёлых дней. Как и тогда, он не мог ни спать, ни работать; то и дело подходил к комнате больной и стоял там, тоскливо прислушиваясь к звукам, доносившимся изнутри, вздрагивая при каждом шорохе и мучаясь сознанием собственного бессилия.

Однажды поздно вечером, заглянув в комнату Маргариты, он увидел, как Рене, сидя около постели, шепчет что-то плачущей девочке, которая держится за его руку.

– Барышня сегодня все плачет и плачет, – сказала ему Розина. – Я побуду около неё. Господину Рене нужно отдохнуть, он и так с ног валится.

Маркиз тихонько подошёл к постели и тронул Рене за плечо. Не оглядываясь, Рене знаком попросил отца уйти.

– Вы бы шли спать, господин Рене, – сказала Розина. – Я посижу с барышней.

Маргарита ещё крепче сжала руку брата.

– Я сейчас уйду, сударь, – прошептал Рене. – Оставьте нас, пожалуйста, на минуту.

Маркиз наклонился и хотел поцеловать Маргариту в лоб.

– Спокойной ночи, моя девочка. Но Маргарита в страхе отпрянула.

– Нет, нет. Я хочу Рене! Я хочу Рене!

Спустя три часа маркиз в халате и домашних туфлях прокрался по коридору к двери больной и прислушался. Он услышал всхлипывания и осторожно приоткрыл дверь. Розина дремала в кресле; Рене сидел все в той же неудобной позе, нагнувшись и обнимая девочку. Она обеими руками держалась за его шею и прятала лицо на его плече. Вид у Рене был бледный и усталый, и он напомнил маркизу свою мать незадолго до её смерти. Маркиз постоял, глядя на них, потом закрыл дверь, и ушёл к себе.

На следующей неделе, обедая у тётки в Аваллоне, Анри рассказал ей о случившемся. Она испуганно вскочила, прижав руки к груди.

– Бедняжечка моя! Я так и знала! Подумать только – нагноение! С ней за всё это время не случилось ничего подобного. И меня там не было! Я сейчас же еду к ней.

– Но все уже прошло, тётя. Она почти поправилась.

– И вы не послали за мной? Кто за ней ухаживал? Розина?

– Она и Рене вместе. По-моему, они справлялись неплохо, хотя, конечно, не могли заменить вас.

Ни за что на свете не сказал бы он ей, что, по мнению доктора, болезнь была вызвана той мазью матери-настоятельницы, которой тётка натёрла Маргарите ногу.

Анжелика отвернулась и стала убирать со стола. Её губы слегка дрожали. Восемь лет она самоотверженно ухаживала за Маргаритой – и вот её место без шума, без борьбы, незаметно занято другим; её вытеснил восемнадцатилетний мальчик.

Остаток лета прошёл в Мартереле без особых событий. После болезни Маргарита не только похудела и побледнела, но и стала серьезней. Сказочный праздник кончился, приближался день отъезда Рене в Париж. Всем было ясно, что в ближайшее время нужно прийти к окончательному решению, и Маргарита проявляла все большую непреклонность. Девочка уже не кричала, не рыдала и не угрожала самоубийством, но, когда заговаривали о её будущем, решительно повторяла, что ни за что не вернётся в Аваллон.

Отец Жозеф и монахини употребили все своё влияние, чтобы отговорить Анжелику от намерения сдать дом и переехать в Мартерель. Она была им во многом полезна, и они не собирались отказываться от неё без борьбы. Дело окончилось компромиссом: Анжелика оставила за собой дом в Аваллоне и решила жить попеременно то здесь, то там.

– Больше всего мне не нравится то, что Маргарита будет заниматься очень нерегулярно, – сказал маркиз Рене. – На мой взгляд, это весьма нежелательно.

– Вряд ли занятия с тётей приносят Маргарите большую пользу. Она ведь уже не маленькая. И знаете, сударь, она ведь очень способная, даром что девочка. Она отлично чувствует, когда логика начинает хромать.

Маркиз вздохнул.

– Боюсь, что ты прав, но что я могу поделать? Нам не по средствам нанять ей хорошую гувернантку. Я не могу больше продавать землю, у нас и так почти ничего не

осталось.

– А почему бы вам, отец, не учить её самому?

– Мне? – Маркиз выпрямился в кресле и изумлённо посмотрел на Рене. – Мне? Что ты говоришь, Рене? Упрямо сжав губы, Рене смотрел в окно.

– Конечно, – начал он медленно, – если вы думаете, что... Оба помолчали.

– Что я думаю, к делу не относится, – проговорил маркиз, уже готовый сдаться. – Вопрос в том, что из этого выйдет. Я никогда в жизни не учил детей, и в моём возрасте, пожалуй, поздно браться за новое дело, даже по настоянию такого энергичного деспота, как мой младший сын.

Рене круто повернулся к отцу и огорчённо воскликнул:

– Отец! – затем опять отвернулся и добавил глухим голосом: – Я не собирался вмешиваться в ваши дела, сударь. Может быть, я слишком много на себя беру, но мы ведь хотели все устроить...

– И ты, без сомнения, умеешь все устраивать, а я нет... Не извиняйся, ты вполне доказал своё право вмешиваться в мои дела. Хорошо, я попробую. Договорились, мой мальчик.

Рене поспешно вскочил; его щёки пылали.

– Отец, вы всегда готовы помочь, когда мне что-нибудь нужно, только... зачем вы каждый раз делаете так, что я чувствую себя свиньёй?

Маркиз засмеялся.

– Разве? Тогда мы квиты. Знаешь, кем я себя чувствую, когда разговариваю с тобой? Мумией.

### ГЛАВА III

Прошло семь лет. Многое изменилось в Мартереле. Семья постепенно распалась на две части.

«Словно два лагеря!» – думал порой Рене, приезжая на каникулы. Отец с дочерью, заключившие оборонительный союз, обосновались в кабинете; оставшиеся за его пределами тётка с племянником утешали друг друга в гостинной.

Маргарита восстала против всех и всяческих авторитетов и завершила своё духовное раскрепощение с решимостью, которая даже пугала Рене, привыкшего уважать общепринятые условности. Она и слышать не хотела о молитвах и душеспасительных книгах и наотрез отказалась исповедоваться кому бы то ни было. Решив, что ей необходимо ознакомиться с трудами отцов церкви, она приставала к отцу до тех пор, пока он не согласился учить её латыни и греческому. Теперь, вместо того чтобы вышивать сумочки для монахинь, она по очереди опровергала все догматы католической церкви, поражая отца своей беспощадной логикой и полнейшим отсутствием воображения.

Маркиз однажды сказал Рене:

– Она необыкновенно умна и так быстро все усваивает, что я едва поспеваю за её требованиями. Учить её всё равно что подвергаться перекрёстному допросу: она замечает слабое место аргументации прежде, чем успеваешь развить свою мысль.

– Только слабое? А сильное?

– Очень редко. Я никогда не встречал более разрушительного склада ума. Если бы она родилась мальчиком и не заболела, ей была бы обеспечена блестящая карьера в суде. Но зачем её ум девушке, прикованной к постели? Уж лучше бы она походила на тётку!

– А как сейчас тётя? Успокоилась?

– По-моему, да. Одно время, как ты знаешь, она все волновалась, боясь, что мы губим свои души, но последние год-два примирилась с положением вещей. Маргарита подрастает и становится более терпимой к людям.

– Или более сдержанной, – заметил со вздохом Рене. Он вспомнил, как однажды, года четыре назад, тётка попросила его что-нибудь спеть и он начал старинную народную песенку:

Здесь родилась любовь моя,  
Где роза пышно расцвела.  
В прелестном садике...

– Замолчи! – закричала Маргарита. – Замолчи! Ненавижу прелестные садики, они похожи на Аваллон!

Анжелика залилась слезами и вышла из комнаты; возмущённый Анри последовал за ней. Даже Рене не удержался и пробормотал:

– Послушай, зачем же быть таким поросёнком! За этим последовала одна из тех ужасных сцен, которых страшились все в доме. Беспомощной больной трудно было перечить, а кроме того, эти припадки ярости обладали такой силой, что, казалось, отравляли весь воздух миазмами ненависти и тоски. Хуже всего было то, что жертвы этих припадков обычно страдали из-за своей привязанности к девочке. Когда Анри единственный раз в приливе нежности назвал Маргариту Ромашкой – ласковым именем, придуманным Рене, над его головой разразилась страшная буря, он едва успел уклониться от её злобно стиснутых кулачков. Задыхаясь от ярости, она шипела на брата, как змея:

– Как ты смеешь! Как ты смеешь! Я Ромашка для Рене, а не для тебя. Ты когда-нибудь называл меня ласковыми именами до его приезда?

Первые годы по возвращении в Мартерель Маргарита совершенно не умела обуздывать эти душевные ураганы, но со временем она научилась владеть собой. К восемнадцати годам она стала необыкновенно сдержанна и молчалива. Маркиз чувствовал, что, несмотря на общность их умственных интересов, дочь словно отгораживается от него стеклянной стеной и скрывает от него свой внутренний мир, как от чужого.

Иногда ему приходило в голову, что эта непроницаемая замкнутость – следствие жестокого разочарования, которое постигло Маргариту. В течение первых двух лет, проведённых в Мартереле, её физическое состояние неуклонно улучшалось: она уже начинала немного ходить на костылях, и её бледное личико округлилось и порозовело. Но потом, неизвестно почему, снова наступило ухудшение. Она не вставала с постели уже четыре года, и, казалось, жизненные силы постепенно её покидали. Острой боли она не испытывала, но тупое, ноющее ощущение смертельной усталости давило её

невыносимой тяжестью. Ей уже стоило огромного напряжения воли во время приездов Рене притворяться весёлой и бодрой, чтобы не портить ему каникулы.

Рене только что приехал на лето домой в отпуск. В Сорбонне его дела шли так же хорошо, как в английской школе; он приобрёл много друзей, не нажил ни одного врага и сразу после окончания получил должность картографа в государственном учреждении. Для такого молодого человека, это считалось превосходным началом, хотя платили ему пока немного и работа была скучноватой.

– Можно войти. Ромашка? – спросил Рене, стучась к сестре на следующее утро после приезда. – Я хочу с тобой посекретничать.

– Входи, я уже одета. И изволь полюбоваться мной: в честь твоего приезда я надела своё самое лучшее платье.

Кушетка стояла у открытого окна, и трепетные тени листьев танцевали вокруг головы Маргариты. Её лучшее платье, как и почти всё остальное в этом обедневшем доме, было скромное и довольно старенькое, но она накинула на плечи старинный кружевной шарф, заколов его своей единственной драгоценной брошью, и воткнула в волосы белую розу. На её осунувшемся лице, казалось, остались одни глаза.

– Как я рада, что ты снова здесь и мы все утро пробудем вдвоём. Отец у себя в кабинете, а тётя с Анри ушли в церковь. Мне хочется визжать и кидаться от радости подушками, как маленькой. Вчерашний вечер при всех не считается. Я сказала себе: «Это только так. На самом деле он придет утром». Подожди, не подходи, дай я тебя хорошенько рассмотрю. Одна, две, три морщинки на лбу! Скверный мальчик, в чём дело? Тебя что-нибудь тревожило?

– Нет, просто я рвался к тебе, вот и все. Он сел рядом с кушеткой и поднёс к губам её руки. Это были необыкновенно красивые руки – худые и почти прозрачные, но поразительно изящные. Некоторое время брат и сестра молчали от избытка счастья.

– Душистый майоран! – воскликнула она, прижавшись лицом к груди брата. – Так рано! Где ты его взял? Рене вытащил из кармана пучок измятых цветов.

– Я и забыл. Собрал для тебя на солнечной стороне холма около церкви.

– Ты ходил в церковь? Но ведь тётя и Анри хотели, чтоб ты пошёл вместе с ними.

– Я был у ранней заутрени.

– Чтобы потом застать меня одну?

– Отчасти; и ещё потому, что я люблю ходить в церковь один. Тётя как-то мешает. У неё по воскресеньям бывает такой вид, будто она исполняет свой долг, а у меня от этого пропадает всякое настроение.

Маргарита перебирала пальцами пуговицы на его жилете.

Потом она подняла на него глаза, осенённые великолепными ресницами.

– Ты всегда ходишь в церковь? И в Париже тоже?

– Как правило. Если мне не удаётся сходить в воскресенье, я стараюсь пойти на неделе. Она вздохнула.

– Наверное, для верующих... я хочу сказать – для христиан... это вопрос долга? Прости меня, дорогой, мне не нужно было этого спрашивать!

Рене рассмеялся.

– Какая ты смешная! Почему же не спросить, если тебя это интересует? Но что за странные мысли приходят тебе в голову – почему долг? Если бы мне не хотелось ходить в церковь, я бы не ходил.

– А ты не мог бы объяснить мне, почему ты туда ходишь?

– Ну, скажем, почему я хожу сюда?

– Но это же не одно и то же. Когда любишь человека, хочется быть вместе с ним.

Рене ещё не утратил своей юношеской способности краснеть. У него порозовели уши.

– Но, видишь ли. Ромашка, я... я люблю бога. Она сразу заметила слабость этого аргумента и пошла в наступление:

– Тут нельзя провести аналогию. Если бог вездесущ, значит он повсюду. И с любимым человеком хочется быть не в толпе, а наедине. Зачем тебе разговаривать со своим богом в уродливой церкви, увешанной дешёвыми украшениями, глядя, как жирный поп из-за молитвенника пялит глаза на жену своего ближнего? Да, да, вся деревня знает это, и всё-таки они ходят слушать, как он служит мессу.

– Я не думаю ни о священнике, ни об украшениях – я о них просто забываю. Но ты, пожалуй, права: дело не только в любви к богу, но и в любви к людям. Присутствие тебе подобных даёт смелость обратиться к нему; когда я остаюсь с ним наедине, он меня подавляет. В церкви говоришь «благодарю тебя, боже» вместе со всеми – и не чувствуешь себя таким уж нахальным червём.

– Объясни мне, Рене, что в твоей жизни стоит слов «благодарю тебя, боже»? Разве он дал тебе так много?

– Что? Да каждый луч солнца, каждая травинка, летний отпуск, душистый майоран, география и больше всего ты, моя несравненная Маргарита. Мне хочется благодарить бога за всю тебя, от кончиков волос до кончиков пальцев.

– И за мою ногу тоже? – бросила она ему в лицо.

И тут же пожалела о сказанном: голова Рене упала на её руку, которую он держал в своей. Он так долго молчал, что Маргарита стала наконец утешать брата, тихонько ероша тонкими пальцами его волосы.

– Не надо, дорогой. Стоит ли так огорчаться? Я привыкла. Почему же не можешь привыкнуть ты? Я не хочу, чтоб ты сердился на бога или на отца из-за моей ноги. А мне не нужно отца – ни земного, ни небесного. – Лицо её стало суровым. – Я понимаю, что ты имел в виду, говоря о душистом майоране. И я благодарна отцу за то, что он научил меня греческому. Мне бы хотелось полюбить его, но между нами стоят отец Жозеф и сестра Луиза. А бог, наверно, рассуждал так же, как и отец: оба думали, что для девочки-калеки сойдёт и такое общество. А самое странное то, что теперь, когда уже поздно, отец меня полюбил. Конечно, не так, как тебя, но как твоё отражение. Мне кажется, он даже отказался бы от своей египтологии, если бы это помогло ему завоевать твою любовь.

– Тут уж ничего не поделаешь, – глухо сказал Рене, не глядя на неё. – Я не сержусь на отца; мне его ужасно жаль. Он не виноват, что он такой. И последние годы он был

ко мне очень добр. Я любил бы его, если бы мог. Но с детства некоторые вещи застревают в душе, как заноза, и потом, когда вырастаешь, их никак не вытащить, сколько ни старайся. Глупо, конечно, но ничего не поделаешь.

Он помолчал, глядя на каштаны за окном.

– Видишь ли, когда мы были маленькими и остались после маминой смерти на попечении слуг... Нет, ты, конечно, не помнишь – ты была совсем крошкой. Так вот, слуги рассказывали нам уйму всяких сказок. В одной из них говорилось о мальчике, родители которого хотели от него избавиться, потому что были бедны. Они пошли как-то с ним гулять и оставили его в лесу. Я, бывало, представлял себе, как бедный малыш бродил по лесу один-одинёшенек... А потом нам сказали, что меня отправят в Англию, и Марта заплакала. Я случайно подслушал, как она говорила Жаку: «Послать ребёнка к этим английским людоедам». Я слышал о людоедах и решил, что в Англии меня обязательно съедят. Конечно, когда я туда приехал, и когда дядя Гарри встретил меня в Дувре с коробкой сладостей, и когда мы приехали домой к тётке Нелли, и в уголке у камина был накрыт стол для ужина, и когда я увидел их ребят, я забыл все свои страхи, или, во всяком случае, думал, что забыл. Потом я окончил школу, вернулся сюда и увидел отца, и он мне очень понравился, он мне ужасно понравился... А потом мне рассказали про тебя, – и я опять все вспомнил. Тогда я понял, что ничего не забывал, а просто притворялся. Я всегда знал, что отец просто хотел от нас избавиться.

– Теперь я понимаю, – сказала Маргарита, – почему ты так упорно называешь себя Мартемом.

– В этом нет никакого упорства – просто я так записался в Сорбонне, а теперь уже поздно менять. Неужели отцу это было неприятно?

– Мне кажется, ничто и никогда не причиняло ему такой боли.

– Ромашка! Он тебе говорил?

– Отец? Разве ты его не знаешь? Он ни за что не скажет. Но Анри однажды завёл об этом разговор, и отец очень резко его оборвал. Я никогда не слышала, чтобы он говорил таким тоном. Он сказал только: «Твой брат был совершенно прав», – затем встал и вышел из комнаты, как-то сразу постарев, и бледный, как... В дверях он оглянулся на меня, он знал, что я все поняла.

– О Ромашка, если бы я только знал! Просто... понимаешь, дядя Гарри относился ко мне как к родному сыну, и я думал, что отцу всё равно. Какой же я был болван, – итак всегда: Но что теперь об этом говорить? Сделанного не воротишь. Расскажи мне про себя. Чем ты занималась всё это время?

– Всем понемножку. Иногда читала по-гречески.

– Иногда? Значит, тебе опять было хуже?

– Не огорчайся так, милый: просто общая слабость, больше ничего. Вряд ли это когда-нибудь пройдёт. Хорошо одно – я почти не испытываю боли. Иногда только побаливает голова или спина. Ты придаёшь этому слишком большое значение, потому что в детстве я из-за каждого пустяка поднимала страшный шум.

– Разве, радость моя? А я и не замечал.

Она засмеялась, и в глазах у неё сверкнули слезы.

– Ну конечно, глупыш, ещё бы ты заметил. Разве ты когда-нибудь замечал во мне какое-нибудь несовершенство, за исключением моего безобразного характера? Я, наверно, даже кажусь тебе хорошенькой? Ну, признавайся! Несмотря на выпирающие ключицы, жёлтый цвет лица и всё прочее?

– Не хорошенькой, а красавицей. Возьми зеркало и посмотри на свои ресницы.

– Хорошо, ресницы я так и быть тебе уступлю.

– И глаза.

– Ну и глаза тоже. А теперь рассказывай свои секреты. Он помолчал.

– Это только один секрет.

– Да? Наверно, он важный, раз тебе так трудно с ним расстаться. Уж не влюбился ли ты?

– Не угадала. Дело в том, что из этого, возможно, ничего и не получится. Не обольщай себя надеждами, шансы очень невелики. Один лионский врач открыл способ лечения болезни тазобедренного сустава. Я узнал об этом месяц назад и написал ему. Он ответил, что в ряде случаев ему удалось при помощи своего метода излечить даже такие запущенные случаи, как у тебя.

– Излечить!

Щеки Маргариты порозовели.

– Хромота, конечно, осталась, и весьма значительная, но ходить они могут.

Маргарита отвернулась, потом снова посмотрела на Рене и взяла его за руку.

– Дорогой, зачем тешить себя сказками. Даже если какой-то знаменитый доктор в Лионе и вылечил несколько – человек, какой мне от этого прок – здесь, с нашими лекарями?

– Доктор Бонне приедет к нам на будущей неделе.

– Рене!

– А почему бы и нет? По крайней мере будем знать правду.

– Но это безумие! Он всё равно скажет, что сделать ничего нельзя, – все это говорили. И откуда нам взять денег, чтобы заплатить ему? У нас нет ни гроша; в прошлом году урожай был совсем плох, а издание книги отца обошлось очень дорого.

– У меня есть деньги.

– Откуда? Ты откладывал из твоих ста пятидесяти франков в месяц?

– Нет, из того, что мне давал отец, когда я учился, и из подарков дяди Гарри ко дню рождения. Я скопил больше двух тысяч франков.

– За сколько лет?

– Не помню. Подумай только. Ромашка! Если бы ты вылечилась, а мне бы дали хорошую должность, может быть, мы на будущий год сняли бы с тобой квартиру в Париже и...

– Рене, Рене, замолчи! Этого не будет, этого никогда не будет! Так не бывает в этом мире.

– Но почему? Растёт же в этом мире душистый майоран. Разве ты не имеешь права на свою долю счастья, как и другие? Она обвила его шею руками.

– У меня есть моё счастье – у меня есть ты.

Скоро Рене сообщил и остальным членам семьи, что к Маргарите приедет доктор Бонне; и когда тот прибыл, его уже ждал домашний врач. Прежде чем отправиться к Маргарите, приезжая знаменитость задала множество вопросов. Затем последовал долгий и тщательный осмотр, после которого оба доктора удалились посоветоваться. Наконец они вернулись в комнату больной, где в ожидании приговора собралась вся семья.

Вопреки ожиданиям, доктор Бонне их обнадежил. Он сказал, что растущая слабость, которая так пугала близких Маргариты, была вызвана случайным осложнением, которое легко поддаётся лечению. Пока оно не будет устранено и больная не окрепнет, начинать борьбу с самой болезнью бесполезно, поскольку потребуется операция, которую больная в таком состоянии перенести не сможет.

Он уже объяснил доктору Моро, как следует лечить осложнение; но окончательное излечение, если они на него решатся, может быть осуществлено только им самим. Однако гарантировать благоприятный исход он не может.

– По-моему, попробовать стоит, – добавил доктор Бонне. – Но предупреждаю вас, что процесс лечения будет очень длительным и болезненным, а исход его всё-таки сомнителен. Надежда на излечение есть, и по моему мнению, значительная, – это всё, что я могу сказать. Я не настаиваю на своём предложении, тем более что коллега против, но я считаю, что шансы на успех оправдывают мою готовность взяться за это дело.

Маркиз сидел, нервно теребя подбородок и глядя в сторону. Он со страхом думал, что должен будет высказать своё мнение. Он всегда терялся, когда от него требовали немедленно что-нибудь решить. Прижав к груди руки, Анжелика повернулась к племяннице. Её выцветшие глаза были полны слёз.

– Какой ужас! Как можно!.. Моя бедняжка! Подумать только...

– Погодите, тётя! Мы ещё не слышали мнения доктора Моро.

Это сказал Рене суровым, напряжённым голосом. Он встал между Анжеликой и кушеткой, как бы защищая Маргариту от тётки. Анжелика робко отступила и села на своё место.

Доктор Моро решительно высказался против предложенного плана.

– Это будет бесполезная жестокость, – сказал он. – Мадемуазель Маргарите придётся претерпеть огромные мучения, сопряжённые даже с некоторой опасностью для жизни. Долгие месяцы её близкие будут томиться в неизвестности, и в конце концов их, возможно, постигнет разочарование. Доктор Бонне говорит, что за последнее время у него был ряд поразительных исцелений, но я хотел бы спросить – какой ценой? И сколько было неудач?

Тут Анжелика снова не выдержала.

– Этьен! – воскликнула она и разрыдалась. – Этьен не разрешайте им... Это неслыханно... неслыханно! Этьен...

Маркиз ничего не ответил; он взглянул сначала на Маргариту, а затем на Рене. Они смотрели друг на друга. Он встал и, как много лет назад, сделал единственное, чем он мог им помочь, – оставил их вдвоём.

– Мне кажется, нас здесь слишком много, – сказал он. – Может быть, Маргарите хочется побыть одной. Она сама должна решить. Спустимся вниз.

Все вышли. Анжелика обливалась слезами, а Анри утешал тётку, шёпотом уверяя её, что это чудовищное предложение ни в коем случае не будет принято. Они услышали, как в замке повернулся ключ.

Просидев взаперти с Маргаритой почти целый час, Рене спустился в гостиную.

– Спасибо, отец, – сказал он,

Никто не понял, за что он благодарит отца. Рене подошёл к доктору Бонне.

– Сестра просила передать вам, что она согласна. Она вполне сознаёт, что операция будет мучительной и возможен неудачный исход, но готова пойти на всё это в надежде на излечение...

– Рене! – негодуя прервал его Анри. – Ты её уговорил! Это возмутительно!

– Она не понимает, что делает! – воскликнула Анжелика. – Ведь она ещё дитя!

– Боюсь, – добавил доктор Моро, – что мадемуазель Маргарита горько раскается в своём решении.

Маркиз не проронил ни слова. Бледный как полотно, он смотрел на Рене, который продолжал все тем же ровным тоном:

– Единственное, что нас смущает, это вопрос о расходах, связанных с лечением. Как вы думаете, во сколько все это обойдётся?

– Точно я не могу сказать. Конечно, ей придётся приехать в Лион и пожить там несколько месяцев, соблюдая особый режим. Ей будет нужен хороший уход, и, мне думается, при ней должен всё время быть кто-нибудь из родных. Путешествие, конечно, обойдётся недёшево, и лечение также повлечёт за собой значительные издержки.

Рене взял карандаш, лист бумаги и стал записывать предстоящие расходы, ставя приблизительную цифру, называемую доктором. Затем он прибавил к колонке цифр гонорар врача, подвёл итог и подал листок отцу. Тот молча взглянул на цифры, показал листок Анри и, опустив голову, вернул его Рене.

– Это невозможно.

– Это полное разорение, – прошептал отцу Анри. – Нам пришлось бы продать почти всё, что у нас есть. Даже если она вылечится, мы останемся без всяких средств к существованию. Дом, возможно, тоже пришлось бы продать.

Рене сидел неподвижно, держа в руке листок с цифрами. Он был почти так же бледен, как маркиз.

– Благодарю вас, – сказал он, вставая. – Я пойду к сестре.

– Слава богу, что мы бедны! – воскликнула Анжелика, когда за ним закрылась дверь.

Маркиза невольно покорило – зачем докладывать лионскому доктору о бедности де Мартерелей?

Рене вышел из комнаты Маргариты, чтобы попрощаться с доктором Бонне и немного проводить его. Доктор, на которого Рене и Маргарита произвели сильное впечатление, при расставании предложил взять за лечение, «если это изменит дело», только половину обычного гонорара. Рене покачал головой.

– Я очень вам благодарен, доктор, но сестра никогда на это не согласится. Да и независимо от гонорара стоимость лечения превышает все наши возможности. Но если – скажем, года через три – положение изменится и у нас окажется необходимая сумма, вы согласитесь её лечить?

– Безусловно.

– Ну что же, тогда до свидания, доктор. Большое вам спасибо.

Рене вышел из коляски и долго бродил по полям. Домой он вернулся поздно вечером, сумрачный и молчаливый, и после ужина поднялся к сестре. Маргарита была одна.

– Я сегодня лягу пораньше, – сказал он. – Устал что-то. Тебе ничего не нужно?

– Нет, спасибо. Спокойной ночи.

Они расстались молча, не поцеловав друг друга, ничем не выдав обуревавших их чувств. Всю ночь Рене ходил по комнате из угла в угол, а Маргарита безутешно рыдала в темноте. Она совершенно потеряла способность здраво рассуждать и забыла о том, что её участь облегчится хотя бы тем, что будет устранено обнаруженное доктором Бонне осложнение. Какое всё это могло иметь значение, если отчаянное усилие, которое ей пришлось сделать, чтобы найти в себе достаточно решимости, оказалось напрасным и если Рене покинул её в такую тяжёлую минуту... Уйти и оставить её одну сегодня!.. Сегодня, когда он ей так нужен!

Прошло несколько дней. Брат и сестра были необычайно молчаливы; она, плотно сжав губы, смотрела тоскующими глазами; он, казалось, был поглощён своими мыслями. Анжелика изо всех сил старалась помочь им благочестивыми советами, – она так и не научилась понимать, что иногда людей лучше оставлять в покое. Анри посматривал на них грустно и нерешительно: ему очень хотелось выразить своё соболезнование, но, познав на горьком опыте, что с этой непонятной и трудной парой нужно обходиться осторожно, он не мешал им переживать своё горе в одиночестве, хотя и не понимал такой потребности. Маркиз же все понимал и не заговаривал с ними.

Друг с другом они были так же сдержанны, как и со всеми остальными. Но однажды вечером, когда они остались вдвоём, Рене наконец заговорил.

– Ромашка... – тихо начал он и запнулся. – Я хочу тебе сказать, Ромашка...

Маргарита отчуждённо молчала, и он с трудом договорил:

– Я скоро уеду.

– В Париж? Ещё до сентября?

– Нет... очень далеко. И вернусь только года через три-четыре.

Маргарита резко приподнялась. Рене так и не смог привыкнуть к этому напряжённому, неловкому движению – ему всегда становилось тяжело. И сейчас он тоже отвёл глаза.

– Куда ты едешь? – зло спросила она.

– В Южную Америку. Туда отправляется экспедиция, и я буду в ней географом.

Она молчала, прерывисто дыша.

– Когда...

– Мы отплываем из Марселя первого октября.

– Нет, я не о том... Когда ты принял это назначение?

– Мне предлагали это место незадолго до того, как я приехал сюда. Сначала я отказался, а потом... – он поднял на неё глаза, прочёл обвинение в её взоре, отвернулся и неловко закончил: – А потом принял.

– Когда?

– На прошлой неделе.

– После визита доктора Бонне?

– Да. Сегодня я получил ответ. Меня включили в состав экспедиции. Я... это вовсе не так уж долго, только сначала так кажется.

Она не отрывала взгляда от его лица.

– Наверно, эта работа хорошо оплачивается? Поэтому ты и согласился, да? Он не ответил.

– Поэтому? По крайней мере, скажи мне все прямо.

– Да, поэтому.

Рене встал и начал ходить по комнате.

– Послушай, Маргарита, мы должны глядеть правде в глаза, – никакой другой возможности достать денег у нас нет. Да и что тут такого? Сколько народу ездит в тропики! Возьми хоть англичан – для них ничего не стоит съездить в Индию. Через четыре года мы вернёмся, может быть даже через три. Возможно, они...

– Очень может быть. Но поскольку ты с ними не поедешь, не важно, когда они вернуться.

Смеясь и плача, она протянула к нему руки.

– Неужели ты думал, что я на это соглашусь? Мой милый глупыш! Подумать только – Южная Америка!

– Все уже решено, Ромашка.

У неё перехватило дыхание. Рене подошёл к кушетке. Маргарита схватила его за руку.

– Но это невозможно!

– Это необходимо. Я тебе ничего не говорил, пока все окончательно не решилось, чтобы избежать напрасных споров. Я уже подписал договор, и они выслали мне деньги

на предварительные расходы. Не надо... Ромашка, не гляди на меня так! Я же вернусь!

Рене высвободил руку и побежал за водой, напуганный выражением её лица. Когда к Маргарите вернулся дар речи, между ними начался напряжённый, мучительный для обоих поединок.

– Ты не имеешь права! – кричала она. – Это моё дело решать, какую цену я согласна платить за возможность излечения, – такую я не согласна!

– Согласна же ты вынести курс лечения доктора Бонне?

– Какое тут может быть сравнение? Это слишком дорого мне обойдётся. Я ни за что не соглашусь! Потерять тебя на целых четыре года... отпустить в дикую страну, где тебя в любую минуту могут убить... Куда вы едете? В Чили? В Парагвай?

– В Эквадор, на северо-западные притоки верхней Амазонки. Мы выйдем из Гуаякиля, пересечём Анды и спустимся в Бразилию.

– Северо-западные притоки Амазонки! Но это же совсем не исследованный край! Тебя могут растерзать хищные звери или убить дикари... Нет, ты не поедешь!

– Но мы ведь будем вооружены, дорогая. Это большая экспедиция; нас поведёт опытный человек, полковник в отставке, участник алжирской войны. Вместе с проводниками и носильщиками нас будет человек двадцать-тридцать. Это ведь совсем не то, что малярийные болота Центральной Бразилии, – мы пойдём по горам. Вот увидишь, я вернусь цел и невредим, а когда ты вылечишься...

– Рене, я не возьму этих денег! Подумай, чего ты от меня требуешь: чтобы я согласилась излечиться или получить надежду на излечение ценой твоей жизни. Я не пойду на это, твоя безопасность мне дороже ноги.

– Взгляни на дело с другой стороны, подумай, чего ты требуешь от меня: чтобы я остался дома, зная, что ты лишаешься единственного шанса на выздоровление.

– Нет, зная, что у меня остаётся моя единственная радость. У меня, кроме тебя, никого нет, Рене! Я не могу тебя потерять... я... не могу... – Она горько зарыдала.

Глядя на сестру, Рене почувствовал, что к горлу подступает комок, и закусил губу. Но он был непреклонен.

– Все уже решено, родная. Ты только понапрасну себя терзаешь.

Наконец Маргарита, обессилев, сдалась и в немом отчаянии спрятала лицо в подушку. Рене отправился в кабинет и сообщил отцу о своём решении. Ему хотелось поскорее со всем этим покончить. После ужасной сцены, которую он только что выдержал, ничто, казалось, не могло больше причинить ему сегодня боли. И чем скорее родные узнают о его предстоящем отъезде, тем скорее примирятся они с неизбежным. Для них же будет лучше, если они узнают правду сразу.

Тем не менее реакция отца на этот новый удар застала его врасплох. Сидя за столом, маркиз безмолвно выслушал сына, а когда Рене кончил, некоторое время сидел не шевелясь, прикрыв глаза ладонью.

– Она знает? – спросил он наконец.

– Да.

Рене ни словом не упомянул ни о Маргарите, ни о причинах, вынудивших его

принять это решение, однако притворяться друг перед другом было бы ребячеством.

– Тебе удалось её уговорить?

– Нет, придётся обойтись без её согласия.

– А Анри ты сказал?

– Нет ещё, ни ему, ни тёте. Я хотел, чтобы сначала узнали вы.

– Если хочешь, я пойду к ним вместе с тобой.

– Спасибо, сударь, так будет действительно лучше. И ещё... если бы вы могли оградить Маргариту... чтобы они не беспокоили её после моего отъезда. Она так тяжело это переживает.

– Я сделаю всё, что смогу. Они, наверно, спросят, почему ты решил уехать.

– Я... не хочу об этом говорить.

– Разумеется. В таком случае, чтобы избежать в дальнейшем всяких разговоров – они могут быть очень неприятны для Маргариты, – может быть, объясним твоё решение честолюбием? Карьера исследователя новых земель может показаться заманчивой для молодого человека, который должен сам пробиться в жизни. Тётя Анжелика, пожалуй, поверила бы в версию о неудачной любви, но эта роль тебе не очень-то подходит.

– Да, не очень. Благодарю вас, сударь. Хорошо, пусть будет так. Я не честолюбив, но мог бы быть честолюбивым.

– Да, – ответил маркиз, – большинство из нас не то... чем мы могли бы быть.

Он встал и опёрся о стол обеими руками. Листок бумаги слегка затрепетал под его пальцами.

– На случай, если мы больше не увидимся, если ты почему-нибудь не вернёшься или я тебя не дождусь, – я хочу тебе сказать, что мне бы хотелось... быть тебе не отцом, а братом. Роль брата, может быть, удалась бы мне несколько лучше, чем роль отца, и я был бы рад любому проявлению братских чувств с твоей стороны. Хотя, конечно, рано или поздно, ты бы все равно во мне разобрался. Некоторые вещи я понимаю очень хорошо. Иным взамен удачи даётся ясность понимания. Ну что же, пойдём к тётке и Анри?

Когда они спускались по лестнице, Рене казалось, что его душат. Никогда в жизни не чувствовал он себя таким бездушным скотом – кем нужно быть, чтобы не найти ни единого слова в ответ! Но что он мог сказать?

После этого безмолвного спуска по лестнице было уже легко перенести возражения, мольбы и слезы, заполнившие следующий час. Всё же Рене вздохнул с облегчением, оказавшись у себя в комнате, – это был тяжёлый вечер.

– Пожалуй, нельзя вырывать все зубы сразу, – пробормотал он, бросаясь на кровать. – Даже у Исаака из Йорка вырывали только по одному в день.

По мере того как приближалось первое октября, ему стало казаться, что у него вырвали больше зубов, чем бывает во рту у одного человека. Каждый день тётка встречала его приготовления к отъезду новыми потоками слёз, а Маргарита – протестами. Получение официального документа – согласно которому «Рене Франсуа

де Мартерель. именуемый также Мартель», назначался географом, геологом и метеорологом «экспедиции, возглавляемой полковником Дюпре, которая направляется для исследования северо-западных притоков верхней Амазонки», вызвало в доме целую бурю. Один маркиз хранил молчание.

Дядя Гарри приехал из Англии повидаться с племянником и, проведя в замке три недели, вернулся домой грустный и озадаченный.

– Не могу понять, в чём дело, – сказал он жене. – Они все очень любезны и приветливы, но кажется, что всё время ступаешь среди стеклянной посуды. Эта больная девушка смотрит ненавидящими глазами на каждого, кто приближается к её брату. А Этьен! Он вежливо поддерживает разговор, шутит, а у самого такое лицо, словно он увидел призрак. Я было спросил Рене, чем вызван его отъезд, но он только молча взглянул на меня. Я убеждён, что за всем этим скрывается какая-то трагедия. Он всегда был таким открытым, весёлым мальчиком.

Рене действительно нашёл прибежище в молчании. Ему хотелось только одного – поскорее уехать. Он не мог дожидаться первого октября – тогда по крайней мере всё будет кончено и он сможет сосредоточиться на работе. Однако, когда настал час расставания, оказалось, что Рене даже не представлял себе, каким будет прощанье с Маргаритой. До самого последнего дня девушка отказывалась примириться с отъездом брата, но когда настала роковая минута, она уже не спорила и не умоляла понапрасну, а лишь в немом отчаянии судорожно обнимала Рене.

Он сам не помнил, как вышел из её комнаты и простился с остальными родными. В нём все онемело. Анри проводил Рене до Марселя, а маркиз нашёл предлог остаться дома, чтобы, согласно своему обещанию, оградить Маргариту от ласк и слез Анжелики. Он и не подозревал, что небрежно брошенное им: «Поезжай лучше ты, Анри, у меня что-то ревматизм разыгрался», – едва не вернуло ему утраченную семь лет назад любовь младшего сына.

\* \* \*

Огни Марсельского порта растаяли в серой дали. Рене спустился к себе в каюту, насвистывая весёлый мотив, К счастью, у него много дел. Он взялся за изучение испанского языка и решил заниматься им в пути по пять часов ежедневно. Кроме того, он должен готовиться к предстоящей работе и вести дневник для Маргариты. В общем, хандрить ему будет некогда, по крайней мере до мыса Горн.

Вдобавок ко всему Рене, великолепно переносивший качку, вскоре оказался по горло занят уходом за страдавшими от морской болезни товарищами и распаковкой их багажа. Попутно он старался составить себе представление о характере каждого из них. К тому времени, когда берега Африки скрылись за горизонтом, он уже немало знал о людях, с которыми ему предстояло жить бок о бок. В сведениях недостатка не было. Наоборот, главная трудность заключалась в том, чтобы, выслушивая от каждого из своих спутников кучу сплетен обо всех остальных, составить себе о них независимое и беспристрастное суждение.

Не успевал он расположиться на палубе со словарём и грамматикой, как голос эльзасца Штегера, ботаника экспедиции, вторгался в его сознание и вытеснял испанские глаголы.

– Как вам нравится нахальство этих щенков? Умора, как они дерут носы!

– Какие щенки? – бормотал Рене, не отрывая глаз от глаголов.

– Да эти офицеришки. Дали им отпуск на время экспедиции, так они уж вообразили себя настоящими исследователями. Так бы они его и получили, не приходись де Винь племянником военному министру. Этот оболтус убедил дядюшку, что старик Дюпре никак не обойдётся без него и его дружка Бертильона. Подумать только! Когда Дюпре вышел в отставку, этот Бертильон ещё пирожки из песка делал и получал шлёпки от своей няньки.

– Ну, пожалуй, вы преувеличиваете.

– Разрешите сказать вам, мой дорогой, что наш уважаемый командир отнюдь не юноша. Ему уж наверняка под шестьдесят, и, между нами, ему больше подошло бы проветривать свои ордена и воспоминания об Аустерлице, прогуливаясь в садах Тюильри, чем возглавлять экспедицию в эту дикую глушь. Там, куда мы направляемся, гораздо важнее иметь голову на плечах, чем грудь в орденах, а бедняга Дюпре звёзд с неба не хватает. Зато гонора хоть отбавляй. Слыхали, как он на днях обрушился на Лортига, когда тот, обратившись к нему, забыл сказать «полковник». Если бы Дюпре только знал, как они его величают за спиной! «Педель» – неплохо, а?

Штегер распространялся в таком духе до тех пор, пока Рене под каким-нибудь предлогом не уходил вниз. Ему не хотелось обижать эльзасца, но мелкие слабости их командира его ничуть не интересовали, и ему не терпелось вернуться к грамматике. Однажды, когда он спасался от Штегера на нижней палубе, его изловили молодые офицеры и гасконец Лортиг, большое, самодовольное, сильное животное, сытое и холёное. Страстный охотник, он отправился в опасную экспедицию в надежде пострелять ягуаров.

Завидев коротко стриженную голову Рене, Лортиг лениво подошёл к нему, и его чересчур красные губы под чёрными блестящими усами раздвинулись в улыбке, открывая два ряда чересчур белых зубов.

– Сбежали от Кислой Капусты? – спросил он, передразнивая немецкий акцент Штегера. – Не так-то это просто, а? Такие твари, у которых рот словно полон теста, а мускулы висят, как тряпки, присасываются накрепко. А вот и Гийоме наконец выполз! Не человек, а прямо червяк. Знаете, что я вам скажу, Мартель, – кроме нас двоих да ещё вот этих ребятишек, во всей компании вряд ли найдётся человек с приличными бицепсами. И это экспедиция в страну дикарей!

– Ну что вы, – сказал Рене, – не так уж все плохо. Господин Гийоме, правда, на вид не слишком силён, но и то заранее ничего сказать нельзя, а за остальных волноваться не приходится. Штегер, я уверен, может переносить тяготы пути не хуже любого другого, командир у нас тоже человек крепкий. Ну, а у доктора Маршана одной энергии хватит, чтобы справиться с любыми трудностями.

– Маршан – совсем другое дело. Если бы не его враг – бутылка, он был бы великим человеком. Говорят, до этой гнусной истории он считался одним из лучших парижских врачей. Подумать только – загубить такую блестящую карьеру из-за какой-то глупой бабы!

Рене нахмурился.

– Личная жизнь доктора Маршана мне неизвестна. Вы читали его книгу по этнологии? Очень интересно.

– Да? – спросил, зевая, Лортиг. – Так вот, когда он обнаружил, что любовник его жены...

– Прошу прощения, но меня, кажется, ждёт полковник, – сказал Рене, отчётливо выговаривая каждое слово, и ушёл.,

Из люка показалась огромная седая грива Маршана. Нимало не смутившись, Лортиг двинулся ему навстречу.

– А, вот и вы, доктор! Как там Гийоме, отлежался? Держу пари, что мы с ним ещё понычимся, когда будем переходить через Анды!

Этнолог, маленькие ноги которого не соответствовали его крупному, массивному телу, мрачно оглядел трех бездельников из-под косматых бровей.

– Займитесь делом, – рявкнул он вместо ответа. Офицеры только рассмеялись, ничуть не обидевшись.

– Зачем нам заниматься делом, доктор? Мы же не Мартели.

– Тем хуже для вас, – сказал Маршан и посмотрел вслед Рене. – Но найти себе какое-нибудь занятие вы можете. Сразу видно, что вы не знаете тропиков. Если вы будете целыми днями торчать на палубе, бить баклуши и сплетничать, – его глаза, внезапно широко раскрывшись, метнули в них пронизывающий взгляд и снова сощурились, – то к тому времени, когда мы прибудем в Напо, вы станете такими же дохляками, как Гийоме.

– Только не я, – сказал Лортиг. – Стоит мне добраться до дичи...

– И не мы с Бертильоном, – добавил де Винь. – Мы едем охотиться.

Суровый рот Маршана растянулся в усмешке, но от этого его лицо отнюдь не стало дружелюбнее.

– Вот как, охотиться? Ну что ж, мои крошки, судя по всему, будет вам и охота, будут и всякие другие развлечения. Гийоме тоже говорит, что едет охотиться.

– Гийоме? Да он не отличит приклада от дула! Все знают, почему он едет, – его отец оплатил чуть ли не половину расходов экспедиции, чтобы услать сына на время из Брюсселя, пока не уляжется шум вокруг этой истории с мадам...

– Опять сплетни! – оборвал его Маршан. – Послушайте, ребятишки, неужели ваши безмозглые головы ничто больше не занимает? Оставьте такие разговоры для Гийоме и ему подобных.

Молодые люди дружно расхохотались, сверкнув крепкими белыми зубами.

– А вы, дед, оставьте проповеди для полковника и ему подобных.

– Полковник стоит полсотни таких, как вы, – проворчал Маршан и, бесцеремонно отодвинув их плечом, стал спускаться по узкому трапу. У него были манеры медведя, но ему почему-то все прощалось.

Вечером он подошёл к Рене, который стоял у борта и смотрел на искрящийся пенный след корабля.

– Ничего, всё обойдётся, – без всякого вступления сказал Маршан, попыхивая трубкой. Рене обернулся. – Да, да, мой мальчик, вы понимаете, о чём я говорю, хоть и предпочитаете помалкивать, – продолжал Маршан, кивая головой. – Но когда вы

поболтаетесь по свету с моё, вы узнаете, что большинство людей гораздо лучше, чем они кажутся, пока не доберётесь до места. Сейчас вы видите их в самом невыгодном свете. Приятели, а особенно сестры приятелей, убедили этих молодцов, что они герои, и теперь они, естественно, не могут подыскать себе достойного занятия; остаётся лишь слоняться без дела, сплетничать и выставлять себя круглыми идиотами. Стоит нам попасть в первую переделку, как всё станет на своё место.

Он бросил на Рене быстрый испытующий взгляд.

– А в переделках мы побываем, можете не сомневаться.

– В тех краях, кажется, довольно опасно?

– Да, индейцы племени хиваро – трудная публика. Но полковник знает своё дело; я с ним еду не в первый раз. И мальчики наши тоже ничего. Если б только нам не навязали этого Гийоме... Но, в общем, они ребята неплохие и в тяжёлую минуту друг за друга постоят, хоть и несут сейчас всякую чепуху. Сейчас вам довольно противно всё это – и не удивительно, но через месяц-другой они образумятся, займутся своим делом и не будут мешать вам заниматься своим. А как испанский язык?

Этот неожиданный вопрос отвлек Рене от размышлений о том, откуда Маршану известно, что ему «довольно противно все это»?

– Так себе, – ответил он. – Языки мне всегда давались с трудом, но со временем я его, конечно, одолею. А как же будет с туземными наречиями, доктор? Кто-нибудь из нас их знает?

– К сожалению, нет. Мы будем целиком зависеть от переводчиков – разных прохвостов-метисов. Это очень скверно. Проводников и носильщиков мы наймём в Кито, значит, для того, чтобы с ними объясняться, нужно будет найти человека, знающего кечуа. Во внутренних областях нам потребуется переводчик языка тупи-гуарани, который к тому же должен будет хоть немного знать язык хиваро. Самое скверное в переводчиках то, что, как только что-нибудь случится, они немедленно дают тягу. И почему люди, знающие языки, по большей части такая шваль? В Атласских горах нам труднее всего было с переводчиками.

– Вы там, кажется, были вместе с полковником Дюпре?

– Да. Эта экспедиция – моя третья. Теперь уж я, наверно, до конца своих дней буду путешествовать. В первый раз мы ездили в Абиссинию.

– Вместе?

– Да. Дюпре и втянул меня в это дело. Мы с ним старые друзья, ещё в школе вместе учились. Лет тридцать тому назад мы были такими же, как наши щеночки, – так же неразлучны и так же довольны собой и миром. Ну, спокойной ночи, я пошёл спать.

Грузно и лениво ступая, Маршан двинулся прочь. Проходя мимо офицеров, которые, как обычно, болтали и смеялись, он небрежно хлопнул по плечу Бертильона. Тот чуть не свалился с кресла.

– Веселитесь, ребятки?

– А, дед! – откликнулся де Винь. – Сыграем в экарте? Но Маршан уже ушёл, Рене, все ещё смотревший на пену, бурлящую за бортом, услышал голос Бертильона:

– Оставь его в покое, он сегодня не в духе. Видел, как он за обедом отодвинул от

себя вино? Да и мне тоже надо идти – никак не соберусь снять копию со списка снаряжения.

Подробности личной жизни доктора Маршана настигали Рене повсюду. Он слышал о них ещё в Париже, но его никогда не интересовали пикантные скандалы, а когда он узнал, что доктор едет с ними в экспедицию, он вообще стал избегать разговоров на эту тему. И всё же как-то ночью ему пришлось выслушать отдельные эпизоды этой истории, которую Гийоме, лёжа на верхней койке, излагал для просвещения Штегера под аккомпанемент негодующих протестов Бертильона, заявлявшего, что смеяться над такими вещами «просто свинство». Лортиг перебивал Гийоме поправками, и они то и дело принимались спорить, потому что ни один из них не знал всех обстоятельств дела, а если бы и знал, то всё равно ничего бы не понял.

Несколько лет тому назад Маршан был знаменитым парижским психиатром. Его отец, амьенский лавочник, оставил сыну порядочное состояние, нажитое упорством, трудолюбием и экономией. Способность Маршана-старшего к мелким техническим усовершенствованиям развилась у его сына в подлинно научное мышление. Практика приносила ему солидные гонорары и растущую славу, и Маршан, который гордился своей работой и в жилах которого текла кровь мелкого пикардийского буржуа, ценил и то и другое. Но постепенно он стал уделять все больше внимания самостоятельным научным исследованиям. Этого неутомимого труженика, целиком поглощённого своими изысканиями, долгое время считали типичным примером преуспевающего учёного-живодёра, интересующегося только деньгами и своими зверскими опытами. Всему Парижу было известно его полнейшее безразличие к переживаниям подопытных кроликов и морских свинок, но мало кто знал, что, когда ему понадобилось провести некоторые опыты на человеке, он, нимало не колеблясь, поставил их на себе самом.

Как ни странно, самый мучительный из этих опытов был проведён Маршаном ещё в студенческие годы и не имел никакого отношения к его собственному труду. Он тогда был ассистентом в лаборатории знаменитого хирурга, профессора Ланприера. Когда профессор приказал прекратить опыт, который, по его мнению, обходился Маршану слишком дорого, его мужиковатый, неотёсанный ассистент хмуро нахлобучил на голову шляпу и ушёл из лаборатории, бормоча под нос нелестные замечания по адресу «сентиментальных идиотов». Придя домой, он заперся у себя в комнате и «занялся делом».

Когда полученные таким способом результаты опытов были готовы для опубликования, Маршан жирной линией зачеркнул своё имя на титульном листе профессорского труда – не из скромности и не потому, что не знал, какое влияние на судьбу честолюбивого молодого учёного имело бы появление его имени рядом с именем профессора Ланприера. Он руководствовался соображениями строгой логики: «Не собираетесь же вы, профессор, украсить титульный лист своего труда кличками всех подопытных морских свинок». Маршана не трогала та почти родительская нежность, которой профессор и его жена прониклись к нему, считая по простоте душевной его поведение героическим и благородным самопожертвованием. Он неплохо относился к старикам, но не терпел чувствительности в вопросах науки. Опыт интересовал его сам по себе.

Когда ему перевалило за сорок, он, к немалому своему удивлению, без памяти влюбился в сироту, воспитанную в монастыре, вдвое его моложе. Выйдя замуж за

Маршана, она, обладая замечательным светским тактом, быстро превратила свою гостиную в один из самых модных салонов Парижа. Маршан, вначале лишь пренебрежительно терпевший толпу постоянно менявшихся молодых людей, которые заполняли салон его жены, проникся к ней уважением, когда она объяснила ему, что её цель – дать молодым врачам возможность встречаться с лучшими умами медицинского мира и тем самым расширять свой кругозор. По его мнению, взятая на себя Селестиной просветительская миссия не могла принести ей ничего, кроме разочарования; но он сам слишком серьёзно относился к своей научной работе, чтобы высмеять опыт – пусть даже нелепый и ребяческий, – в который было вложено столько юной горячности. «Она имеет право делать свои собственные ошибки и учиться на них. Со временем она раскусит своих дрессированных пуделей, а пока, если Ферран или кто-нибудь другой из этой своры попробует вести себя нахально, за неё есть кому заступиться».

Однако Селестина ни разу не прибегала к его заступничеству и не казалась разочарованной. Её непроницаемая сдержанность, которая с самого начала остановила внимание Маршана, осталась прежней, несмотря на суету парижской жизни, замужество и материнство. Даже смерть ребёнка не смогла вырвать у неё ни единого внешнего проявления чувства, и Маршан, вначале лишь любивший её как женщину, стал уважать её как человека. Он тоже ничем не выказал своего горя и знал, какого усилия воли ему это стоило. Прикосновение к крошечным пальчикам, в которые он, перед тем как закрыли крышку гроба, украдкой вложил маргаритку, потрясло его до такой степени, что он на какое-то мгновение потерял самообладание. Так он впервые столкнулся с неизвестным ему настоящим Раулем Маршаном, способным глубоко страдать; до сих пор эта сторона его природы подавлялась любознательностью учёного и честолюбием модного врача.

Вскоре после смерти ребёнка Селестина попросила его относиться к ней как к сестре, потому что она больше не хочет иметь детей. Он выслушал этот приговор не протестуя, – Маршан умел, не жалуясь, переносить боль. Но он любил Селестину, а так как работа не оставляла ему времени на женщин, он сохранил в зрелости бурную пылкость юноши. Кроме того, он мучительно хотел сына. В первое мгновение он словно онемел, оглушённый неожиданным ударом.

– Я уверена, что ты поймёшь, – тихо проговорила Селестина.

Маршан ласково, словно отец, погладил её по плечу.

– Конечно, родная, я понимаю.

Он заперся у себя в кабинете, чтобы в одиночестве справиться со своим горем. Затем, отбросив мысли о собственной боли, он стал думать о том, как помочь Селестине. Смерть ребёнка, по-видимому, потрясла её даже сильнее, чем он предполагал. Ночью ему в сердце закралась робкая надежда: он любил свою работу, своё открытие, как ребёнка, – может быть, и Селестина найдёт в ней утешение, как нашёл он? Но когда он стал рассказывать ей о своих опытах, он остановился на полуслове, охваченный леденящим ужасом, – это же страшное чувство, только в более слабой степени, он испытал, впервые заключив её в объятия. Не успел он прийти в себя, как она уже спокойно заговорила о каких-то пустяках. Маршан взял себя в руки.

«Это никуда не годится, – подумал он. – Мне нужно больше бывать на воздухе. У психиатра должны быть крепкие нервы. И вообще я самовлюблённый дурак. С какой

стать ей этим интересоваться? Зачем бедняжке моё дитя – она тоскует о своём».

– Рауль, – сказала ему Селестина на следующей неделе, – ты как-то начал мне рассказывать о своей работе. Я тебе ничем не могу помочь? Может быть, переписывать что-нибудь или разбирать твои заметки?

Он не отвечал, и она добавила вполголоса:

– Может быть, мне станет легче.

Маршан наклонился и поцеловал ей руку. В глазах у него стояли слёзы. Он заподозрил её в безразличии, а она, оказывается, оберегала его от самой себя и отказывалась взять его жемчужину, пока не убедилась, что достойна её носить.

В течение трех месяцев она исполняла обязанности его личного секретаря, на четвёртом её интерес стал ослабевать. А вскоре лощёный молодой врач, «эта скотина Ферран, который шантажирует женщин», как отзывались о нём коллеги, выпустил нашумевшую книгу, в которой излагалась в искромсанном виде теория, над которой Маршан терпеливо работал много лет. Ферран не потрудился даже изменить многие украденные записи его наблюдений, и, хотя сплошь и рядом плагиатор просто не понял их смысла, книга принесла ему славу, которая в соединении с его умением внушить доверие пациентам, обеспечила ему солидную, доходную практику.

Увидев, что любовник, неумело использовав полученные от неё материалы, выдал её с головой, Селестина сначала испугалась, как бы муж не поднял истории или не отказался от ребёнка, который, кстати, был действительно его и, слава богу, уже умер. До сих пор муж, позволявший так легко себя обманывать, вызывал у Селестины лишь безграничное презрение, и она не давала себе труда задуматься о нём; когда же он вошёл к ней в комнату, держа в руке открытую книгу Феррана, она удивилась тому, что раньше не замечала, как сильна эта рука. Застыв от ужаса, она ожидала, что он бросится её душить: осквернение домашнего очага, пожалуй, способно привести в ярость даже такого тупого мужлана. Осквернение его заветного труда было для неё таким пустяком, что она об этом даже не вспомнила.

Но Маршан не стал ни шуметь, ни задавать вопросы. Спокойным тоном он заявил, что, по его мнению, им лучше расстаться. Она будет получать половину его довольно значительного дохода, он предоставляет ей полную свободу жить где, как и с кем угодно. Он готов подтвердить любое объяснение их разрыва, которое она сочтёт нужным распространить. Изложив ей свои условия, он ушёл в кабинет и, пока она укладывала вещи, принялся жечь свои записи. Он не оставил ничего – не все его бумаги были украдены, но всех, наверно, касались нечистые руки. Вместе с бумагами в огонь полетели крошечные бело-розовые вязаные башмачки, которые лежали под замком в одном из ящиков. Ребёнок тоже принадлежал Селестине, – кто был его отцом, не имело значения. Через три дня Маршана подобрали напротив Пале-Рояля мертвецки пьяным.

Таким образом, Селестине вообще не понадобилось объяснять причину их разрыва. Все поняли, сколько она должна была выстрадать от мужа-пьяницы, прежде чем, доведённая до отчаяния, покинула его дом. Теперь стала понятна её сдержанность, столь удивительная в молодой женщине. Все были возмущены бессердечием старого профессора Ланприера и его жены, которые перестали с ней раскланиваться, даже не сочтя нужным объяснить своё поведение. Да они и не могли бы его объяснить –

Маршан не допускал к себе даже самых близких друзей, и вся история оставалась для них загадкой. Однако профессор частично её разгадал. Он был твёрдо уверен, что хронический алкоголик никогда не смог бы работать так, как Маршан, и почти столь же твёрдо уверен, что Ферран сам никогда бы не написал такой книги. Жена его руководствовалась одной лишь интуицией: Маршан всегда внушал ей доверие, а в присутствии Селестины ей каждый раз становилось не по себе.

Но среди всех многочисленных знакомых Маршанов эти двое были единственным исключением. Все остальные наперебой выражали Селестине сочувствие, которое она принимала молча, страдальчески опустив свои ясные глаза. Только однажды она позволила себе сказать, что, хотя все к ней так добры, ей больно слушать дурные отзывы о человеке, который «всё-таки был отцом её умершего ребёнка». А Маршан пил – пил так, словно хотел допиться до белой горячки; временами приближаться к нему было столь же опасно, как входить в клетку к дикому зверю. Профессор Ланприер, не испугавшись ни потоков площадной брани, ни запущенной ему в голову бутылки, сделал несколько мужественных попыток спасти своего друга, но в конце концов, отчаявшись, вынужден был отступить.

Приехав в Париж два месяца спустя, полковник Дюпре узнал о скандале, о котором ещё не успели забыть в городе. Он немедленно отправился к Маршану и, успокоив напуганных до полусмерти слуг своей военной выправкой и орденом Почётного легиона, силой ворвался к потерявшему человеческий облик доктору.

Представившаяся его взору картина не слишком ужаснула Дюпре, как случилось бы, если б на его месте оказался человек с более живым воображением. Ему и раньше случалось видеть людей, допившихся до буйного помешательства. Оценив опытным взглядом обстановку, он понял, что справиться с таким сильным, ослеплённым дикой яростью, человеком невозможно. Он хладнокровно приказал принести бутылку коньяку и дождался за дверью, пока неистовое бешенство не сменилось у Маршана полным оцепенением. Затем полковник занял позицию в кабинете. Шли часы, и он, выпрямившись, терпеливо сидел на стуле рядом с кроватью, с которой доносился густой храп.

Маршан проснулся поздно вечером. Он представлял собой отвратительное зрелище, но уже достаточно пришёл в себя, чтобы узнать гостя.

– Рауль, – сказал полковник официальным голосом. – Шестнадцатого числа будущего месяца я отправляюсь с экспедицией в Абиссинию, ты едешь со мной. Начинай собираться.

Маршан, не поднимаясь с постели, медленно заложил руки за голову и окинул увешанный орденами мундир полковника мутным взглядом.

– Ты всегда был ослом, – устало проговорил он, – но даже и ты мог бы увидеть, что человеку пришёл конец.

– Я вижу одно: этот человек – мой друг, – ответил Дюпре.

Несмотря на отчаянную головную боль и невероятную слабость, Маршан пришёл в бешенство. Какого чёрта этот тупоголовый павлин называет себя его другом?

– Ах, так я тебе не друг? – рявкнул полковник, забыв о своём олимпийском спокойствии. – Вспомни, какую трёпку задавал я тебе, бывало, сорок лет назад.

Перед затуманенным винными парами взором возникла картина: серое туманное утро, мимо ступеней огромного собора трусит малыш в курточке, с новым ранцем за плечами, стараясь не отстать от мальчика постарше, который порой награждает его тумаками, но зато не разрешает этого другим. Полковник, снова став воплощением воинского достоинства, ждал, храня невозмутимое молчание.

– Хорошо, Арман, – донёлся наконец шёпот с кровати. Из Абиссинии Маршан вернулся, как будто избавившись от своего недуга, и напечатал ряд интересных этнологических статей, но вскоре, неизвестно почему, запил снова. И Дюпре опять увёз его за границу. Вернувшись из второго путешествия, Маршан больше не пил, но запятнанная репутация не позволила ему вернуться к частной практике, и он стал работать в больнице. Тем временем его жена с христианским смирением носила элегантный полутраур, который был ей очень к лицу и соответствовал её положению соломенной вдовы. Она была так увлечена Ферраном, что прогнала всех остальных поклонников и использовала свои светские связи, чтобы сделать ему карьеру.

– Доктор Ферран, как брат, поддержал меня в трудные дни, – говорила она состоятельным больным. – У него такая огромная практика и столько научной работы, и всё-таки он находит время утешать одинокую женщину. Только в беде узнаешь, сколько доброты существует в мире.

Когда его положение упрочилось, Ферран бросил Селестину и женился на богатой наследнице. Селестина отомстила ему, выступив в суде свидетельницей по какому-то пустяковому делу и рассказав всю правду о Ферране. Если бы убийство не казалось ей чем-то отвратительным и, кроме того, признаком дурного тона, она, пожалуй, отравила бы своего неверного любовника; но, испытывая брезгливость к физическому насилию, она решила разрушить карьеру, созданную собственными руками, и обречь Феррана на бесчестие и нищету до конца его дней.

На следующее утро Маршан, который жил один и редко читал газеты, с удивлением заметил, что в больнице все от врачей до швейцара смотрят на него с робким соболезнованием. Наконец один из ассистентов подошёл к нему и проговорил, запинаясь, несколько сочувственных слов. Отложив стетоскоп, Маршан окинул коллег быстрым пронизывающим взглядом.

– Что-нибудь, касающееся меня, в утренних газетах? А ну-ка покажите.

Врачи испуганно переглянулись.

– Газету! – рявкнул Маршан.

Ему поспешно подали '«Пресс»'. При гробовом молчании окружающих он прочёл отчёт о процессе. Кончив, он перечитал его ещё раз. Внезапно он швырнул газету перепуганному ассистенту.

– Ну, если у вас есть время на газетные сплетни, то у меня его нет. Кто ставил этот компресс?

Во время обхода он довёл до слёз многих сестёр и больных, но никогда ещё не ставил диагнозы с таким блеском. Никто больше не осмелился выразить ему сочувствие, но когда он уходил, профессор Ланприер вышел вслед за ним во двор и молча положил ему руку на плечо; С бешеным проклятием стряхнув его руку, Маршан оттолкнул старика и устремился в ворота, опустив голову, как разъярённый бык. Около своего подъезда он столкнулся с посыльным – его вызывали в морг для

опознания тела жены. Селестина завершила свою месть, бросившись в реку.

– Хорошо, – небрежно сказал он. – Скажите, что я сейчас пряду.

Он добрался до морга только поздно вечером, совершенно пьяный, incapable кого-либо опознавать.

После этого он беспробудно пил в течение полутора месяцев, а узнав, что Дюпре отправляется с экспедицией на Амазонку, предложил свои услуги в качестве врача и этнолога.

Гийоме излагал свою версию этой истории как забавный анекдот. Ему Маршан представлялся в высшей степени комической фигурой. Выслушав против воли это повествование, отбросив некоторые красочные подробности, как плод своеобразной фантазии рассказчика, и припомнив слышанное в Париже, Рене решил, что одно во всяком случае ясно: если полковник Дюпре сумел найти выход из подобного положения, он, по-видимому, не так глуп, как кажется.

Он был несправедлив к своему командиру – тот даже и не казался глупцом. Дюпре прожил полную опасностей жизнь, привык отвечать за судьбы других людей, даже нарочито высокомерная складка рта не могла испортить серьёзного и прямого выражения его лица. Осанка его была бы благородной, если б только он поменьше заботился о её благородстве; когда ему удавалось забыть про Амьен и бакалейную лавочку отца, он становился самим собой – человеком, который сделал в жизни много хорошего и не раз карал зло.

Рене с первой встречи почувствовал к полковнику неприязнь: ему не понравилась манера Дюпре говорить со слугами и его разочарование, когда он узнал, что маркиз не приехал в Марсель проводить Рене. Дюпре так искренне, по-детски, благоговел перед аристократией, что ему можно было бы простить эту невинную слабость. Но когда полковник, изысканно – любезно разговаривавший с Анри, тут же вычел у носильщика полфранка за то, что тот уронил чемодан, Рене передёрнуло.

– Господин де Мартерель. – сказал полковник однажды после завтрака, – не будете ли вы любезны зайти ко мне в каюту. Я хочу поговорить с вами относительно ваших обязанностей.

– К вашим услугам, полковник, – ответил Рене, вставая со стула. – Сейчас?

По дороге в каюту он добавил:

– Кстати, господин полковник, я предпочёл бы, чтобы вы называли меня Мартелем. У нас в семье, правда, придерживаются родового имени, но я провёл детство в Англии и привык к этому сокращению. В школе меня звали Мартель.

Светлые, стального цвета глаза полковника обратились к Рене с выражением холодного неодобрения.

– Надеюсь, вы отказались от своей исторической фамилии не под влиянием каких-либо... новейших вредных идей?

– О нет, идеи здесь ни при чём, – ответил Рене. – Просто я так привык.

Хотя Рене был очень раздражён, он не думал, что его слова будут восприняты как отповедь, и почувствовал себя крайне неловко, когда полковник как-то сразу сник.

Затем они заговорили о работе, и Рене вскоре обнаружил, что на его плечи

собираются незаметно переложить обязанности, которые он никогда на себя не брал.

– Доктор Маршан говорил, что вы изучаете испанский язык, – сказал полковник. – Это хорошо, он вам очень пригодится. Но вы быстро усвоите язык на месте, а пока, мне кажется, вы провели бы время с большей пользой, выполняя обязанности моего секретаря. Дел скопилось много, для вас это было бы превосходной практикой.

Рене ответил не сразу. Это не предусматривалось договором. Однако какой смысл с самого начала ссориться со своим начальником?

– У меня было впечатление, – сказал он наконец, – что господин Гийоме...

– Такая договорённость действительно была, но я пришёл к выводу, что его таланты, по-видимому, лежат в другой области. Разумеется, секретарская работа, строго говоря, не входит в круг ваших обязанностей, но для меня было бы большим облегчением, если бы вы взяли её на себя.

– Как вам угодно, полковник, – довольно сдержанно ответил Рене.

Он ничего не имел против лишней работы – чем больше, тем лучше... но почему полковнику не сказать ему прямо: «Я попал в затруднительное положение, помогите мне, пожалуйста».

Выйдя из каюты, Рене увидел спускавшихся по трапу Гийоме и Маршана. Завидев Рене, бельгиец злобно прищурил свои бесцветные глазки:

– А, господин де... Мартерель! Говорят, вы собираетесь стать секретарём полковника? Ну что ж, желаю успеха.

– Благодарю вас, господин Гийоме, – отвечал Рене, глядя ему прямо в глаза. – И, к вашему сведению, меня зовут Мартель.

Отступив в сторону, чтобы дать дорогу Маршану, он услышал, как Гийоме прошипел у него за спиной:

– Милорд сегодня не в духе.

– Так ты, дурак, и не приставай к нему, – проворчал в ответ Маршан.

Обернувшись, Рене встретился глазами с Маршаном, который дружелюбно ему улыбнулся и пожал плечами. Рене улыбнулся и кивнул в ответ, а выбежав на палубу, встряхнулся, как большой мокрый пёс.

– Брр... что за мина! А голос!.. Вспомнив слова Лортига: «Не человек, а прямо червяк», – Рене рассмеялся и окончательно повеселел.

#### ГЛАВА IV

– Что ещё случилось, дед? – спросил Бертильон, распаковывавший тюк. – Неужели опять мул свалился в пропасть?

Разговор происходил в полуразвалившейся хижине на перевале. Потoki ледяного дождя хлестали по крыше и нависшим вокруг скалам. Дувший с ледников ветер проникал в каждую щель, и людям, которые ещё недавно брели по жарким, удушливым болотам близ Гуаякиля, казалось, что он острее ножа.

В ответ на вопрос Бертильона Маршан только презрительно хмыкнул.

– Мул? – воскликнул Лортиг. – Будь моя воля, в пропасть полетел бы кое-кто

другой. Вы только подумайте, мальчики, этот трусливый прохвост взял и сбежал!

Де Винь широко раскрыл глаза.

– Сбежал! Кто? Червяк?

Эта кличка пристала к Гийоме; за глаза его теперь только так и называли.

– Чёрта с два, – проворчал Маршан. Стоя спиной к остальным, он грел руки, согнувшись над дымящим очагом.

– Да нет, – досадливо бросил Лортиг. – Переводчик. Удрал ночью – скорее всего, отправился догонять погонщиков мулов, которые повстречались нам вчера.

– Но почему это он удрал?

– По-видимому, его напугали рассказами о хиваро. Во всяком случае, его нет.

– Что же мы теперь будем делать, доктор? Маршан пожал плечами.

– Вернёмся в Кито и наймём другого.

– В Кито!

Офицеры вскочили на ноги.

– Опять спускаться по этому собачьему ущелью? Чёрт знает что! Это уж слишком!

– Ничего особенного, – хладнокровно заметил Маршан. – Переводчики всегда удирают, если им предоставляется случай, – такая уж это порода. Новому надо будет внушить, что мы свернём ему шею, если он попытается выкидывать какие-нибудь штуки.

– Но опять спускаться!

– Вернуться нужно будет, конечно, только одному или двоим. Остальные с мулами и багажом будут дожидаться здесь. Лортиг окинул взглядом хижину и сделал гримасу.

– Нечего сказать, приятная неделька ждёт нас в этой гостинице.

Сначала полковник хотел послать в Кито только Маршана с двумя индейцами, а самому с отрядом ждать их возвращения, разбив лагерь в каком-нибудь укрытом от ветра месте, гели только поблизости удастся найти что-нибудь подходящее. Но тут обнаружилось, что часть продовольствия, закупленного в Кито, никуда не годится. Тогда полковник решил, пока Маршан ещё не отправился в путь, тщательно осмотреть все запасы, чтобы тот мог потребовать замены недоброкачественных товаров, попавших к ним по ошибке или подсунутых мошенниками-торговцами. Результаты осмотра привели Дюпре в такой ужас, что он решил сам вернуться в Кито. Вдобавок ко всему оказалось, что одна лошадь и несколько мулов больны.

– Господа Мартель, Лортиг и Штегер, – сказал Дюпре, входя вечером в хижину. – Прошу вас приготовиться – завтра рано утром вы отправитесь со мной в Кито. Остальные будут ждать нас здесь. Замещать меня будет доктор Маршан.

Маршан взял его под руку и вывел за дверь, под приливной дождь.

– Ну что ж, по крайней мере, один человек у тебя будет работать без понуканий. Знаешь что, раз уж ты едешь, возьми с собой и Гийоме.

– Гийоме! Ты шутишь? Чего нам стоило втащить его сюда!

– А ты подумал, чего нам будет стоить тащить его с собой дальше? Надо что-то придумать; не можем же мы столкнуть его в пропасть, а если мы оставим его где-нибудь по дороге против его воли, папаша устроит скандал. Остаётся одно – нагнать на него такого страху, чтобы он сам сбежал. Надо его немного потаскать по горам и показать ему, что его ждёт, – быть может, он решит, что европейский климат ему полезнее.

– Я полагал, что ты достаточно хорошо меня знаешь, Рауль, – сурово сказал полковник. – Как ты мог предположить, что я соглашусь на подобный план?

Маршан ухмыльнулся, нимало не смутившись.

– Ну разумеется, Арман. Когда же ты соглашался с моими гнусными замыслами? Пускай остаётся со мной; если он в твоё отсутствие свалится в водопад, ты будешь ни при чём. А моя репутация все равно погибла.

Полковник ничего не ответил, но, вернувшись в хижину, приказал Гийоме собираться. Ко всеобщему удивлению, Червяк не возражал. Экспедиция ушла в горы, не дождавшись запоздавшего почтового парохода. Теперь европейская почта уже наверняка прибыла, и Гийоме надеялся получить благоприятный ответ на посланное из Вальпарайсо письмо, в котором он умолял отца разрешить ему вернуться в Брюссель.

После двух дней изнурительной переправы через скользкие скалы и вздувшиеся потоки маленький отряд полковника наконец добрался до Кумбайи, расположенной в верхней части долины Кито. Они остановились в доме знакомого чиновника, откуда до Кито было легко добраться верхом.

Рене в изнеможении повалился на постель. Он был покрыт синяками, все тело у него болело, но тем не менее он был признателен сбежавшему переводчику, благодаря которому он всё-таки получит драгоценные письма из дома.

Нанять нового переводчика оказалось не так-то просто. Слова «река Пастаса» отпугивали всякого. Незадолго до этого одно из диких племён хиваро, выведенное из терпения непрошеным вмешательством в их дела белых и мошенничеством «цивилизованных» индейцев племени канелос, совершило налёт на миссию, расположенную в нижнем течении реки Напо. Немногий оставшиеся в живых после учинённой индейцами резни перебрались через Анды и теперь рассказывали всякие ужасы.

Перепуганным жителям всюду чудились поклоняющиеся дьяволу людоеды, размалёванные боевой краской; на голове у них торчали перья, в верхней губе – кабаний клык, а у пояса болтались почерневшие головы христиан.

Обещание уплатить вперёд вызвало только новые трудности. Теперь от желающих не было отбою, но все они явно рассчитывали, получив деньги, улизнуть при первой же возможности; да если бы они и остались, вряд ли от них был бы прок. Полковник целыми днями занимался переговорами с надувшими их торговцами и лошадиными барышниками, и просеивание подонков города Кито, как и предвидел Маршан, выпало на долю Рене. Тем временем Лортиг, Штегер и Гийоме развлекались каждый на свой лад: один верхом на лошади с ружьём за плечами, другой в гамаке, с трубкой в зубах, третий в обществе хорошенькой мулатки.

Запоздавшая почта прибыла на четвёртый день. Гийоме, получивший от отца

категорическое запрещение возвращаться. пока не восстановит своё доброе имя, впал в состояние тоскливой апатии. Рене пришли трогательные письма с пожеланием доброго пути от Анжелики. Анри и английских родственников, несколько сдержанных строк от маркиза, сообщавшего, что Маргарита уже начала предварительный курс лечения, и пестрящие ошибками каракули Жака, передававшего поклоны от всех слуг и кое-кого из крестьян. Сама же Маргарита прислала целый дневник, написанный в бодром тоне: тут были и последние домашние новости, и отрывки, из прочитанных ею книг, и рассуждения о греческой поэзии и французской прозе XVIII века. Из тетради выпал сложенный вдвое листок в котором лежали несколько засушенных лепестков душистого майорана.

Кладя лепестки обратно, Рене увидел нацарапанные на внутренней стороне листка слова:

– Рене, Рене береги себя! Подумай, что будет со мной, если ты ко мне не вернёшься... что будет со мной?

Он всё ещё держал письмо в руках, когда в дверь просунулась нахальная физиономия его слуги – метиса Хосе.

– Ещё переводчики, господин.

Усилием воли Рене вернул себя к действительности, и начался новый трудовой день. В это утро Хосе впускал к нему ещё более невообразимый сброд, чем вчера, – грязных оборванцев, не знающих ни одного языка наглых пьяниц. В течение трех часов Рене терпеливо с ними занимался; он чувствовал сильнейшее раздражение, что случалось с ним крайне редко, и поэтому больше обычного старался держать себя а руках и не впадать в резкий тон. Затем его позвали к полковнику. Оказалось, что их хозяин предложил воспользоваться погожим днём и съездить поохотиться. Лортиг был в восторге, но полковник колебался, говоря, что надо быстрее кончать со всеми делами и отправляться в обратный путь.

В результате Рене, как и следовало ожидать, вызвался остаться для переговоров с переводчиками и торговцами. Он уже начал привыкать к тому, что Лортиг и Штегер сваливали на него свою работу, и, не желая вступать в пререкания с людьми, которые были ему неприятны, позволял себя эксплуатировать.

– Вы просто неумомимы, господин Мартель, – сказал полковник. – Я буду совершенно спокоен, оставляя все на ваше попечение.

Брови Рене едва заметно поднялись, и он на мгновение стал похож на отца. Когда охотники уехали, он вернулся к себе и, ощупывая в кармане письмо Маргариты, попытался сосредоточить внимание на достоинствах очередного кандидата, которого Хосе превозносил до небес.

– Наконец-то тот человек, который нам нужен, господин. Я хорошо его знаю, он из нашей деревни. Говорит на трех... четырех... шести языках, а уж честный-то!

– Сколько он тебе заплатил? – улыбаясь, перебил его Рене.

– Мне? Ничего! Уверю вас, господин...

– Ладно, давай его сюда.

Расхваленный полиглот оказался звероподобным метисом без малейших лингвистических познаний, и Рене скоро его выпроводил. Когда земляк Хосе выходил

из двери с видом побитой собачонки, к дому подскакал Лортиг, вернувшийся, чтобы заменить сломавшееся ружьё. Увидев метиса, он схватил его за плечо и закричал:

– Эй, сюда! Держите его!

– В чём дело? – спросил вышедший на шум Рене.

– Где вы нашли его, Мартель? Это тот самый молодец, который вчера вечером стащил у меня портсигар. Ну-ка, голубчик, выворачивай карманы!

Когда из грязных карманов метиса было извлечено несколько ложек и других мелких предметов, Лортиг дал ему хорошего пинка и отпустил на все четыре стороны. Рене передёрнуло. Хотя он знал, что этой публике пинки нипочём, и вполне сознавал всю нелепость излишней чувствительности, подобные сцены всегда вызывали у него отвращение. Он огорчённо повернулся к ухмылявшемуся слуге.

– Ну что же, Хосе, у вас в деревне все такие?

– У нас в деревне, господин? Сроду его не видел! У нас в деревне народ честный.

– С хорошей же публикой вам приходится иметь дело, Мартель, – сказал Лортиг, выходя из дома с ружьём. – Слава богу, что мне не надо этим заниматься. Да и этот Хосе тоже сомнительная находка.

– Он не хуже других – они здесь все такие, – ответил Рене. Проводив глазами Лортига, он вернулся в дом и сел за стол.

«Пока хватит, до обеда никого больше не буду принимать, – подумал он, Надо хоть часок отдохнуть от этого». Он повернулся, чтобы позвать Хосе.

– Пошёл вон отсюда! – раздался за дверью сердитый голос слуги. – Нечего тут околачиваться! Знаем мы вас – сейчас что-нибудь стащишь!

Хосе явно срывал на ком-то зло за провал своего кандидата. Тихий дрожащий голос быстро произнёс что-то в ответ, Рене уловил только слово «переводчик».

– Ещё чего! – возмущённо закричал Хосе. – Посмотрел бы ты, как он только что вытолкал внаше приличного, хорошо одетого человека. Станет он с таким оборванцем разговаривать, как же!

Рене поднял занавес и выглянул наружу.

– В чём дело, Хосе? Ещё один?

– Пугало, господин, настоящее пугало! Я знаю, что вы с таким не захотите разговаривать.

– Не твоё дело рассуждать. Где он?

– Я его прогнал, господин. Я думал...

– Ну так в другой раз не думай, а делай, как тебе говорят. Немедленно верни его.

Вспомнив, что совсем недавно отругал Хосе за то, что тот не желал думать, Рене опустил занавеску и сел.

«Боже мой, – подумал он. – Я становлюсь похожим на беднягу Дюпре. Так разговаривать со слугой, который не смеет ответить мне тем же!..»

Занавеска бесшумно поднялась и опустилась. Обернувшись и увидев стоящего в дверях человека, Рене от неожиданности чуть не привскочил. Это действительно было

пугало.

Хосе, пожалуй, можно было простить – во всём Эквадоре, наверно, не нашлось бы более жалкого человеческого отребья. Бедняга дошёл до того состояния, когда само несчастье внушает скорее гадливость, чем сочувствие. Рене посмотрел на грязное тряпье, на босые израненные ноги, затем перевёл взгляд на изуродованную левую руку, на обнажённое плечо, такое исхудалое, что сквозь кожу отчётливо проступали кости, на горевшие голодным, волчьим блеском глаза под спутанными космами чёрных волос. Метис, конечно; однако этот бронзовый оттенок кожи скорее походил на загар, чем на естественный цвет. Но как мог европеец оказаться в таком отчаянном положении?

«Что довело его до этого?» – подумал Рене и с пробудившимся интересом всмотрелся в лицо незнакомца. Оно выражало только одно – голод. Пожав плечами, Рене стал задавать обычные вопросы.

– Вы предлагаете свои услуги в качестве переводчика? До сих пор человек молчал. Он всё ещё стоял у двери, держась за занавес и учащённо дыша. Теперь он ответил шёпотом:

– Да.

– Какие языки вы знаете?

– Французский, испанский, английский, кечуа, гуарани и... некоторые другие.

Рене улыбнулся. Он уже привык выслушивать громкие заверения; при проверке обычно обнаруживалось, что дальше ломаного испанского и скверного кечуа дело не шло.

– Вы когда-нибудь раньше исполняли обязанности переводчика?

– Постоянно – нет, но мне нередко приходилось переводить. У меня получалось неплохо.

Испанским он несомненно владел лучше большинства метисов, и его голос звучал необыкновенно мягко. Незнакомец говорил тихо и неуверенно, без присущей метисам крикливой интонации. Рене не стал проверять, как он знает французский, и разговор продолжался на испанском языке.

– Какие у вас рекомендации?

– Никаких.

– Как? Неужели никто не может за вас поручиться?

– Меня здесь никто не знает. Я не здешний. Я пришёл с юга.

– Но откуда вы пришли сейчас? Из Кито?

– Нет, из Ибарры.

– Как же вы сюда добрались?

– Через горы, по пешеходной тропе на Гуаллабамба. Я услышал, что вам нужен...

– Из Ибарры! С такими ногами! Но до Ибарры шестьдесят миль!

– Я... когда я пустился в путь, ноги у меня были здоровы, это я об камни. Река как раз разлилась... Рене окинул его недоверчивым взглядом.

– В такую погоду вы перешли горы? Один?

– Я боялся опоздать. Ноги заживут – это всё пустяки. Я обычно хромаю гораздо меньше, чем сейчас, сударь. Я не буду отставать.

С этими словами человек порывисто сделал несколько шагов вперёд, отойдя наконец от двери. Что бы он ни говорил, сейчас он хромал так сильно, что ему пришлось опереться рукой о стол. Рене уже заметил покрытую шрамами левую руку, на которой не хватало двух пальцев. Сейчас он взглянул на правую, здоровую, ожидая увидеть на ногтях голубоватые лупки, изобличающие метиса.

«Да он же белый!» – поразился Рене.

Загар на руке был почти кофейного цвета, однако, ногти неопровержимо доказывали, что в жилах этого человека нет ни капли туземной крови.

«И такая изящная рука, – с недоумением думал Рене.

Он чем-то не похож на настоящего бродягу. Может быть, его довело до этого пьянство? А если нет, есть смысл его испытать».

Рене ещё раз всмотрелся в незнакомца, и его поразило нечеловеческое напряжение в тёмных глазах, оно вызывало у него ощущение неловкости, раздражало своей неуместностью. Почему он так смотрит? Что с ним случилось? Нет, ничего не выйдет; разве можно связываться с человеком, у которого такое лицо? Того и гляди, перережет ночью кому-нибудь горло или уйдёт потихоньку в лес и повесится. Брр!

– К сожалению, – сказал Рене, – вряд ли вы нам подойдёте. Нам нужен... несколько иной человек.

Ни один из отвергнутых Рене «переводчиков» не ушёл без крика и споров, без попытки его разжалобить. Этот же шагнул вперёд, с глубоким отчаянием заглянул Рене в глаза и, не говоря ни слова, повернулся к выходу.

– Подождите! – воскликнул Рене. Худые плечи человека дрогнули, он остановился и, медленно повернувшись, застыл, опустив голову.

– Я не приму окончательного решения, не поговорив с начальником экспедиции, – продолжал Рене. – Особенно на это не рассчитывайте – я не думаю, чтобы вы нам подошли, но можете всё-таки подождать его.

Рене охватило нелепое и мучительное чувство стыда, как будто он сделал что-то отвратительное, как будто он подло ударил существо, неспособное защитить себя.

«Чёрт бы его побрал, – думал он. – Ну что я могу поделаться? Брать его просто глупо – он обязательно заболеет, и нам придётся с ним возиться. Он, наверно, и ворует. Да к тому же у него, кажется, чахотка».

Человек вдруг поднял глаза. Они были не чёрные, как сначала показалось Рене, а синие, цвета морской воды.

– Если... если вы не можете взять меня переводчиком, сударь, может быть у вас найдётся какая-нибудь другая работа? Я могу...

– Никакой другой работы нет. Мы все делаем сами, а тяжёлую работу выполняют индейцы.

Человек поднёс руку к горлу. Дыхание его опять участилось.

– Например... носильщиком?

– Носильщиком? – в крайнем изумлении выговорил Рене. Белый человек, явно больной, хромой, с израненными ногами и изуродованной рукой, просит, чтобы его наняли переносить тяжести наравне с туземцами!

– Мне... мне приходилось этим заниматься, сударь; я умею ладить с индейцами. И я г-гораздо сильнее, чем кажусь, з-значительно сильнее...

Он начал заикаться.

«Да он же попросту умирает с голоду, – с состраданием подумал Рене. – Бедняга, плохо же ему, верно, пришлось».

– Вот вернётся начальник, тогда посмотрим, – сказал он. – А сейчас... вы ведь, наверно, голодны? Слуги как раз собираются обедать. Я распоряджусь, чтобы вас тоже накормили. Они там, под большим...

Рене запнулся на полуслове, увидев даже через коричневый загар, как побелело лицо незнакомца.

– Спасибо, не беспокойтесь, я только что пообедал, – торопливо проговорил тот на чистейшем французском языке с едва заметным иностранным акцентом; так мог говорить только образованный человек, Рене вскочил на ноги.

– Но вы... вы же человек нашего круга!

– Какое вам до этого дело?

Когда впоследствии Рене вспоминал эту сцену, эти яростно брошенные ему в лицо слова, он не сомневался, что в то мгновение ему грозила опасность получить удар ножом или быть задушенным. Но тогда он ничего не понял и лишь беспомощно глядел на незнакомца.

Наконец тот нарушил молчание, сказав очень тихим, но ясным и твёрдым голосом:

– Простите, пожалуйста. Я пойду.

Рене схватил его за руку.

– Нет, нет! Пойдите! Разве вы не видите, что произошла ошибка! Знаете что – пообедайте со мной!

Не успел Рене произнести эти простые слова, как почувствовал, что они были восприняты как отмена смертной казни. Человек круто повернулся, изумлённо посмотрел на него, потом тихонько рассмеялся.

– Благодарю вас, я очень признателен; но я... – он замолк и взглянул на свои лохмотья, – только как же я в таком виде?..

У него вдруг задрожала нижняя губа, и он показался Рене совсем юным и беззащитным.

– Ну, это легко устроить, – сказал Рене, хватаясь за возможность прекратить этот невыносимый разговор. – Эй! Хосе!

В дверях появился Хосе, радостно оскалившийся в предвкушении скандала.

– Этот джентльмен хочет принять ванну, – с чувством огромного облегчения сказал ему Рене.

– Как? – Хосе разинул рот и с изумлением переводил взгляд с одного на другого.

– Немедленно приготовь в моей комнате тёплую ванну, – невозмутимо продолжал Рене, – принеси чистые полотенца и нагрей побольше воды. После этого подашь нам обед.

Он открыл дверь в свою комнату.

– Сюда, пожалуйста. Я сейчас достану мыло и... Да, вам ведь нужно будет во что-нибудь переодеться.

Встав на колени перед раскрытым чемоданом, он продолжал, не поднимая глаз:

– Боюсь, что мои вещи будут вам немного велики – ну да как-нибудь устроитесь: Куда это носки задевались? Вот рубашка, и... Ну, кажется, все. Я подожду вас в соседней комнате.

Он встал, оставив ключ в чемодане. А в голове стучало:

«Какой же я болван! Какой непроходимый идиот! Он, конечно, украдёт всё, что попадётся под руку. И поделом мне, дураку! Но что же мне оставалось делать?»

В дверях Рене обернулся со словами:

– Если вам что-нибудь понадобится, позовите Хосе, – но, увидев, что незнакомец, дрожа всем телом, прислонился к столу, чтобы не упасть, вернулся, взял его за локоть и усадил на стул.

– Вам надо чего-нибудь выпить, – сказал он, наливая коньяку из охотничьей фляжки. Человек отстранил стакан.

– Не надо, ударит в голову. Я... слишком долго... – Он выпрямился и откинул со лба волосы: – Ничего, сейчас пройдёт. Пожалуйста, не беспокойтесь.

Дожидаясь его в соседней комнате, Рене злился на собственную глупость. Навязать себе на голову больного, умирающего с голоду авантюриста, возможно преступника, явного проходимца, привыкшего, по его собственному признанию, якшаться с туземцами, – и все только потому, что у того вкрадчивый голос и красивые глаза. Безумие!

Наконец появился незнакомец, преображённый почти до неузнаваемости. Он вообще был ниже и тоньше Рене, и к тому же крайне измождён, и теперь, в висевшей на нём мешком одежде, казался ещё более юным и хрупким, чем был на самом деле, – почти совсем мальчиком. Неумело подстриженные и зачёсанные назад волосы открывали замечательной красоты лоб и глаза. Когда он, хромя, подошёл к столу, Рене снова поразило, какой у него был невероятно больной вид, и ему вдруг пришло в голову, что, может быть, вопрос о том, как поступить с незнакомцем, вскоре разрешится сам собой – он попросту умрёт. Однако, кроме изнурённого вида и крайней истощённости, у него не было ничего общего с оборванцем, который вошёл в эту комнату час назад.

Он извинился перед своим хозяином за то, что заставил его так долго ждать, и поддержал начатый Рене разговор о посторонних предметах. Казалось, он стремился укрыться в светской беседе. Он говорил по-французски не совсем бегло, видимо слегка его подзабыв, употреблял много латинизмов, вдобавок очень сильно заикался, – и тем не менее тембр его голоса придавал неизъяснимое достоинство его

запинающейся речи. Несколько книжные обороты указывали на обширное знакомство с классиками: можно было подумать, что он вырос на Паскале и Боссюэ.

– Но вы же совсем ничего не едите, – воскликнул Рене. Его гость с гримасой отвращения отодвинул тарелку.

– Простите. После длительной голодовки трудно много есть.

Рене внимательно посмотрел на него:

– Значит, вы в полном смысле слова умирали с голоду?

– Да, но не очень долго – всего три дня. Вначале у меня было с собой немного хлеба.

– Что бы вы стали делать, если бы не застали нас здесь? Ответа не последовало. Рене почувствовал, что совершил грубую бестактность, и торопливо продолжал:

– Но ведь ночевать в горах невероятно тяжело. Синие глаза внезапно потемнели.

– К этому привыкаешь – вот и все. Самое неприятное... что ты один.

– Но как же спать в горах, в таком холоде и сырости?

– Спать там не приходилось.

Рене встал из-за стола.

– Тогда, быть может, вы приляжете до возвращения начальника? Вы, наверно, страшно устали. Хосе вам постелит.

К вечеру, когда охотники вернулись домой, незнакомец вполне оправился и на вопросы Дюпре отвечал уверенно и спокойно – он проспал до самой темноты и, проснувшись, ещё немного поел.

Полковник приехал с охоты в прескверном настроении: Лортиг оказался лучшим, чем он, стрелком и вдобавок хвастался этим всю обратную дорогу. К тому же опять зарядил дождь, и все вымокли и устали. Надев очки, полковник посмотрел на незнакомца, как судья на осуждённого преступника.

– Господин Мартель сообщил мне, что вы прибыли из Ибарры, господин...

– Риварес.

– Риварес? Это, кажется, испанское имя?

– Я родился в Аргентине.

– И... оказались в Эквадоре совсем один и в таком отчаянном положении?

– Я участвовал в боях...

– Против диктатора Розаса?

– Да. Я был ранен, как видите, искалечен. Меня схватили. Потом мне удалось бежать на торговом судне в Лиму. Там я надеялся разыскать своего друга и побыть у него, пока мне не удастся дать знать родным. Я уехал без гроша в кармане, за мной гнались по пятам. Приехав в Лиму, я узнал, что мой друг только что отплыл в Европу.

– Когда это было?

– Месяцев девять тому назад. Я кое-как перебивался в Лиме, дожидаясь ответа из

Буэнос-Айреса от родных, которым мне удалось послать письмо с просьбой немедленно выслать денег. С обратным пароходом я получил ответ. Старый слуга писал мне, что по приказанию Розаса наш дом сожгли, а всех моих родных убили. Тогда я перебрался в Эквадор в надежде получить работу на серебряных рудниках. В Ибарре я услышал, что вам нужен переводчик, и отправился сюда предложить свои услуги.

– Откуда вы знаете местные наречия, если вы сами с юга?

– Я научился говорить на них уже после того, как поселился в Эквадоре. Языки всегда давались мне легко.

– А откуда вы знаете французский?

– Я воспитывался в коллеже французских иезуитов.

– Вы верите этому вздору? – прошептал Штегер на ухо Рене.

Они сидели рядом, слушая, как полковник расспрашивает незнакомца. Рене нахмурился и не ответил. В глубине души он был убеждён, что весь рассказ – выдумка от начала до конца. Его злило, что незнакомец лжёт и что Штегер об этом догадался, а больше всего то, что он, Рене, злится. Какое ему до этого дело?

– Наверно, было очень трудно перейти через горы сейчас, когда все реки вздулись от дождей? – с недоверием продолжал допрашивать Дюпре. – Сколько же времени занял у вас переход?

– Четыре дня.

Рене досадливо передёрнул плечом. Чёрт бы его побрал! Уж если лжёшь, так по крайней мере помни, что говоришь. За обедом он сказал «три».

Веки незнакомца едва заметно дрогнули, и Рене понял, что его жест был замечен. Риварес тихим голосом поправился:

– Впрочем нет, не четыре, а три.

Допрос тянулся томительно долго. Проверая, не лжёт ли незнакомец, Дюпре расставлял нехитрые ловушки, которых тот благополучно избегал, отвечая тихим неуверенным голосом, с тревогой во взгляде.

– Благодарю вас, господин Риварес, – наконец сказал Дюпре. – Попрошу вас подождать немного в соседней комнате. Я вас скоро позову и сообщу своё решение.

Риварес вышел, глядя прямо перед собой. Проходя мимо Рене, он бросил на него быстрый взгляд, но Рене внимательно рассматривал свои башмаки.

– Итак, господа, – обратился к ним Дюпре, – я хотел бы знать, какое впечатление произвёл на вас этот человек. Поскольку он белый и, по-видимому, получил кое-какое образование, совершенно очевидно, что он должен будет есть и спать вместе с нами. Поэтому, хотя окончательное решение остаётся, разумеется, за мной, я хотел бы по возможности принять во внимание мнение всех здесь присутствующих. У вас есть какие-нибудь соображения?

Некоторое время все молчали. Штегер и Гийоме переглянулись, Рене всё ещё смотрел на свои башмаки. Наконец Лортиг, небрежно облокотившийся на стол и ковырявший во рту зубочисткой, заметил, зевая:

– По моему мнению, полковник, этот субъект явный обманщик и к тому же нахал. В жизни не слышал более беззастенчивого вранья.

– Вопрос решён, – шепнул Штегер Рене, толкая его локтем. – Что бы ни сказал сегодня Лортиг, старик сделает наоборот. Они грызлись всю дорогу. Нам лучше высказаться в пользу этого молодца, а то старик будет коситься на нас целую неделю.

– Вы говорите весьма категорически, господин Лортиг, – ледяным тоном сказал Дюпре. – Могу я узнать, какие у вас данные это утверждать?

Лортиг снова принялся ковырять в зубах.

– Я и не притворяюсь, что знаю толк в разных там данных, полковник. Я спортсмен, а не сыщик. Но обманщика от честного человека отличить могу.

Дюпре, не отвечая, с достоинством от него отвернулся, и обратился к Штегеру:

– А каково ваше мнение, господин Штегер? Во взоре Штегера светилась неподкупная немецкая честность.

– Я, конечно, не могу навязывать вам своего мнения, полковник, но со своей стороны я не понимаю, почему у господина Лортига сложилось такое скверное мнение об этом человеке. Мне его рассказ показался вполне правдоподобным.

– Говорит он гладко, я этого не отрицаю, – презрительно бросил Лортиг.

Словно не расслышав его слов, Дюпре продолжал:

– Так вы хотели бы, чтобы мы его наняли?

– Да, сударь, если вы сочтёте это возможным. Лично я сочувствую его злоключениям. Мне кажется, что любая жертва этого чудовища Розаса имеет право на нашу помощь, тем более что Розас является также и врагом Франции.

– Вы совершенно правы. Господин Гийоме? Бельгиец ослабился. Он был готов поддержать любой вариант, лишь бы оттянуть тот страшный день, когда ему вновь придётся, рискуя жизнью, тащиться по горам.

– Я склонен согласиться с господином Лортигом. Мне кажется опасным брать человека без рекомендаций. По-моему, нам следует остаться здесь ещё на несколько дней и подыскать кого-нибудь более подходящего.

Полковник обратился к Рене:

– У вас, господин Мартель, была возможность приглядеться к нему поближе. Его можно в какой-то мере считать вашим протеже. Полагаю, что вы согласны с господином Штегером?

С минуту Рене мучительно колебался. Нужно же было так случиться, чтобы его голос оказался решающим. Ему хотелось только одного – никогда больше не видеть этого человека. Он почти надеялся, что его отвергнут единогласно. Но сейчас высказаться против было бы всё равно, что вынести смертный приговор.

– Мне кажется, – заговорил он наконец, – что у нас нет выбора. Конечно, лучше было бы найти человека с рекомендациями, но один такой от нас уже сбежал. Мы отправляемся в опасные места, и не всякий с нами пойдёт. Каков бы ни был этот человек, он по крайней мере готов идти куда угодно. Весьма возможно, что он проходимец, но мы ведь не собираемся вступать с ним в тесные дружеские отношения,

а лишь мириться с его присутствием, поскольку мы нуждаемся в его услугах. Что же касается предложения подождать ещё, то мы уже и так пробыли здесь четыре дня и пока никого не нашли. Ещё немного, и реки в горах так разольются, что выючные животные ни за что не смогут благополучно спуститься с Папаллакты. Вода прибывает с каждым днём. Я считаю, что, если он знает своё дело, имеет смысл его взять.

Позвали Ривареса. На его напряжённом лице сквозь загар проступала страшная бледность.

– Господин Риварес, – начал полковник, – вы несомненно понимаете, что взять человека без всяких рекомендаций – серьёзный шаг...

– Да, – ответил едва слышно Риварес; на лбу у него выступили капельки пота.

– С другой стороны, – продолжал Дюпре, – из чувства гуманности и как француз я не хочу отказать в помощи белому человеку, оказавшемуся в таком тяжёлом положении. Я попробую взять вас, при условии, конечно, что ваше знакомство с местными наречиями окажется удовлетворительным. Предупреждаю вас, однако, что я делаю это с большими сомнениями и главным образом по рекомендации господина Мартеля.

– Полковник... – начал Рене.

– Разве я вас неправильно понял? – спросил Дюпре, устремив на него суровый взор.

Рене всё стало ясно. Если дело примет плохой оборот, виноват будет он; если же всё обойдётся благополучно, заслуга будет принадлежать полковнику. Кровь бросилась ему в лицо, и он закусил губу.

– Я только сказал, – возразил он, – что... – и запнулся на полуслове, встретившись взглядом с Риваресом.

Какую-то секунду они молча смотрели друг другу в глаза.

– ...я, конечно, за то, чтобы взять господина Ривареса, – торопливо закончил Рене и опять стал разглядывать свои башмаки.

– Вот именно, – подтвердил Дюпре и продолжал: – Вы, разумеется, не будете являться членом экспедиции, а лишь служащим по найму, и в случае несоответствия нашим требованиям за нами остаётся право уволить вас без всякой компенсации в первом же безопасном месте. Вы должны быть готовы беспрекословно исполнять приказания и делить с нами неизбежные трудности и опасности путешествия. Считаю своим долгом предупредить вас, что они будут весьма значительны.

– Опасности меня не пугают.

– В таком случае мы позвоём сейчас носильщиков и послушаем, как вы говорите на местных диалектах.

Проверка оказалась успешной, и был составлен контракт. Незнакомец дрожащей рукой вывел свою подпись – «Феликс Риварес». Подавая бумаги Дюпре, он густо покраснел, отвернулся и проговорил, сильно заикаясь:

– А... к-как будет с экипировкой? У меня н-ничего нет, эту одежду мне одолжил господин Мартель.

Дюпре ответил своим обычным снисходительным тоном:

– Вы, разумеется, получите снаряжение, приобретённое для вашего предшественника, в том числе мула и ружьё. Но я не возражаю против затраты умеренной суммы на вашу экипировку. Завтра господин Мартель поедет в Кито сделать кое-какие дополнительные покупки, – отправляйтесь с ним и купите под его наблюдением себе гардероб.

– Простите, полковник, – сказал Рене, – но мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь заменил меня завтра. Я совсем не умею торговаться, да к тому же был очень занят все эти дни и не успел восстановить записи, которые погибли вместе с тем мулом.

– Мне очень жаль, господин Мартель, но с записями придётся подождать, пока выдастся свободное время. Завтра всем найдётся дело – это наш последний день, послезавтра утром мы выступаем. И я убеждён, что вы вполне справитесь. От вас только требуется проследить за тем, чтобы господин Риварес, делая покупки, соблюдал строжайшую экономию.

Риварес не поднял глаз. Выражение его лица вызвало у Рене приступ глухого гнева: надо совсем не иметь самолюбия, чтобы с такой покорностью выслушивать подобные замечания!

Рано утром они отправились верхом в Кито, взяв с собой Хосе присматривать за лошадьми и нести покупки. Всю дорогу Рене упрямо молчал. Ему претила навязанная ему роль, а ехавший рядом Риварес вызывал в нём раздражение, не признававшее никаких доводов рассудка. Он сердился на Ривареса не столько за то, что тот безропотно сносил унижения – что ещё оставалось ему делать! – сколько за то, что он довёл себя до такой крайности, когда ему приходится их сносить. Риварес, заметив, что Рене не склонен к разговорам, тоже молчал.

– Поезжай вперёд, Хосе, и узнай, почему нам до сих пор не доставили кофе, – сказал Рене, когда они въехали в город. – Встретимся около лавки шорника.

Когда метис отъехал настолько, что уже не мог их слышать, Рене натянуто обратился к Риваресу:

– Когда вы вчера ушли спать, полковник сказал мне, что вам необходимо приобрести хороший гардероб. Поэтому, настаивая на соблюдении разумной экономии, он отнюдь не намерен ограничивать вас в приобретении всего, необходимого. Он согласился со мной, что составленный вчера список недостаточен.

Рене не упомянул о том, кто заставил полковника изменить свою точку зрения. Глядя на уши своей лошади, Риварес тихо сказал:

– Я б-был бы вам очень п-признателен, если бы вы сами выбрали всё необходимое. Мне так... было бы легче.

– Я? – спросил Рене ещё более натянутым тоном. – Право, я не понимаю, почему вы не можете сами выбрать себе вещи?

Риварес рассмеялся коротко и горько.

– Вам, конечно, не понять. Видите ли, полковник... А впрочем, прошу прощения, господин Мартель. Если у вас нет желания помочь мне, то, разумеется, не стоит.

Рене вдруг понял.

– Я с удовольствием сделаю всё, что в моих силах, – смущённо пробормотал он и

снова замолчал.

Когда они вышли из шорной лавки, Хосе дожидался их у дверей, болтая с разбойничьего вида негром – продавцом фруктов, который тут же начал приставать к Рене, предлагая ему свой товар.

– Ну нет, любезный, у тебя я ничего не куплю. В прошлый раз ты мне продал гнилые фрукты да в придачу ещё и обвесил. Хосе, возьми свёрток у господина Ривареса.

Повернувшись к Хосе, чтобы отдать ему свёрток, Риварес оказался лицом к лицу с шагнущим к нему негром. Рене услышал за спиной тихий сдавленный возглас и, круто обернувшись, увидел, как нагло-подобострастная ухмылка негра сменилась выражением изумлённого и злобного презрения.

– Что? Это и есть ваш новый переводчик, Хосе? Разве ты его не узнаешь? Посмотри на его хромую ногу и левую руку! Это же сбежавший из цирка клоун. Если старик Хайме его поймает, он переломает ему все ребра. Разве ты не видел объявления о беглом рабе?

– Ты что, пьян? – начал было Рене. – Или ты не видишь...

– Пресвятая дева, так оно и есть! – завопил Хосе. – То-то мне всё казалось, что я его где-то видел. И мне ещё пришлось готовить ему ванну!

– Господин Риварес... – начал Рене и запнулся, у него перехватило дыхание. Человек, стоящий рядом с ним, превратился в неподвижное изваяние; широко открытые глаза на землистом лице мертвеца смотрели в пространство. Поток непристойностей и брани, изрыгаемый Хосе, в бессильной ярости разбивался о стену молчания.

– Так ты, значит, пришёл из Ибарры? А кто запустил в тебя в ту субботу гнилой гренадиллой? Вот этот самый Мануэль! А кто ударил тебя по хромой ноге за то, что ты не знал роли, и ты полетел кувырком? Я, и я ещё...

Тут он тоже замолк на полуслове и уставился на жуткое лицо Ривареса. Несколько мгновений никто не шевелился.

– Ах ты гнусная тварь! – закричал Рене на метиса, задыхаясь от бешенства. – Подлое, трусливое животное!

Он вытащил кошелек и швырнул на землю несколько монет.

– Вот твоё жалованье! Бери и чтобы духу твоего здесь не было! Вещи твои я завтра пришлю в таверну. И если ты только посмеешь показаться мне на глаза около дома... Прочь отсюда! Прочь! Прочь!

Рене схватил лошадь Хосе под уздцы, и метис кинулся бежать, воя от страха, но не забыв подобрать деньги. Мануэль уже скрылся из виду.

Немного отдышавшись, Рене медленно повернулся к разоблачённому самозванцу. Тот по-прежнему стоял не шевелясь и глядел в пространство.

– Господин Риварес, – позвал Рене и повторил, подходя ближе. – Господин Риварес!

– Что?

– Я... думаю, нам следует торопиться. Куда мы пойдём сначала, в обувную лавку?

– Хорошо.

Рене с лихорадочной поспешностью тащил Ривареса из лавки в лавку. Он торопился вернуться домой, пока Хосе не успел пожаловаться и распустить злобные сплетни. Нечаянное открытие привело Рене в ужас. Он содрогался при одной мысли о том, что оно может стать достоянием Лортига и Гийоме. Эта страшная трагедия, невероятная и непостижимая, покажется им чем-то смешным, они обязательно начнут отпускать шуточки, может быть даже глумиться. Он украдкой взглянул на своего спутника. Лицо несчастного уже не было таким мертвенно-застывшим, и землистая бледность постепенно с него сходила, но Рене все ещё не осмеливался заговорить с Риваресом. Однако один вопрос он должен был задать.

– Ну, кажется, все, – сказал он наконец.

– Вам теперь понадобится ещё один носильщик, – проговорил Риварес мучительно напряжённым голосом.

– Сейчас уже поздно этим заниматься, придётся обойтись без него.

Рене помолчал, потом тихо начал:

– Господин Риварес...

– Да?

– Этот... человек, о котором они говорили... он имеет на вас какие-нибудь права?

– Нет, никаких, но никому этого и не требуется – у меня нет друзей.

И до самого лома оба молчали. Лошадь Хосе, нагруженная свёртками, трусила сзади, дёргая повод. Когда они спешили, из дверей вышел Дюпре.

– А, вот она, – сказал он, увидев лошадь Хосе. – Значит, он её всё-таки не украл.

– Кого?

– Кобылу. Ваш метис явился час тому назад на чужой лошади и заявил, что вы его уволили. Я посадил его под арест, пока не выяснится, что стало с лошадью.

– Где он?

– Вон в том сарае. Его сторожит высокий индеец. Рене передал хлыст и повод слуге, который отвязывал пакеты.

– Держи! Разрешите поговорить с вами наедине, полковник?

Риварес бросил на него быстрый взгляд и тут же снова спустил глаза.

«Господи, да он, кажется, думает, что я собираюсь все рассказать!» – подумал Рене.

Войдя с Дюпре в дом, он сказал:

– Я был вынужден уволить Хосе за неслыханно наглую выходку. Я заплатил ему причитающееся жалованье, а также неустойку за месяц вперёд.

Дюпре недовольно поджал губы.

– Я привык, господин Мартель, чтобы мои подчинённые советовались со мной,

прежде чем предпринимать подобные шаги. Если вина была незначительна, его не нужно было так поспешно увольнять, если же он совершил серьёзный проступок, он тем самым потерял право на эти деньги.

– Прошу извинить меня, полковник, – виновато ответил Рене. – Он так безобразно себя вёл, что я, по правде говоря, вышел из себя.

Кроткий тон Рене смягчил Дюпре.

– Конечно, если он допустил дерзость по отношению к вам, это меняет дело.

– Он сказал вам, почему я его уволил?

– Он нёс какую-то околесицу о цирке и о том, что вы подружились с беглым клоуном, кажется чьим-то рабом или слугой, но он так кричал и ругался, что я не стал его больше слушать. Что, собственно, произошло? Вы, наверно, помешали ему избить какого-нибудь беднягу?

Рене ухватился за подсказанную ему мысль.

– Да, порой просто невозможно не вмешаться. Это было отвратительное зрелище. Мне очень жаль, что я причинил вам неудобство, полковник.

Совершенно умиротворённый, Дюпре тут же согласился, что Хосе следует отдать его пожитки и незамедлительно выставить за ворота. Он остался весьма доволен тем, что экипировка Ривареса обошлась относительно недорого, и за ужином выказывал переводчику явную благосклонность – подшучивал над его бледностью и усталым видом и советовал пораньше лечь спать, так как завтра на рассвете они выступают.

– У вас, по-видимому, очень сбиты ноги, – добавил Дюпре. – Попросите у господина Мартеля его примочку. Поразительно помогает.

Рене принёс примочку. Когда он передавал пузырёк Риваресу, ему бросилась в глаза надпись на этикетке, сделанная рукой Маргариты. В глазах у Рене потемнело: он забыл ответить на её письмо! Выйдя из дома, он принялся шагать взад и вперёд по тёмному двору. Его душил бессильный гнев.

Боже милостивый, что же это с ним происходит?! С ума он сошёл, что ли, или уж на самом деле такая тряпка, что первый встречный бродячий клоун может перевернуть вверх дном весь привычный уклад его жизни?

Если хорошенько вдуматься, ведь это что-то невероятное. Беглый клоун из низкопробного цирка, по всей вероятности преступник, скрывающийся от правосудия, – иначе с какой стати стал бы белый человек выносить издевательства Хосе и Мануэля? – отщепенец, привыкший к брани и пинкам и опустившийся до того, чтобы принимать их безропотно, бездарный лгун, которого с первого взгляда раскусили даже такие тупицы, как Лортиг и Штегер, – этот человек пришёл и посмотрел на него – просто посмотрел, – и только поэтому, да ещё потому, что его душа казалась сплошной раной, которой каждое прикосновение причиняло боль, он, Рене Мартель, стал его покорным орудием. Ради этого потрёпанного судьбой авантюриста он сделал то, чего не сделал бы для родного брата: он сохранил его тайну, из-за него он лгал, из-за него унижался перед Дюпре, из-за него потерял всякое самообладание, как не терял никогда в жизни, кроме одного случая в детстве, когда нянька плохо обошлась с Маргаритой. И что хуже всего, из-за него он забыл про Маргариту! Всё остальное он мог бы себе простить, но это уже переходило все

границы.

– Чёрт бы его побрал! – бормотал Рене. – Будь он проклят!

Он ходил до тех пор, пока немного не остыл, а затем отправился писать письма домой. Было уже очень поздно, когда, осторожно ступая, чтобы не разбудить спящих, он пошёл к себе в спальню. При мысли о том, что с завтрашнего дня он будет вынужден терпеть общество этого проходимца не только днём, но и ночью, есть с ним за одним столом и спать чуть ли не под одним одеялом, в нём опять поднялось раздражение.

– Господин Мартель!

Кто-то стоял у двери в его комнату. Рене услышал знакомый запинаящийся голос и, даже не успев рассмотреть горящие глаза беглого клоуна, нахмурился ещё больше.

– Да? – резко сказал он. – Что вы хотите мне сказать?

– Только то, что я вам очень благодарен. Рене поднял брови.

– За примочку?

После минутной паузы тихий голос ответил:

– Да, за примочку. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

## ГЛАВА V

Не успела экспедиция перебраться через Анды, как отношение её членов к новому переводчику сильно изменилось. Причиной этого послужило, быть может, даже не столько поведение самого Ривареса, сколько Маршана.

При их первой встрече, когда маленький отряд Дюпре, в свирепую снежную бурю пробившись через перевал, добрался до хижины на Папаллакте, Маршан окинул быстрым взглядом утомлённые лица голодных и замёрзших людей, задыхавшихся после подъёма в разреженном воздухе, оборвал коротким кивком расспросы командира и, оттолкнув Дюпре, бросился наливать в кружку горячий кофе.

– Натe выпейте, – сказал он, подавая её Риваресу. Дюпре недовольно нахмурился. Маршану, единственному в мире человеку, от которого он, не сердясь, выслушивал и шутку и горькую правду, прощалось многое, но это уже переходило всякие границы. Однако не успел он этого подумать, как Маршан разгадал его мысль и подошёл к нему с добродушной усмешкой на лице.

– Ничего не поделаешь, Арман, социальная иерархия может и подождать, а этот бедняга минут через пять хлопнулся бы на пол. Гийоме тоже похож на дохлую крысу. Эй, Бертильон! – повысил он голос. – Будьте умницей, помогите Гийоме раздеться и дайте ему кофе. – И снова обратился к Дюпре, на сей раз с необыкновенно хорошей улыбкой: – Прости, что я тебя перебил, но в такой тесноте обмороки совершенно ни к чему. Мы ещё намучаемся с этим трусом Гийоме. А у этого такой вид, словно он умирал с голоду. Где вы его подобрали?

– В Кито. Я взял его на время переводчиком. В дороге он ни на что не жаловался, но если он слишком слаб, его, конечно, придётся отпустить, как только мы найдём кого-нибудь получше. Может быть, нам удастся его заменить в какой-нибудь миссии

на Напо.

– Вряд ли, – тихо сказал Маршан, взглянув на Ривареса. – Заменить его будет не так-то просто.

Вечером Маршан подошёл к переводчику, который в крайнем изнеможении скорчился у огня, прислонившись головой к грязной стене, и сел рядом. Красные отблески пламени освещали ввалившиеся щеки и закрытые глаза Ривареса. Некоторое время Маршан смотрел на него молча.

– Ложитесь-ка вы спать, – сказал он наконец суровым тоном.

Риварес испуганно открыл глаза и выпрямился; на лице его немедленно появилось выражение бодрой готовности.

– Спасибо, но я уже вполне отдохнул. Мы все сегодня немного устали.

– Можете не трудиться, меня-то вы не обманете, – спокойно заметил Маршан, беря его руку и нащупывая пульс. – Я ведь доктор. Так в чём дело? Голодали?

– Не... немного. Я... они сказали вам?

– Не беспокойтесь, они мне рассказали всё, что знали. Уж чего-чего, а рассказчики у нас всегда найдутся. Другой вопрос – что им известно. Мартель...

Он упомянул Рене совершенно случайно, но, хотя на лице, за которым он наблюдал, не дрогнул ни один мускул, по тому, как бешено забился у него под рукой пульс, Маршан понял, что Рене о чём-то умолчал. Он выпустил руку Ривареса и продолжал, теперь уже вполне намеренно:

– Мартель – единственный человек, который не поведал мне после ужина свою версию вашей истории. Но он умеет молчать о чужих делах.

Риварес метнул на него быстрый взгляд затравленного зверька и снова отвёл глаза.

– Вот что я хотел вам сказать, – продолжал Маршан с таким видом, будто ничего не заметил. – Когда молодой человек начинает искать приключений и становится поперёк дороги таким крупным хищникам, как Розас, и тому подобное, он задаёт своим нервам порядочную трёпку. Так что, если вы почувствуете, что они у вас начинают шалить – кошмары там или головные боли, – не пугайтесь и не думайте, что у вас что-то не в порядке. Просто приходите ко мне, и я дам вам успокоительного. Хорошо?

У Ривареса задрожали губы, и он проговорил, заикаясь:

– Б-благодарю вас... вы так д-добры ко мне...

– Ну а теперь ложитесь спать, – сказал Маршан, вставая, – и помните, что вы среди друзей.

С этого момента Маршан как бы молчаливо признал Ривареса разным себе – если не считать разницы в годах и опыте – и стал относиться к нему с тем же спокойным и небрежным дружелюбием, какое он проявлял к Рене. Для остальных членов экспедиции новый переводчик был чем-то средним между доверенным слугой и бедным родственником, на чьё сомнительное прошлое можно было смотреть сквозь пальцы, так как это позволяло требовать от него лишней работы. Штегер первый обнаружил, какие удобства в этой знойной стране представляет для исследователя, не склонного слишком утруждать себя, присутствие человека с такими ловкими руками и

всегдашней готовностью услужить. При спуске с гор разбился ящик с ботанической коллекцией; и в Арчидоне, вернувшись к ужину в миссию, Рене застал следующую картину: эльзасец покуривал, лёжа в гамаке, в то время как Риварес своими быстрыми смуглыми пальцами рассортировывал крошечные семена. Штегер вынул изо рта сигару и лениво кивнул Рене.

– Повезло мне, а? Я бы сам никогда не разобрал эти подлые семена, и надо же им было перемешаться. У меня не пальцы, а деревяшки. Да и глаза от этой процедуры непременно разболятся. Ну и климат!

Рене смотрел на тонкий профиль склонившегося над семенами Ривареса, не понимая, как может Штегер принимать безвозмездно услуги чужого ему человека, который к тому же устал гораздо больше, чем он сам. Лортиг, однако, взглянул на дело по-иному. Посмотрев, как быстро работают пальцы Ривареса, он заметил:

– Ловко у вас это получается, господин Риварес. Вы не смогли бы насадить моих сороконожек, у которых вечно обламываются ноги? Разумеется, – продолжал он таким тоном, что Рене захотелось дать ему пощёчину, – я не собираюсь злоупотреблять вашим временем, но если вы хотите немного подработать...

Риварес поднял на него синие глаза, сверкнувшие стальным блеском, и сказал с напускной весёлостью:

– Но ведь д-даже маленькая сороконожка, господин Лортиг, иной раз делится с ближним, не требуя за это платы, хотя у неё нет ничего, кроме н-нескольких лишних ножек. Если вы принесёте свою коллекцию, я посмотрю, что с ними можно сделать.

Рене встретился взглядом с Маршаном и, густо покраснев, отвернулся. Лортиг зевнул:

– Как хотите, дело ваше.

Вскоре и другие члены экспедиции стали то и дело находить поручения для всегда готового услужить Ривареса.

– Совестно злоупотреблять вашей любезностью, но у вас так хорошо всё получается, – говорили они; и хотя полковник отнюдь не давал переводчику бездельничать, Риварес всегда ухитрялся сделать кроме своей работы ещё и чужую. Через месяц-другой в экспедиции почти не осталось человека – за исключением Маршана и Рене, – который не воспользовался бы явным стремлением Ривареса угодить, и постепенно он завоевал всеобщее расположение. Даже молодые офицеры, вначале громогласно негодовавшие на полковника за то, что он навязал им общество «низкопробного авантюриста», вскоре примирились с присутствием весёлого и остроумного спутника, который безропотно позволял себе эксплуатировать и ни при каких обстоятельствах не терял, хорошего настроения. Тем не менее его непроницаемые, никогда не улыбающиеся глаза по-прежнему смотрели с затравленной настороженностью и мучительным, пугающим напряжением.

Он старался стать незаменимым и никогда не упускал случая оказать услугу то одному, то другому, игнорируя знаки пренебрежения и мелкие обиды с видом человека, слишком занятого делом, чтобы обращать внимание на пустяки. В то же время он замечал маленькие недостатки и слабости каждого и приспособлялся к ним. Но, несмотря на всю покладистость Ривареса, в нём было что-то, не позволявшее даже Штегеру заходить слишком далеко, удерживавшее даже Лортига от повторения

его ошибки.

С Рене он держался подчёркнуто учтиво, избегая дальнейших попыток к сближению: по всей видимости, он не хотел, чтобы его ещё раз оттолкнули. Рене же был с ним по-прежнему натянуто холоден и все чаще напоминал себе, что до переводчика ему нет никакого дела.

– Мартель, – обратился к нему однажды вечером Лортиг, когда они все сидели у костра, – полковник сказал, что мы остановимся здесь дня на два, чтобы дать носильщикам передохнуть. Мы собираемся завтра съездить в гости к миссионерам. Сколько можно питаться жареными обезьянами и тушёными попугаями! Брр, мне вчера чуть дурно не сделалось, когда эти дикари рвали на куски живую обезьяну. По крайней мере, у снятых отцов хоть пообедаем по-христиански. Доктор не хочет с нами ехать – говорит, у него много работы.

– У меня тоже, – сказал Рене. – Нужно заняться картой и рассортировать и подписать образцы пород. Я останусь с доктором.

– Почему вы не попросите заняться образцами Ривареса? У него это великолепно получается.

– С какой стати он будет делать за меня мою работу? Это не входит в его обязанности.

– Но в его обязанности входит выполнение разных мелких поручений.

– Ему можно позавидовать, – вставил Маршан, посасывая свою неизменную чёрную трубку.

– В его контракте об этом, помнится, ничего не сказано, – сухо заметил Рене.

– Какой там контракт! Когда человека берут чуть ли не из милости...

– Какие мы все добренькие, – проворчал Маршан. – Раздаём работу направо и налево и ничего за это не берём.

– А вот и он! – воскликнул Штегер. – Господин Риварес!

Проходивший мимо Риварес вздрогнул и остановился. Когда он обернулся, лицо его улыбалось.

«Каждый раз, когда он слышит своё имя, он, наверно, ожидает удара», – вдруг подумал Рене.

Прежде чем Рене успел остановить Лортига, тот обратился к Риваресу:

– Мы тут пытаемся уговорить господина Мартеля поехать завтра вместе с нами, а он говорит, что ему надо разбирать образцы пород. Я его уверял, что вы наверняка поможете ему с ними разобраться как-нибудь в другой раз; вы всегда так любезны.

Переводчик медленно повернул голову и молча посмотрел на Рене. Тот поспешно ответил на его немой вопрос:

– Господин Лортиг ошибается. С какой стати вам затруднять себя? Вы слишком любезны – мы скоро совсем разучимся делать свою собственную работу.

– Я так и думал, что вы пожелаете сделать это сами, – ответил Риварес и обернулся к Маршану. – Вы, наверно, тоже остаётесь, доктор?

Маршан кивнул, не вынимая изо рта трубки.

– Да, и полковник тоже. Нас жареная обезьяна вполне устраивает, она по крайней мере не болтает без умолку.

Ночью Рене долго не мог заснуть и, по обыкновению, думал о переводчике.

«Может быть, я всё-таки к нему несправедлив? Если бы у него действительно были задние мысли, то он стал бы льстить и угождать мне, так как он знает, что при желании я могу его погубить, или Маршану, потому что Маршан вьёт из полковника верёвки. Но ведь он этого не делает...»

И вдруг вся кровь бросилась ему в голову.

«Какой же я болван! Так ведь это и есть его способ льстить нам, показывая, что мы единственные, кого он уважает. Заставляет нас плясать под свою дудку, как и всех остальных, только по-другому. Если ты осел, он манит тебя пучком сена, если собака – костью».

Это открытие так поразило Рене, что он даже привстал. Ночь была ясная, и в лунном свете лица спящих казались призрачно-бледными. Риварес, лежавший рядом с ним, ровно дышал.

«Чёрт бы побрал этого наглеца! – подумал Рене. – Как он догадался?»

Он стал всматриваться в неподвижный профиль.

«Сколько он уже знает про всех нас? Наверно, порядочно. А мне о нём ничего не известно, хоть я и знаю, кем он был. Но одно ясно: только невероятное страдание могло оставить у рта такую складку. Днём она исчезает. Хотел бы я знать...»

Рене лёг и повернулся к Риваресу спиной.

«Опять я о нём думаю! Какое мне дело до него и его секретов? По всей вероятности, они не делают ему чести».

На следующий день, серьёзно поразмыслив, Рене решил, что пора положить конец этим глупостям. Последние дни он вёл себя в высшей степени нелепо; 'можно подумать, что в свободное время, которого у него и так мало, ему нечем заняться, кроме как без толку ломать голову над делами совершенно постороннего человека. Вопрос о том, что такое Риварес – беспринципный интриган или нет, должен волновать самого Ривареса и его друзей, если они у него есть; ему же, Рене, случайному знакомому, которого лишь каприз судьбы свёл с Риваресом, нет до этого никакого дела. Просто он усвоил себе скверную привычку постоянно раздумывать над этим; надо раз и навсегда выбросить из головы подобные мысли.

Рене так строго следил за собой, что почти целую неделю удерживался от размышлений о Риваресе. Но как-то на привале, во время послеобеденного отдыха, Гийоме, развалившийся в гамаке с сигарой во рту, принялся, по обыкновению, рассказывать скабрёзные анекдоты. На сей раз они не имели успеха – день был невыносимо жаркий, и все устали. «Щенки», правда, вяло хихикали, но полковник зевал и проклинал москитов, и даже Лортиг не ухмылялся. Рене, нахлобучив сомбреро на глаза, тщетно пытался не слушать противный голос и уснуть. Маршан с ворчаньем перевернулся на другой бок.

– Все это, конечно, прелестно, молодые люди, но шли бы вы лучше болтать на

воздух. Нам с полковником хочется спокойно переварить свой обед, а Мартелю вы надоели до смерти.

– Ещё бы, – сказал неугомонный Бертильон. – Мартель у нас человек семейный, навеки связавший свою судьбу с необыкновенно ревнивой особой – теодолитом!

Тут даже Маршан рассмеялся: Рене со своим теодолитом был законной мишенью для шуток. Несколько дней тому назад он, рискуя жизнью, кинулся из пироги в кишевшую аллигаторами реку, чтобы спасти теодолит, сброшенный в воду одним из мулов, – к счастью инструмент был в водонепроницаемом футляре. Когда полузахлебнувшегося Рене вытащили из воды, он торжествующе держался за верёвку, пропущенную через ручки футляра.

Бертильон, неплохо рисовавший карикатуры, схватил альбом и стал набрасывать сценку под названием «Миледи разгневана». Негодуя воздев к небесам зрительную трубу, законная супруга, мадам Теодолит, окружённая чадами – юными секстантами и магнитными компасами, – обвиняла в неверности кроткого и забитого Рене, поддавшегося чарам красавицы дождемера.

Рене от всей души присоединился к общему веселью. Сон как рукой сняло, все стали рассматривать рисунок и предлагать свои дополнения. Гийоме немедленно отпустил непристойность, и Рене, с отвращением отвернувшись, снова улёгся в гамак. У Гийоме была не голова, а выгребная яма: ни одна мысль не могла пройти через неё, не пропитавшись нечистыми испарениями.

– Как хотите, а я буду спать, – сказал Рене. Но сонливость тут же с него слетела: он услышал бархатистый голос Ривареса:

– А как же т-та смешная история, господин Гийоме? Вы её т-так и не досказали.

Рене широко раскрыл глаза: Риваресу нравятся анекдоты Гийоме!..

Польщённый Гийоме начал сначала, и на этот раз почти все смеялись, но Риварес не слушал. Он, потупившись, сидел немного в стороне; на его лице было то же выражение, что и тогда ночью, только исполненное ещё большего трагизма. Линия рта была не просто скорбной – она выражала безмерную боль. Рене глядел на него из-под сомбреро.

«Если ложь причиняет ему такие страдания, зачем он лжёт?» – подумал Рене и тут же яростно одёрнул себя.

То же самое повторилось на следующий день и на следующий. Но всё было напрасно – он не мог ни преодолеть своей неприязни к Риваресу, ни забыть о его существовании. Он непрерывно думал о Риваресе и ненавидел его за это.

Какая нелепость! Да мало ли о ком неприятно думать и о ком попросту не думаешь. За примером не надо далеко ходить: Гийоме – весьма непривлекательная личность, и, однако, на него можно не обращать внимания, так же как на москитов или метисов. Бедняга Дюпре иногда действует на нервы своими придирками и напыщенностью, однако, стоит пройти минутному раздражению, и полковник забыт. Но когда в палатку входит Риварес, он словно заполняет её всю, хотя просто сидит в углу и глядит в пол, не открывая рта.

Это наваждение преследовало Рене днём и ночью, и у него начал портиться характер. Ему стало все труднее сдерживать вспышки раздражения против Лортига и

Штегера, делать скидку на возраст Дюпре и молодость Бертильона.

«Это все от климата, – уверял он себя, – и от бессонницы».

Он стал очень плохо спать, главным образом из-за того, что в одной палатке с ним спал Риварес. Каждую ночь, ложась спать, Рене решительно закрывал глаза и поворачивался спиной к опостылевшей фигуре, и каждую ночь он осторожно переворачивался на другой бок и, снедаемый жгучим любопытством, всматривался через накомарник в лицо, которое изучил уже до мельчайших подробностей, – сменилась ли маска искусственной весёлости истинным выражением неизбывного страдания?

Как-то на рассвете, когда все ещё спали, Рене наблюдал за лицом Ривареса из-под полуприкрытых век, спрашивая себя в тысячный раз: «Отчего, отчего на нём такая скорбь?» Вдруг он заметил, что ресницы Ривареса дрогнули, и на лице немедленно появилась привычная маска бодрого безразличия. Рене понял, что за ним тоже наблюдают. После этого случая оба часами лежали без сна, притворяясь спящими, но ловя каждый вздох соседа.

Рене все чаще охватывал странный ужас. Он спасался от него, разжигая в себе ненависть к Риваресу. Все в переводчике вызывало у Рене бессмысленную и яростную злобу: запинаящаяся речь, кошачьи движения, полнейшая неподвижность лица ночью и молниеносная смена выражений днём. «Это не человек, а какой-то оборотень, – говорил себе Рене. – Он появляется неожиданно, подкравшись бесшумно, как индеец; его глаза меняют цвет, как волны моря, и когда они темнеют, то кажется, что в них потушили свет».

За последнее время Маршан стал более резок и угрюм, чем обычно. С самого отъезда из Франции он не прикасался к вину: но вот пришёл день, когда, войдя в палатку, Рене увидел раскрасневшегося Маршана, который, глядя в пространство остекленевшими глазами, рассказывал какой-то вздор Лортигу и Гийоме. Риварес сидел в углу и насаживал бабочек на булавки. Рене остановился в дверях как вкопанный. Он боялся вмешаться и в то же время знал, с каким жгучим стыдом Маршан будет вспоминать завтра слова, которые уже нельзя будет вернуть.

– Но откуда вы все это знаете, доктор? – спросил Лортиг. – Разве генерал был вашим другом?

– Пациентом, мой мальчик. Его много лет мучила печень, от этого у него и характер был скверный. А стоило мне посадить его на диету – и он сразу начинал ладить с военным министерством. Хотя нельзя сказать, чтоб он очень любил овсяную кашу и физические упражнения, – всегда скрипел, как ржавые ворота, когда я ему их прописывал. Но зато потом говорил спасибо.

– Если бы вы почаще сажали его на диету, он, быть может, меньше ссорился бы с женой!

– Да, кстати, – вставил Гийоме, – вы, наверно, знаете всю подноготную этой истории. Вы ведь и её тоже лечили? У неё на самом деле было что-то с этим немецким атташе?

– Доктор... – начал Рене, быстро шагнув вперёд, но Риварес его опередил:

– Доктор, вы не знаете, почему индейцы считают встречу с этой бабочкой дурной

приметой?

Они заговорили одновременно и обменялись понимающим взглядом. Гийоме сердито обернулся к переводчику.

– Ну кому интересно, что думают какие-то грязные дикари?

– Мне, – сказал Рене. – Именно эти бабочки приносят несчастье, господин Риварес?

– Да. А знаете, как любопытно они её называют, – «та, что открывает секреты».

Маршан встал и поднёс дрожащую руку к губам.

– В самом деле? – проговорил он. – Действительно любопытно...

Он испуганно переводил взгляд с Лортига на Гийоме.

– Простите, я не помешал? – спросил Рене. – Я хотел узнать, не сможете ли вы объяснить мне значение рисунков на корзинах для рыбы. Вы говорили, что они связаны с каким-то обрядом.

– Да, да, разумеется, – торопливо ответил Маршан. – Это очень интересно. Да, да... старею я... старею...

Без дальнейших разговоров Рене увёл его с собой и почти два часа разговаривал с ним о туземных орудиях и обрядовых рисунках. Сначала у Маршана заплетался язык, но вскоре доктор пришёл в себя и к концу разговора совершенно протрезвел.

– Спасибо, Мартель, – вдруг сказал он, когда они возвращались в палатку. – Вы с Риваресом славные ребята. Он запнулся и добавил сдавленным, дрожащим голосом:

– Подло ведь... выдавать чужие секреты! Заразная болезнь... между прочим.

Рене нагнулся за цветком. Когда он выпрямился, доктора около него уже не было.

Маршан не знал, когда он снова сорвётся, но не сомневался, что рано или поздно это обязательно случится. Тяга к вину сидела внутри него, словно зверь, который бьётся о прутья клетки; как ни старался он её подавить, заглушить, она жила в нём, требовала, подталкивала. Рано или поздно она обязательно его одолеет.

Раньше Маршан запивал только после душевных потрясений или если что-то внезапно напоминало ему о пережитом. Он раскрыл книгу, содержащую украденное у него открытие, в саду Тюильри, сидя напротив клумбы, засаженной красной геранью и синими лобелиями. Вернувшись из Абиссинии, он случайно увидел такую же клумбу – и снова запил. После этого он усталил свою спальню геранью и лобелиями и вскоре мог без содрогания трогать их лепестки. Тогда он во второй раз сказал себе: «Теперь ты здоров, принимайся за работу». Только после самоубийства жены он понял, что и на этот раз ошибся. А теперь? Тяга к вину уже не зависела от несчастий или напоминаний о них – достаточно было жары и москитов. Она принимала иные формы: раньше его изредка охватывало безумное желание немедленно выпить до потери сознания и забыть обо всём – теперь же ему постоянно хотелось выпить, чуть-чуть, чтобы легче было работать.

Все средства, безотказно действовавшие до сих пор, потеряли силу. Каждый раз, отправляясь в экспедицию, он сосредоточивал все свои мысли на том мгновении, когда берег Европы исчезнет за горизонтом. «Жажда исчезнет вместе с ним, и ты забудешь о ней», – внушал он себе. Но если до сих пор это самовнушение оказывало

действие, то на этот раз береговая линия скрылась за горизонтом, а жажда осталась, и никакие заклинания не могли изгнать из его тела этого злого духа.

Кроме того, ему стали мерещиться всякие нелепости. Сколько бы он ни издевался над собой днём, каждую ночь ему являлся во сне печальный призрак белой маргаритки, которую он обрёл на гниение в гробике ребёнка Селестины.

По мере того как экспедиция продвигалась в глубь страны, идти становилось всё труднее. Как-то раз, месяца четыре спустя после того, как они перевалили через Анды, им предстояло перейти вброд хотя и мелководную, но изобилующую водопадами и водоворотами реку. Прежде чем предпринять эту опасную переправу, Дюпре сделал привал, чтобы дать отдохнуть людям и животным, и лично осмотрел каждого мула и каждый тюк, проверяя каждую мелочь. Только тут Рене понял, почему Маршан считал «Педея» прекрасным начальником.

Первыми в быструю реку вошли проводники и носильщики с ценными и хрупкими измерительными инструментами. За ними, верхом на лошадях, следовали члены экспедиции, последними двинулись вьючные мулы. Рене с Маршаном переправились одними из первых и поехали к тому месту, где были сложены инструменты. Дюпре ещё оставался на другом берегу, собираясь переправляться последним. С ним были Лортиг и Риварес: первый присматривал за беспокойными мулами, а второй переводил туземцам приказания полковника. Оглянувшись, Рене увидел, как все трое спускались к воде, – Дюпре на белом муле, Лортиг на тёмно-сером и Риварес на гнедом – том самом норовистом муле с белой ногой, который сбросил в воду теодолит.

– Не задерживайтесь, Мартель! – крикнул Маршан. – Поехали в тень, на таком солнце быть вредно.

Но только они начали взбираться на высокий берег, как позади раздались крики и поднялась суматоха. Мул Рене, испугавшись, метнулся в сторону.

– Эге! – воскликнул Маршан. – Там что-то случилось! Когда Рене справился наконец со своим мулом, он увидел, как мимо него пронёсся гнедой мул, уже без всадника. На том берегу виднелись две человеческие фигуры, но Рене их не заметил: он смотрел на мула с белой ногой и пустым седлом.

– Маршан! – закричал Штегер, подбегая к ним. – Сюда, быстрее! С Лортигом несчастье!

Ледяной обруч, стиснувший сердце Рене, распался. Перед глазами пошли круги. Всего только Лортиг... Взглянув на тот берег, он увидел около воды две фигуры и, сразу прийдя в себя, последовал за Маршаном.

Все уже спешили. Лортиг лежал на берегу с закрытыми глазами. С его одежды ручейками сбегала вода. Бертильон и де Винь держали над ним свои куртки, загораживая его от жгучих лучей солнца. Маршан, опустившись на колени, расстёгивал на нём рубашку.

Подъезжая, Рене услышал:

– Ничего страшного. Его просто оглушило. Через несколько минут Лортиг пришёл в себя и стал осыпать проклятиями гнедого мула. По его настоянию Риварес, который не мог справиться с этим беспокойным животным, поменялся с ним мулами, но на середине реки гнедой сбросил Лортига в воду. Гасконец остался цел и невредим, но

был так взбешён, что Бертильон начал над ним подтрунивать:

– А мы уже собрались было вас оплакивать. Жаль, не видели вы этого зрелища. Мартель подъехал белый как полотно.

– Он, наверно, спутал вас с теодолитом, – сказал Маршан.

Рене был поражён: уж не догадывается ли Маршан об этой чертовщине, которая с ним творится?

«Всего только Лортиг...» Если бы тонул его родной брат, он и тогда подумал бы: «Всего только Анри». Как оборвалось у него сердце – как будто гибель грозила Маргарите. Неужели этот подозрительный авантюрист ему так же дорог, как любимая сестра?

Уж не теряет ли он рассудок? Не появляются ли у него навязчивые идеи? Какое ему дело до Ривареса? Почему он думает о нём днём и ночью? И знает ли Риварес, какую власть он имеет над всеми его помыслами? Может быть, он делает это намеренно? Порабощает его волю с определённой целью? Может быть...

Что за вздор!

Воспитание, которое он получил в английской привилегированной школе, не подготовило его к подобным трудностям. Окончив её, он далеко не постиг всего, что бывает в жизни, но, во всяком случае, твёрдо знал, чего не бывает и быть не может. Все эти рассказы о порабощении воли одного человека другим – ерунда и бабушкины сказки. Рене храбро уверял себя, что никакого наваждения нет... однако оно продолжало отравлять ему существование.

Если он следил за Риваресом, то и Риварес следил за ним. Рене вдруг начинал чувствовать, что на него смотрят, и, украдкой оглянувшись на переводчика, каждый раз видел эти неотступно преследующие его глаза, которые, казалось, обжигали, – такое в них было мучительное напряжение. Иногда Рене чудилось, что Риварес хочет о чём-то поговорить с ним. Эта мысль приводила его в такой ужас, что он всячески избегал оставаться с ним наедине. Натянутость и враждебность его обращения с Риваресом замечали даже менее наблюдательные люди, чем Маршан. В разговоре со «щенками» Гийоме как-то сказал, что хоть Мартель и отказался от частицы «де» перед своей фамилией и притворяется, что презирает дворянские привилегии, но всё-таки нередко ведёт себя как самый надутый аристократ.

– Посмотрите, как он третирует Ривареса. Английский милорд, да и только!

Миновав труднопроходимые болота, экспедиция вышла на открытую холмистую равнину, орошаемую полноводной рекой и изобилующую дичью. Установилась великолепная погода, с гор дул прохладный ветерок, и, к восторгу молодёжи, Дюпре объявил, что на следующий день состоится большая охота.

Утром все проснулись в прекрасном настроении. За завтраком и позже, укладывая рюкзаки, молодёжь смеялась и перекидывалась шутками. Даже Маршан приободрился. Рене болтал вместе со всеми, но взгляд его то и дело возвращался к Риваресу.

«У него такой вид, – думал Рене, глядя на измождённое, но улыбающееся лицо переводчика, – словно он посмеётся-посмеётся, да и пустит себе пулю в лоб».

– Наши носильщики тоже, видно, веселятся, – заметил Штегер, когда снаружи

раздался взрыв пронзительного хохота. – Интересно, чем это они забавляются?

– Скорее всего чем-нибудь малопривлекательным, – отозвался Бертильон. – Вчера, например, они устроили бой тарантулов и подбадривали их колючками.

– Ну, это всё-таки лучше, чем петушинные бои. Бертильон вздрогнул от отвращения. Хотя он изо всех сил старался изображать видавшего виды циника, эта роль не всегда ему удавалась.

– Брр, уж эти петушинные бои в Кито! Привязывать петухам ножи к шпорам! Ну и изуверы же здешние метисы.

– Но ведь все англичане обожают петушинные бои и бокс, не так ли, Мартель? – спросил де Винь.

– Насколько мне известно, не все, – ответил Рене. – Никто не видел моего патронташа?

Ему хотелось поскорее замять разговор о развлечениях метисов в Кито. Лортиг подмигнул де Виню, и тот продолжал с невинно-удивлённым видом:

– Неужели вы в Англии ни разу не видели бокса? Я слышал, что там бокс бывает каждое воскресенье, после церковной службы.

– В самом деле? – ласково спросил Рене. У де Виня побагровели уши, и он сразу сник. Гийоме потянулся так, что хрустнули суставы, зевнул и заметил:

– Что до меня, то я бы не прочь посмотреть английский бокс, больше в Англии и смотреть-то нечего.

– Само собой, – проворчал Маршан.

– Очень уж сентиментальный народ теперь пошёл, – продолжал Гийоме. – Если так будет продолжаться, то через одно-два поколения мы выродимся в законченных слюнтяев. По-моему, мужчины должны и развлекаться по-мужски. Мне, например, очень жаль, что мы не попали в Кито на пасху и не увидели боя быков, устроенного хозяином бродячего цирка. Я слышал, что это стоило посмотреть.

У Рене перехватило дыхание – он не смел взглянуть на Ривареса; потом украдкой бросил на него быстрый взгляд из-за рюкзака: Риварес зашнуровывал башмак, и лица его не было видно.

– Я себя слюнтяем не считаю, – вспыхнул Бертильон, – но, на мой взгляд, бой быков – зрелище отвратительное. Смотреть, как бык выпускает внутренности из лошадей, которым завязали глаза, – это, по-вашему, мужское развлечение?

– К тому же – добавил Лортиг, – для настоящего боя быков здешняя публика слишком труслива. Я слышал, что бедное животное просто бессмысленно дразнят – выкручивают ему хвост, оглушают хлопучками. Вам, наверно, приходилось это видеть, Риварес?

Темноволосая голова переводчика ещё ниже склонилась над ботинком.

– Да, – тихо ответил он. – В-весьма характерное зрелище.

– Вот-вот, – подхватил Гийоме. – Испанцы любят яркие зрелища, как и все благородные нации. Вот, например, в Генте, когда я ещё был мальчишкой, мы устраивали крысиные бои. Великолепная штука, скажу я вам! Лучше крысы никто не

дерётся – уж как вцепится зубами, так и не отпускает, пока не издохнет. Только всего и нужно, что зажечь спичку и...

– Довольно, господин Гийоме! – ледяным тоном прервал его Маршал.

Невольно взглянув на доктора, Рене увидел, что Маршан смотрит не на Гийоме, а на пепельно-серое лицо переводчика.

– На сегодня о крысах хватит. Готовы, мальчики? Пора двигаться.

– Скажите пожалуйста, какие мы нежные, – оскорблено проговорил Гийоме.

– Да, удивительно, – заметил Риварес с тихим смешком, от которого у Рене мороз пробежал по коже. – Но ничего, г-господин Гийоме, есть животные и покрупнее к-крыс, которые не разожмут зубов до последнего вздоха, если сзади д-держат зажжённую спичку.

Рене завязал рюкзак и встал. Нужно хоть немного отдохнуть от всего этого, иначе он скоро не сможет ни работать, ни держать себя в руках.

– Если вы разрешите, полковник, – сказал он, беря ружьё и пороховницу, – я не пойду с вами. Я давно уже собирался нанести на карту течение реки, и сегодня как раз подходящий день.

– На вашем месте я не рискнул бы заходить далеко, – заметил Лортиг. – Здесь, по-моему, должны водиться змеи и крупные хищники.

– Если вы твёрдо решили заняться этим сегодня – сказал полковник, – вам лучше на всякий случай взять кого-нибудь с собой.

– Спасибо, но это совершенно излишне – я не пойду далеко. Всё, что меня интересует, можно определить, не уходя дальше чем на полмили от лагеря. Я просто выберу место для наблюдений, а потом вернусь за носильщиками и инструментами. Мне не хочется лишать кого-либо возможности поохотиться; а сам я, как вы знаете, охотой не увлекаюсь.

Риварес, который всё ещё зашнуровывал ботинки, поднял голову.

– Если вам нужна помощь, господин Мартель, я с удовольствием останусь.

– Очень вам благодарен, – холодно ответил Рене, – но я предпочитаю работать в одиночестве.

Чтобы положить конец уговорам, он надел сомбреро и вышел из палатки. Оказавшись один среди кустов, осыпанных душистыми цветами, он посмотрел вокруг и вздохнул с облегчением. Здесь по крайней мере ему не придётся видеть, как Ривареса сначала коробит от шуток Гийоме и как через секунду он делает вид, что ему очень смешно.

Именно это его и мучило. Если бы Риваресу действительно нравились грубость и непристойности, всё было бы очень просто. Но видеть, как тонкая натура подделывается под низменную, сознательно старается притупить в себе все лучшее, заискивает перед этим злым, растленным существом, оскверняя свои прекрасные губы...

– Ну зачем он притворяется! – горестно вырвалось у Рене. – Если б он только не притворялся!

Он заставил себя выкинуть из головы эти назойливые мысли. Ведь он ушёл сюда, чтобы забыть о них, остаться наедине с природой, вернуть себе душевный покой.

На краю рощицы с дерева до самой земли свисал великолепный полог страстоцвета. И на минуту остановился перед ним, стараясь думать только о том, как красивы гроздья цветов и как залюбовалась бы ими Маргарита, затем протянул руку, чтобы приподнять один из фестонов, и из зелёной завесы взметнулось облачко маленьких радуг, – он спугнул стайку колибри. Вся горечь, омрачавшая его душу, исчезла, – эти птички казались воплощением радости жизни.

Рене направился к реке, мурлыча – в первый раз с тех пор, как приехал в Южную Америку, – весёлые и нежные старинные французские песенки, которые он, бывало, пел Маргарите:

Здесь ждёт его моя любовь.  
Ах, только б он вернулся вновь!  
С победой или побеждён —  
Навеки мой избранник он.

Заросли внезапно кончились, и перед ним открылся ровный, поросший густой травой склон и широкая серебряная лента реки, извивавшаяся между пестревших цветами берегов. Рене уже давно не видел такой безмятежной красоты. Он сбежал по ковру цветов к реке и опустил руку в прозрачные струи, а потом неторопливо побрёл по берегу, напевая любимую песенку Маргариты:

Кто здесь проходит в поздний час,  
Друзья в венках из майорана?

Как любила она эту радостную мелодию! «Эта песенка – как весёлая девочка, – сказала она ему однажды, – только девочка, у которой никогда-никогда не болела нога».

Дорогу Рене преградил впадавший в реку ручей. Он был слишком широк, чтобы перепрыгнуть через него, и, сняв ботинки, Рене перешёл его вброд. Противоположный берег был невысок, но довольно крут. Взбираясь на него, Рене поскользнулся и ухватился за свисавшую над ручьём ветку, но она сломалась у него в руке. На берег он выбрался мокрый насквозь, но целый и невредимый.

Надломленная ветка загораживала ему дорогу. Наклонившись, чтобы приподнять её, он увидел, что за ней что-то шевелится, и отодвинул ветку в сторону. В скале была маленькая пещера. Из неё разило зловонием, а на полу, усеянном обглоданными костями, лежали, свернувшись клубочком, прехорошенькие котята; величиной они были с кошку, но такие пушистые, с такими невинными круглыми глазами, что казались совсем маленькими.

«Семейство пумы, – подумал Рене. – Лучше мне убраться отсюда подобру-поздорову: мать, наверно, где-нибудь поблизости».

Он пошёл дальше по берегу реки, зорко озираясь вокруг, но продолжал машинально напевать:

Что нужно этим господам, Друзья...

Сзади послышался шорох; песня замерла у него на губах, а сердце словно оборвалось. Он обернулся и увидел прямо перед собой злые глаза пумы.

Рене вскинул ружьё, почувствовал в руке мокрый приклад и понял, что потерял единственный шанс на спасение: ружьё, по-видимому, побывало под водой, когда он оступился, перебираясь через ручей. Он не чувствовал страха, – для него, казалось, не осталось места; это была не опасность, это была смерть. Тем не менее Рене машинально спустил курок и услышал, как кремень щёлкнул по мокрой стали.

Друзья в венках из майорана... —

вновь зазвучала песенка, и Рене увидел реку; не эту, а другую – приток Верхней Йонны, где он мальчишкой удил рыбу. Он ясно увидел песок в мелкой прозрачной воде, сверкающую рябь, белые водяные лилии, лысух и чибисов, прячущихся в камышах, – и в это мгновение пума прыгнула.

Рене не слышал выстрела, прогремевшего у него над ухом; однако он не терял сознания, – когда пума в предсмертной агонии перекатилась через него, раздирая когтями его руку, он смутно понял, что все ещё жив. Но ведь этого не может быть, это невозможно. Тут какая-то ошибка...

Кто-то осторожно снял с Рене огромную лапу и помог ему сесть. Он провёл рукой по лицу и посмотрел вокруг непонимающим взглядом – на ружьё в траве, на мёртвую пуму, на свои ботинки, на сочившуюся сквозь рукав кровь, а затем на бледное лицо человека, спасшего ему жизнь. «И чего он так расстроился, – подумал Рене. – Ведь не случилось ничего особенного».

Он попробовал встать на ноги, но тут же снова опустился на землю – у него закружилась голова.

Риварес принёс воды, помог Рене дойти до места, где он мог бы прилечь, потом отрезал разорванный рукав, промыл и перевязал ему рану. И все это молча. Когда Рене смог наконец снова сесть, лицо переводчика уже стало обычной непроницаемой маской.

– Был, так сказать, на волосок... – с тупым удивлением пробормотал Рене.

– Да. Хотите коньяку?

– Да, пожалуйста, и покурить тоже. В левом кармане должны быть сигары. Спички, наверно, намокли.

Они покурили, потом Рене встал, сделал несколько шагов и ощупал себя. Оказалось, что он отделался многочисленными ссадинами и рваной раной на плече, которая только теперь начинала гореть.

– Пустяки, – сказал он, – но, пожалуй, всё-таки лучше вернуться в лагерь. Такая встряска не проходит даром. Нет, спасибо, я дойду сам.

Они медленно пошли назад. Около цветущего занавеса страстоцвета сели передохнуть.

– Редко приходится видеть такую большую стаю желтогрудых колибри, – сказал Риварес.

Рене посмотрел по сторонам. Вокруг не было видно ни одного колибри.

– Где? – спросил он и добавил удивлённо: – А, так вы видели?..

Рене не договорил, увидев, как вспыхнул и тут же побелел Риварес. С минуту оба

молчали.

– Я уже отдохнул. Пошли? – сказал Рене.

С трудом преодолевая боль во всём теле, он поднялся с земли, словно не заметив протянутой ему руки. Риварес сразу спрятался в свою скорлупу, и до самого лагеря они не обмолвились ни словом. Не будучи в состоянии сам раздеться, Рене был вынужден позволить Риваресу снять с себя куртку и ботинки и перевязать рану. Затем, все ещё ощущая сильную слабость и тошноту, он лёг в постель, надеясь, что сон окажет целебное действие. Когда Риварес выходил из палатки, Рене вдруг открыл глаза и воскликнул:

– Но мы забыли про малышей!

– Про детёнышей?

– Да. У меня всё перепуталось в голове... Нам придётся сходить за ними.

– Не надо. Я их убил.

Рене сел в постели и переспросил:

– Убили?

– Да, когда вы ещё были без сознания.

– Но зачем?

Риварес отвёл глаза и, помолчав, ответил:

– Умереть от удара дубинкой по голове не так мучительно, как умирать от голода. Во всяком случае, быстрее. Мне это хорошо известно – я испробовал и то и другое.

И тихо, как тень, выскользнул за дверь.

С минуту Рене размышлял над загадочными словами Ривареса, но тут же устало закрыл глаза. Голова раскалывалась от боли. Вскоре он уснул, а проснувшись через несколько часов, почувствовал мучительное жжение в ране и нестерпимую жажду.

– Фелипе! – позвал он.

Однако в палатку вошёл Риварес.

– Вам что-нибудь нужно?

– Нет, благодарю вас. Фелипе здесь?

– Я сейчас его позову.

Риварес вышел. Охваченный внезапной вспышкой ярости. Рене стукнул кулаком по кровати.

«Опять шпионит! – И тут же в ужасе опомнился. – О боже, да что это со мной! Он боялся за меня и пошёл следом на всякий случай... Да, но как же колибри... он видел колибри...»

Вошёл слуга. Рене сел в постели и прикрыл глаза рукой.

– Принеси мне воды, Фелипе.

– Я принёс, господин, вот она. Господин Риварес сказал мне ещё, чтобы я принёс вам поесть и чашку кофе.

– Где он?

– В другой палатке. И он сказал, чтобы я вас не беспокоил, если вы уснёте.

Рене выпил кофе и снова лёг. Головная боль понемногу утихала, и мысли прояснились.

Риварес несомненно выслеживал его от самого лагеря. Он, очевидно, придумал какую-то отговорку, чтобы не ехать с остальными, потихоньку вышел из лагеря и пошёл за ним. Разумеется, дело обернулось так, что этому оставалось только радоваться, но тем не менее Рене было не по себе. Поведение Ривареса тревожило его: зачем он пошёл за человеком, который недвусмысленно заявил, что хочет побыть один? А если бы не этот случай с пумой? Неужели он так и крался бы за ним весь день, прячась в кустах и ничем не выдавая своего присутствия? Быть может, Риварес следил за ним, незримо и неслышно его оберегая, потому что в лесу упрямого и беззаботного глупца на каждом шагу подстерегает смертельная опасность?

– Я в няньке не нуждаюсь, – сердито пробормотал Рене. – И, во всяком случае, он мог бы меня предупредить об опасности заранее.

Он досадливо вздохнул. Его бесило, что он спасся только благодаря манере Ривареса делать все украдкой, преследуя какие-то свои тайные цели, – манере, которая больше всего претила ему в переводчике.

На исходе дня вернулись охотники. Услышав их голоса, Рене встал, преодолевая боль во всём теле, и оделся с помощью Фелипе. Ему делалось тошно от одной мысли, что сейчас вся компания начнёт засыпать его вопросами о том, как всё произошло; но делать было нечего, лучше быстрее с этим покончить. Риварес, конечно, уже рассказал им в общих чертах о случившемся.

«Интересно только, сказал ли он им, что крался за мной следом?»

Когда Рене вошёл в палатку, ужин уже начался. Все были поглощены одним из обычных охотничьих споров.

– А я вам говорю, что нипочём бы не промазал, если бы солнце не било мне прямо в глаза, – говорил Штегер.

– А, господин Мартель! – воскликнул Дюпре. – Ну как ваши наблюдения? А почему у вас рука на перевязи? Что-нибудь случилось?

Все посмотрели на Рене. Один только Риварес продолжал есть.

– Я... я поскользнулся, перебираясь через ручей, – торопливо ответил Рене. – Пустяки.

Риварес поднял глаза.

– Надеюсь, вы не вывихнули руку? Рене мучительно покраснел.

– Нет, нет... ничего страшного. У меня разболелась голова, и я вернулся в лагерь. Придётся мне заняться наблюдениями завтра.

– Перегрелись на солнце, вот и все, – невинным голосом сказал Маршан, краем глаза наблюдая за Риваресом. – Я же предупреждал вас, что в жару надо быть осторожней.

Разговор перешёл на солнечные удары. Рене встал и, сославшись на головную боль,

ушёл в палатку. Он опять лёг, но не мог заснуть. Глядя сквозь москитную сетку в потолок, он терзался вопросами, на которые не находил ответа.

Зачем он солгал? Непонятно. Какой страшной болезнью он заразился? Зачем ему хитрить и придумывать всякие отговорки – ведь ему нечего скрывать! Он солгал тогда в Кито, но там было совсем другое дело. Тогда он просто сохранил случайно открытую чужую тайну. Теперь же Риварес будет хранить его тайну, им самим созданную, и без всякой необходимости. Все это какой-то кошмар, бессмысленный и бессвязный, как бред сумасшедшего. Да пусть хоть вся Южная Америка знает о его приключении с пумой! На него напал хищник, и Риварес спас ему жизнь – вот и все. И спас её, между прочим, рискуя своей, – он, наверно, был совсем рядом с пумой в момент выстрела. Если бы ему не удалось уложить зверя сразу, он почти наверняка погиб бы и сам. А как он отблагодарил Ривареса? Заставил его хранить молчание, как будто не хотел, чтобы храброму человеку воздали должное за мужественный поступок. И Риварес сразу молча согласился с его решением, и теперь он обязан Риваресу вдвойне, хотя больше всего на свете ему хочется чувствовать себя чистым именно перед этим человеком.

## ГЛАВА VI

Плечо у Рене скоро зажило, и происшествие с пумой было забыто, но к смятению и беспокойству Рене прибавилось ещё чувство неловкости, – ведь его спас от смерти человек, которого он не выносил. Каждый раз, когда Рене встречался глазами с переводчиком, его бросало в жар. «Какой же я ему, наверно, кажусь скотиной, – твердил он себе. – Ведь он спас меня, а я даже не счёл нужным поблагодарить его».

Прошло два месяца. Экспедиция с невероятным напряжением медленно продвигалась вдоль ещё не изученного притока реки Пастаса, считавшегося одним из главных оплотов страшных охотников за головами – хиваро. Некоторые из носильщиков уже сбежали, оставшихся объял ужас. Однажды ветер донёс издалека дробь барабана и шум пляски. Носильщики сбились в кучу, дрожа от страха и перешёптываясь: «Аука! Язычники!»

В удушливом влажном воздухе было особенно трудно преодолевать водопады, заросли и болота. Однажды вечером лагерь разбили на каменистом прибрежном откосе, между непроходимой чащей и трясинной. Рано поутру Риварес попросил разрешения отлучиться вместе с «начальником носильщиков» – сообразительным, когда-то крещёным туземцем, который очень привязался к переводчику и, как верный пёс, следовал за ним по пятам. Риварес отсутствовал почти весь день. Вернувшись, он прошёл вместе с Маршаном в палатку начальника экспедиции. После обеда Дюпре объявил, что «имеет сделать важное сообщение».

Оказалось, Риварес принёс тревожное известие: одно из племён хиваро собралось на берегу реки для совершения обряда посвящения юношей в воины. Сначала они будут поститься, потом начнётся взаимное бичевание, а когда дело дойдёт до плясок и одурманивающих напитков, племя придёт в воинственное настроение, чреватое опасностью.

– Так как они находятся впереди нас, – продолжал Дюпре, – мы не можем продвигаться дальше, не потревожив их. А это сейчас небезопасно. Господин Риварес настойчиво советует вернуться на стоянку, покинутую нами на прошлой неделе, и переждать там, пока не кончится празднество. Доктор Маршан склонен его

поддержать. Их тревога вполне понятна, но мне, старому ветерану, думается, что они несколько преувеличивают опасность. Я не вижу достаточных оснований, чтобы возвращаться, когда каждый шаг вперёд стоил нам такого труда. Однако во избежание столкновения с дикарями я готов принять все разумные меры предосторожности. Поэтому я решил, что мы останемся на неделю здесь, стараясь не обнаруживать своего присутствия, после чего сможем беспрепятственно двинуться дальше.

Он обвёл молодёжь строгим взглядом школьного учителя.

– Смею заметить, господа, что этот вынужденный отдых даст вам прекрасную возможность привести в порядок уже собранный материал. Кроме того, я должен всех предупредить: необходимо воздерживаться от всего, что может привести к столкновению с дикарями. Господин Маршан и господин Риварес сообщат вам некоторые из местных обычаев, каковые, пока мы здесь, будьте любезны уважать. Насколько я понимаю, обычаи эти связаны с ребяческими, нелепыми суевериями, которым так привержены эти невежественные туземцы. Господин Мартель, возлагаю на вас обязанность следить за соблюдением всех необходимых предосторожностей.

Закончив речь, Дюпре вышел, и Маршан последовал за ним. После их ухода Бертильон разразился хохотом.

– О-ля-ля! Какие грозные слова! Внимание, господа! Я имею сделать вам важное сообщение.

Он вскочил на ноги и, передразнивая полковника, скорчил нахально-серьёзную мину.

– Ребяческие, нелепые суеверия этих невежественных... Брось, де Винь, а то отгаскаю сейчас тебя за уши. За усы не могу – малы ещё... невежественных паникёров (прошу прощения, господин Риварес) вынуждают нас прочно засесть среди трясины и ждать, пока голый шарлатан не кончит заклинать чертей и ведьм. Во веки веков! Аминь!

Штегер приветствовал эту остроту громкими рукоплесканиями и хриплым смехом.

– Все это очень мило, – сказал Лортиг, – но весёлого здесь мало. Если нам придётся задерживаться всякий раз, как господину Риваресу заблагорассудится заявить, что кучка паршивых туземцев перепила и...

– И в чём мать родила выплясывает сарабанду, – подхватил де Винь.

Гийоме вынул изо рта сигару и презрительно хмыкнул.

– Мой дорогой де Винь, разумеется это лишь поднимает их в глазах господина Ривареса. Вы забываете, что любые голодранцы – белые или цветные – ему гораздо ближе, нежели тот класс общества, к которому принадлежат некоторые из нас.

Риварес не шелохнулся. Струйка дыма от сигары в его руке ровно поднималась вверх. Рене молча встал и сел рядом с ним. Губы переводчика слегка сжались, побелевшие ноздри дрогнули, но и только. Спокойный, отчётливый голос, прозвучавший в дверях, заставил Бертильона виновато вздрогнуть:

– Мне тоже. У любого голодранца манеры лучше.

В палатку угрожающе просунулась львиная голова и внушительные плечи Маршана. Он направился прямо к Бертильону и положил руку ему на плечо. Это была

тяжёлая рука. Слишком маленькая для массивной фигуры Маршана, мягкая, широкая, с тонкими пальцами и нежной, как у женщины, кожей; человеку ненаблюдательному она казалась пухлой и слабой, – тем сильнее удивляла её стальная хватка.

– Я считал тебя порядочным человеком, – сказал Маршан. Покраснев до корней волос, Бертильон бурно запротестовал:

– Но это же несправедливо, дед! Вам нравится Риварес. так вы поддерживаете его во всей этой ерунде. И мы должны торчать в вонючем болоте, чтобы нас заживо съели москиты...

– Вместо того, чтобы нас заживо зажарили хиваро... Совершенно верно.

– Да чего там, доктор, – начал де Виий. – Мы же не в пансионе для благородных девиц. Неужели мы не в силах справиться с кучкой туземцев, даже если они на нас нападут?

– Кого вы подразумеваете под «туземцами»? – вкрадчиво осведомился Маршан, не выпуская плеча Бертильона, которое он схватил как клещами. – Метисов в Кито, которых можно пинать ногой, или воинственных жителей лесов, в полной боевой раскраске и распалённых дьявольским питьём своего колдуна?

– Не знаю, как дьявольское питьё, – сказал Гийоме, – а вот обыкновенное вино не слишком просветляет мозги некоторых белых.

Бертильон вырвался из цепких пальцев Маршана и вскочил на ноги.

– Это уж подло! Неужели мы не можем вести себя как порядочные люди?

– Ладно, мой мальчик! – Маршан снова опустил руку ему на плечо, теперь уже ласково. – Не будем отвлекаться.

– Ну так вот, – вмешался де Винь. – Грязные туземцы и есть туземцы, какие они там ни будь – чёрные или красные, прирученные или дикие. Да мы с Бертильоном натошак справимся хоть с дюжиной!

– Ас полсотней на брата?

– Но позвольте, доктор, – запротестовал Лортиг. – не далее как вчера вы рассказывали, что эти дикари живут маленькими разрозненными группами, всего по несколько семей.

– Я рассказывал вам про племена запаро, обитающие в нижнем течении Курарай, Но хиваро стоят на более высокой ступени развития, у них есть система сигнализации: при помощи военных барабанов. Как по-вашему, сколько воинов смогут они собрать по тревоге? – обратился он к хранившему молчание переводчику.

Риварес с трудом разжал губы.

– Не могу сказать в точности – что-нибудь от двухсот до трехсот.

– А нас девять, – произнёс Маршан, глядя на Гийоме. – Всего лишь девять. Так как же, мальчики?

Все молчали. Рене заговорил первым, голос его от подавленного раздражения звучал глухо.

– Так как полковник возложил на меня ответственность за соблюдение мер предосторожности, я хотел бы узнать, чего именно нам следует остерегаться. Может

быть, господин Риварес, ознакомит нас с обычаями хиваро?

Переводчик медленно перевёл взгляд с Рене на Маршана, и все трое поняли, что могут положиться друг на друга. Потом он заговорил очень отчётливо, не заикаясь:

– Я думаю, нам не следует попадаться им на глаза. Как можно меньше шуметь. Ни в коем случае не стрелять. Но главное – избавиться от этой птицы, пока её не увидели носильщики, – он указал на сокола, которого принёс Лортиг.

Гасконец вспыхнул.

– Избавиться от этого сокола? Я собираюсь сделать из него чучело. Это неизвестный мне вид и...

– Зато мне он, кажется, известен, – сказал, нахмурившись, Маршан и повернулся к Риваресу. – Это, верно, один из священных соколов? Какой это вид – каракара?

– Нет, хуже, это акауан.

– Змеед?

– Да. Вы знаете, что нас ожидает, если что-нибудь случится с одной из их женщин?

Маршан присвистнул, разглядывая пёстрое оперение птицы, затем посмотрел на спокойное, сосредоточенное лицо Рене.

– Видите ли, с этой птицей связано много всякого волшебства. Она защищает племя от змей, приносит вести от умерших и околдовывает души живых женщин: у них начинаются судороги, и они умирают – от истерии. Это передаётся от одной к другой, и начинается что-то страшное.

– Какой бред!.. – перебил Лортиг. – Я должен уничтожить мою собственность, потому что у господина Ривареса шалют нервы, а доктор верит в бабьи сказки... Мартель! Я...

Рене, не говоря ни слова, встал, поднял птицу и вынес её из палатки. Взбешённый Лортиг рванулся за ним, но мягкая рука схватила его так, что у него на запястье остались синяки, и, несмотря на сопротивление, заставила снова сесть.

– Вот так-то лучше, – заключил Маршан тоном, каким говорят с трехлетними детьми.

– Что вы сделали с птицей? – закричал Лортиг, когда Рене вернулся.

– Привязал ей на шею камень и бросил в реку. Весьма сожалею, но другого выхода не было.

– Господин Мартель, – задыхаясь от злости, проговорил Лортиг, – я требую удовлетворения!

– Я не дуэлянт, – отвечал Рене, – и если вы недовольны, объяснитесь с полковником. Я только выполняю его распоряжения.

– К тому же, – добавил необыкновенно кротким голосом Маршан, – любой, кто выстрелит на этой неделе из ружья, рискует сам получить пулю в лоб. Я тоже не дуэлянт. – И он задумчиво поглядел на пистолет, висевший у него на поясе. Лортиг, поблдевав, встал с места.

– Предлагаю докурить наши сигары на свежем воздухе. Я привык к обществу

благородных людей, а не бродячих авантюристов и трусов.

Гийоме, Штегер и де Винь вышли вслед за Лортигом. Бертильон в нерешительности медлил. На пороге де Винь обернулся и с укором бросил:

– Ты что же? Остаёшься?

И Бертильон, кинув на Маршана виноватый, беспомощный взгляд, последовал за остальными.

– Сборище идиотов, – проворчал Маршан и зевнул, словно его клонило ко сну.

– Так вот, детки, – деловито продолжал он, – лагерь остался на нас троих. Ночью будем дежурить по очереди. Носильщики не в счёт – они попадают в обморок от одной тени хиваро. Полковник к утру вполне оправится – должно быть, лёгкий приступ подагры. Вам, Мартель, лучше взять Бертильона под крылышко. На самом деле он неплохой паренёк, это все ребячество да плохие друзья. Вырвите его из-под влияния Лортига. Как вы думаете...

Рене возмущённо перебил его:

– Не спрашивайте меня, доктор! Я только одно думаю: что меня окружают свиньи.

Риварес, горько усмехнувшись, поднял на него глаза.

– А какого чёрта вы ожидали? – огрызнулся Маршан. – Послушайте, хоть вы-то не валяйте дурака.

Его голос внезапно стал ласковым. Рене рассмеялся.

– Хорошо, дед. Постараюсь не валять.

На рассвете следующего дня Рене внезапно проснулся. Маршан тряс его за плечо. Гамак Лортига был пуст.

– Он ушёл, и с ним Бертильон. Они взяли с собой ружья. Рене и Маршан молча смотрели друг на друга.

– И Ривареса нет.

– Он дежурит. Им как-то удалось проскользнуть мимо него. Мартель...

– Да?

– Что вы сделаете, если эти двое опять принесут акауана?

– Утоплю птицу в реке. Что же мне ещё остаётся? Не могу же я следом за птицей утопить и их.

Маршан сурово посмотрел на Рене и, не говоря ни слова, пошёл в палатку начальника.

Через час любители ранних прогулок вернулись, положили ружья и сели завтракать. Дюпре подверг их строгому допросу, но оба твердили в один голос, что отправились на поиски бабочек, а ружья взяли с собой на всякий случай. Однако они о чём-то весело шептались с де Винем. Пока они пересмеивались, пришёл Риварес, бледный и расстроенный. Он не прикоснулся к еде и, казалось, не замечал направленных на него презрительных взглядов. Де Винь сказал, что Риварес «с перепугу позеленел».

Рене весь день занимался составлением карты. Ночью, когда он дежурил, к нему

подошёл Дюпре.

– Идите спать. Я покараулю.

Рене отправился спать, размышляя, как это Маршану удалось добиться своего. Перед рассветом его разбудил чей-то шёпот. В ушах у него звучало слово «акауан», и он увидел, как из палатки неслышно выскользнула какая-то фигура. Он тут же вскочил, заподозрив, что вчерашние беглецы опять собрались тайком поохотиться. Но Лортиг мирно храпел рядом с ним. Пустовала постель Ривареса.

«Должно быть, эта проклятая птица мне просто приснилась», – подумал Рене и снова заснул.

За завтраком Риварес отсутствовал. Вдалеке глухо гремели барабаны.

– Наверно, танцуют, – заметил Лортиг.

Маршан ничего не сказал, но у него было такое лицо, что Рене вздрогнул, и ему почудилось, что теперь барабаны звучат как-то по-иному.

Дюпре вышел довольно поздно и был так бледен, что встретивший его у входа Штегер воскликнул:

– Что с вами, полковник? Вы больны?

Дюпре, не отвечая, прошёл в палатку.

– Господа, мы должны готовиться к нападению. Начальник носильщиков предупредил нас: вчера в лесу нашли подстреленного из ружья сокола акауана.

Полковник сделал паузу. Бертильон с пылающим лицом поднялся с места.

– Полковник, я пошёл... я не думал, что...

– Погодите, Бертильон, – вмешался гасконец, – это моя затея. Виноват во всём, полковник, я. Это я уговорил Бертильона пойти со мной. На беду пуля только задела птицу, и она улетела. Искренне сожалею, если эта безобидная шутка доставит нам неприятности, во всём виноват один я.

– Возможно, – сказал Дюпре, – но, к сожалению, это нам не поможет. У одной из девушек начались судороги, и колдун сказал, что все молодые женщины племени умрут. Воины готовятся напасть на нас.

Раздались приглушённые возгласы. Один Лортиг ничего не понял, его наивное презрение к «туземцам» было не легко поколебать. Он подбадривающе улыбнулся товарищам, но все лица были серьёзны, и, не получив ни у кого поддержки, Лортиг обиделся.

– Я уже принёс свои извинения. Конечно, я виноват, но ведь меня вывели из себя. И вряд ли опасность столь серьёзна. Господин Риварес, конечно, не отличается храбростью, и ему кажется, что...

Лортиг не договорил – у него перехватило дыхание. Губы Дюпре стали дёргаться. Из рук Рене со звоном упала кружка, кофе разлилось по земле.

– Где Риварес? – хрипло спросил он, схватившись рукой за столб, поддерживающий палатку.

– Он пошёл к туземцам.

– Один?

– Один.

– Но его же убьют! – вскричал Штегер.

Дюпре отвернулся и тихо проговорил:

– Другого выхода не было.

Он рассказал им, что произошло, – быстро, спокойно, не выбирая слов. Он был так потрясён, что стал говорить совсем просто.

Риварес ушёл, чтобы попытаться уладить дело миром. Он раскрасил себе лицо, как принято у дикарей, и надел на голову великолепный венок из алых перьев, взятый из этнологической коллекции Маршана, потому что хиваро ценят такие знаки уважения. Он отказался от охраны и не взял с собой пистолета. Лишь кое-что из наркотиков и химикалий, чтобы устроить «волшебство». Он заявил, что может рассчитывать на успех, только если придёт к ним один и без оружия. Он заставил Дюпре дать слово, что тот в течение часа будет хранить молчание.

. – Он уверен в успехе, – добавил начальник экспедиции не очень уверенно и сразу перешёл к практическим вопросам.

– Нельзя терять ни минуты. Рауль, вам поручается охрана лагеря с севера, с вами будут Лортиг, де Винь и половина носильщиков. Вы, Мартель, возьмёте на себя южную сторону, в вашем распоряжении Гийоме, Бертильон и остальные носильщики. Штегер и начальник носильщиков останутся при мне. Стрелять в каждого, кто попытается проникнуть в лагерь или покинуть его без моего письменного разрешения. Порох и пули будут розданы...

Быстрые, точные приказания следовали одно за другим. В эту критическую минуту полковник был поистине хорош. Остолбеневший от изумления Лортиг наконец пришёл в себя и предложил нелепый план: напасть на лагерь хиваро.

– Дикари умеют только нападать, защищаться они не способны. Если мы бросимся на них, не дав им времени...

– Бросьте болтать! – рявкнул Маршан, отталкивая его в сторону.

Ошеломлённый Лортиг даже не обиделся. Рене молча записал все распоряжения полковника и так же молча вышел из палатки. За всё время он не произнёс ни слова. Бертильон стоял словно окаменев и все больше бледнел; потом подошёл к Дюпре, который тихо разговаривал с Маршаном.

– Полковник, разрешите мне пойти к ним! Я скажу, что это я подстрелил птицу. Ведь несправедливо, что Риварес... Поплатиться должен я...

– Нам это не поможет, – резко перебил его Маршан. – Ты даже не знаешь их языка. Не мешайся, ты своё дело сделал.

Дюпре даже не счёл нужным ответить юноше и, махнув рукой, вышел из палатки. Бертильон внезапно разрыдался, безудержно, как испуганная школьница. Носильщики внесли в палатку ящик с порохом. Вошедший с ними Рене резко крикнул:

– Ну-ка, Бертильон, распакуйте ящик. Да заставьте работать Гийоме, а то он путается у всех под ногами.

От страха Гийоме совсем потерял голову и только всем мешал. Остальные держались превосходно, в том числе и оба провинившихся. Оправившись от первого потрясения, они взяли себя в руки и помогали чем только могли. Вскоре все необходимые для обороны приготовления были закончены, и часовые заняли посты на подходах к лагерю. Рене патрулировал южную сторону; он внимательно вглядывался в заросли и молчал. Его душил слепой гнев: он старался не глядеть на Бертильона, чувствуя, что способен его убить. Час проходил за часом, и не было признаков ни мира, ни войны.

В полдень часовым принесли пищу. Они ели стоя, не спуская глаз с леса. Де Винь пришёл к Рене с поручением от Маршана и остановился около него с несчастным видом.

– Мартель...

Рене просматривал в бинокль реку.

– Да? – не шевельнувшись, отозвался он.

– Вы лучше всех знаете Ривареса. Как вы думаете...

– Я ничего не думаю.

– Ведь не может быть, чтобы он... погиб?

– Счастье для него, если он уже мёртв.

Де Винь отпрянул, глухо вскрикнув:

– Если... Нет, это невозможно! Они не станут... они не могут...

– Почему же? Или вы думаете, они будут с нами церемониться?

– Мартель... Мы с Бертильоном учились вместе в школе. Если... это случилось... он покончит с собой... Я знаю... Рене повернулся, продолжая просматривать реку.

– В таком случае он ещё легко отделается. Берите бинокль и следите вон за той излучиной, пока я не вернусь.

Он отдал де Виню бинокль и направился к ближайшему часовому; туземец отложил карабин в сторону, и, став на колени, начал креститься.

– Вставай! Бери карабин! Помолишься, когда тебя сменят.

– Господин, – захныкал часовой, поспешно хватаясь за карабин, – неужели эти кровожадные язычники всех нас поубивают?

– Если ты ещё раз забудешь, что ты на посту, им не придётся тебя убивать – я пристрелю тебя сам.

– Слушаю, господин, – прохрипел часовой, и от страха его глаза стали совсем круглыми. Рене вернулся к де Виню и взял у него бинокль.

После полудня время тянулось так же медленно, как и утром, томительно длинные минуты складывались в часы. В неподвижном палящем зное люди ждали, всматриваясь в чащу воспалёнными глазами, напряжённо вслушиваясь. Рене обходил часовых. Насторожённый, молчаливый, неутомимый и ко всему равнодушный, он был словно заведённая машина, которая должна работать, пока не сломается.

Незадолго до захода солнца с северной стороны, где находился Маршан, внезапно

донеслись взволнованные голоса. Рене бросил быстрый взгляд на своих людей и схватился за пистолет. Через мгновение они увидели Лортига, мчавшегося к ним, перепрыгивая через камни. Он бросился на шею Бертильону.

– Всё в порядке... он вернулся... Он заключил с ними мир. Когда они подбежали к палатке, фантастическая фигура с лицом, размалёванными кругами и полосами, и с трепещущей огненной короной на голове только что вырвалась из объятий Дюпре, и её принялись восторженно тискать остальные. Последним к Риваресу приблизился, бормоча извинения, Бертильон. Риварес засмеялся и позволил ему поцеловать себя в обе размалёванные щеки. Потом оглянулся и медленно обвёл взглядом радостные лица.

– Но где же господин Мартель?

Рене незаметно скрылся и, сев на каменистый уступ у самой воды, рыдал, уронив голову на колени.

Выплакавшись, он прислонился спиной к скале и попытался разобраться, что же с ним такое. Положение казалось столь же страшным, сколь и необъяснимым.

За полгода этот беглый клоун безраздельно завладел его сердцем. Невозможно, нелепо – и всё же это так, и терзания, пережитые им сегодня, несомненное тому подтверждение. Впервые в жизни испытал он такие страдания и теперь недоумевал, как он смог их вынести и не убить себя или кого-нибудь другого. Хотя он вполне сознавал, что ему и всем его спутникам грозит мучительная смерть, хотя он думал о Маргарите, о гибели её надежд, о её горе, о её безутешной одинокой жизни – больше всего терзала его мысль о Риваресе, одном среди дикарей.

Против его воли, несмотря на то, что все в нём страстно и неустанно восставало, его любовь была безвозвратно отдана какому-то проходимцу, человеку с сомнительным прошлым, который вёл себя весьма странно и, конечно, ничуть им не интересовался, разве только ради собственной выгоды. Так случилось, и ему от этого никуда не деться.

Когда Рене вошёл в палатку, там уже ужинали. Риварес сидел рядом с Дюпре, перебрасываясь шутками и остротами с радостными, возбуждёнными сотрапезниками. Он успокоил перепуганных носильщиков, сняв устрашающий головной убор, и попытался смыть с лица краску, однако кое-где все ещё зловеще проступали неотмывшиеся пятна и полустёртые фантастические узоры. В волосах Ривареса застряло алое пёрышко тукана. Держался Риварес очень неестественно и шутил на редкость плоско; при этом он так сильно заикался, что его было трудно понять. После ужина его попросили рассказать обо всём подробно. Он начал шутливо описывать своё появление среди разъярённых дикарей, но вдруг замолчал на полуслове – его лицо словно застыло, взгляд стал пустым. Через мгновение он смущённо улыбнулся.

– П-прошу прощения. Не напомним ли мне кто-нибудь, о чём я говорил?

Маршан встал и тронул его за плечо.

– Мы вам напомним об этом завтра, а сейчас вам пора бай-бай.

Риварес повиновался. Рене последовал за ним и только сейчас заметил, что у него все тело ломит от усталости. Когда возбуждение улеглось, все почувствовали, как вымотал их этот долгий напряжённый день, и стали укладываться спать. Рене спал

крепко, но его мучили кошмары, и время от времени он просыпался, натягивал одежду и потихоньку выбирался наружу, чтобы растолкать утомлённых часовых, засыпавших на посту. Один раз на рассвете, когда он вернулся в палатку, ему показалось, что Риварес приподнялся. Рене тихонько окликнул его, но, не получив ответа, снова заснул.

Наутро Дюпре в присутствии всех членов экспедиции уничтожил контракт, согласно которому Риварес был временно нанят переводчиком, и изготовил другой, поставивший Ривареса в равное положение с остальными. Свидетелями были Рене и Маршан.

– В настоящее время я только таким образом могу выразить вам своё уважение, господин Риварес, – сказал Дюпре. – Но смею вас заверить, что по возвращении в Париж, который, если бы не вы, нам бы уже не пришлось увидеть, – я позабочусь, чтобы все узнали, в каком мы у вас неоплатном долгу. Если вам будет угодно отправиться с нами в Европу, Париж и вся великая французская нация сумеют дружески принять иностранца, рисковавшего жизнью ради спасения французских граждан.

– Господи! – шепнул Маршану Штегер. – Да это похуже раздачи наград в сельской школе. Сейчас дойдёт очередь до шалунов.

И действительно, войдя во вкус, Дюпре принялся отчитывать Лортига и Бертильона. Рене нетерпеливо ждал, когда он наконец кончит. После вчерашнего было трудно вынести этот торжественный фарс. Тут он заметил, что Риварес, стоявший немного позади Дюпре, подмигнул Бертильону, словно говоря: «Не обращайте внимания, старина, он ведь не может без нравоучений».

Когда Дюпре наконец кончил, послышался мурлыкающий голос героя дня, – и всем показалось, что треск сухих сучьев сменился нежным журчаньем ручья.

– Вы в высшей степени любезно и лестно обо мне отозвались, полковник, но, право же, я главным образом думал о спасении собственной шкуры. Что же касается небольшого промаха, допущенного этими господами, то я уверен, что вы, человек, служивший в Великой армии, извините их несколько чрезмерное презрение к опасности. Ведь общеизвестно, что во Франции храбрость не добродетель, а национальное бедствие.

Рене стиснул зубы. «Если уж ты не щадишь собственного достоинства, то хоть пощади тех, кто тебя любит. Что за пытка: стоять рядом и видеть, как ты – именно ты – играешь на ребяческом тщеславии старика и смеёшься над ним за его спиной!»

Рене взглянул на Маршана. «Слава богу, – подумал он, – ему тоже противно».

Дюпре улыбнулся.

– Первой традицией Великой армии было повиновение приказу. Но, поскольку эти господа дали мне честное слово, что ничего подобного больше не повторится, забудем о происшедшем. Можно простить все человеческие слабости, кроме трусости.

Он с величавым презрением взглянул на поникшего Гийоме. Вечером, после ужина, Дюпре приказал открыть несколько бутылок шампанского, припасённых для торжественных случаев. Он встал и произнёс длинную речь, в конце которой провозгласил тост за здоровье «нашего дорогого отважного товарища». Маршан

поднял свой стакан, но запах вина заставил его побледнеть, и, не пригубив, он поставил стакан обратно. На него нашёл очередной приступ хандры, и рядом с искрящимся весельем Риваресом он казался особенно мрачным.

– Доктор! – воскликнул Лортиг. – Неужели вы не выпьете за здоровье племени хиваро и их укротителя?

Рене опрокинул локтем миску с рисом на колени Штегеру.

– Как я неловок! – закричал он, вскакивая на ноги. – Доктор, передайте мне, пожалуйста, вон ту ложку! Прошу прощения, Штегер.

Оглянувшись, он с удивлением увидел, что Риварес и не думает прийти ему на помощь. Маршан бросил на Рене свирепый взгляд, взял свой стакан, осушил его единым духом и про тянул Лортигу, чтобы тот снова наполнил его. Рене медленно опустился на своё место. Три дня жил он в каком-то непрерывном кошмаре – и вот теперь ещё это... И сейчас, когда случилось непоправимое, ему хотелось лишь одного – чтобы Риварес перестал смеяться. Он смеялся непрерывно весь день, и смех его, звучавший резко и монотонно, стал к вечеру почти визгливым. Риварес был необычайно весел, лицо его пылало, глаза блестели, – но он ничего не ел и не пил.

Когда Маршан в четвёртый раз наполнял свой стакан, Дюпре наконец заметил, что происходит, и спокойно отставил бутылку подальше. Рене увидел, как Гийоме тут же поставил на её место другую.

– Кто-нибудь желает полюбоваться рекой при лунном свете? – спросил, вставая, Рене.

– Но мы же ещё ничего не слышали о ваших приключениях, Риварес, – сказал Штегер. – Расскажите нам все подробно.

Рене остановился в дверях, Риварес принялся рассказывать. Говорил он свободно, как профессиональный актёр, легко перевоплощаясь, быстро меняя интонации и выражение лица, комично представляя в лицах всех по очереди: самого себя, колдуна, бьющуюся в истерике девушку, взбудораженных родственников. Будь в его исполнительской манере меньше злости, получилась бы превосходная пародия.

– Когда я туда пришёл, держа в знак миролюбия руки вот так, старый джентльмен расхаживал вокруг хижины, свистел в дудку и т-творил заклинания. А внутри девица рвала на себе волосы и с пеной у рта вопила что есть м-мочи: «А-ка-уан! А-ка-уан!» Чего мне стоило убедить их, что я умею лучше колдуна изгонять д-духов! Колдуну хотелось сначала м-меня прирезать, а потом уж выслушать. К-конечно, бедняге не понравилось, что какой-то чужак покушается на его монополию. Ещё бы! Представьте себе: является, например, в Собор Парижской богородицы некий дилетант и предлагает архиепископу поучить его, как нужно служить мессу! К тому же эти дикари народ очень р-религиозный. Прямо к-как христиане.

Последние слова покоробили Дюпре, и он, нахмурившись, строго взглянул на засмеявшегося Бертильона, но тот был в таком восторге, что ничего не заметил.

– Я сделал священный знак и воззвал к духу Хурупари, я говорил о четырех пальмах – четырех сёстрах, но ничто их не смягчило. Тогда я прибегнул к п-последнему средству и стал ч-чревовещать. Я сказал, что вызову Гурупину, чтобы он увёл дух злой птицы и отдал его Ипупиаре.

– Отдал кому?

– Это все л-лесные демоны. Гурупера принимает человеческий облик, увлекает людей за собой в трясины и исчезает. Потом ещё есть Ипупиара. что значит «повелитель вод». Он живёт в болотах и реках. Вы стараетесь убежать от него, а на самом деле все в-время бежите к нему, потому что ступни у него вывернуты пятками вперёд...

– Где же тут логика? – спросил Маршан, несмотря ни на что, не утративший своей любви к точности. – Если ступни вывернуты у него, то почему же навстречу ему бежите вы?

– О, это, п-повидимому, то, что называют т-тайнством веры. Я же сказал вам, что они очень р-религиозны. Как бы то ни было, но в конце концов вы непременно попадёте к нему в лапы, и он вас задушит. Так вот сначала я заставил духа этой птицы войти в хижину и кричать. Вот так.

Риварес закрыл лицо руками, и прямо над сидящими раздался резкий протяжный крик, похожий скорее на смех, чем на плач: «А-ка-уан! А-ка-уан!»

– Потом я устроил небольшое представление, чтобы вызвать Гурупера, и велел им закрыть глаза.

Риварес снова закрыл лицо руками. Издали донёся какой-то странный голос. Сначала он был едва слышен, потом приблизился и наконец превратился в страшный рёв, оборвавшийся около самой палатки. Потом крик «акауан» зазвучал опять, постепенно замирая вдали. Риварес поднял смеющееся лицо.

– Тут уж они все попадали на землю, а колдун тряся, как желе. Для него-то духи не устраивали такой тарарам. Даже девица забыла, что должна быть. Тогда я вытащил у неё изо рта огненного демона...

– Как же вы это сделали?

– Самый обыкновенный фокус – при помощи вытянутого из рукава куска пакли. А потом я дал ей пилюлю опиума и сказал, чтобы она уснула и проснулась исцелённой. Вот и все.

Среди смеха и аплодисментов восхищённых слушателей раздался голос Гийоме. Со вчерашнего дня он лишился своих обычных слушателей: когда он заговаривал, все холодно отворачивались от него. Гийоме знал, что Маршан и полковник уже почти решили оставить его в первой же миссии на Мараньоне.

– Как удачно, – сказал Гийоме, – что вы и чревовещатель и фокусник. Никогда не знаешь, что может пригодиться в глуши. Где же вы всему этому научились?

Рене вздрогнул. Неужели Хосе всё-таки удалось заполучить слушателя? Неужели Червяк знал и молчал столько месяцев? Вздор! Конечно, он просто язвил наобум.

Ни один мускул не дрогнул в лице Ривареса.

– В своё время я очень увлекался любительскими спектаклями.

– Мне кажется, у вас врождённый талант к... как бы это сказать...

Риварес с натянутым смешком откинулся назад.

– К фокусам? Несомненно. Из меня, вероятно, вышел бы вполне с-сносный шут.

Или я мог бы основать новую религию, особенно т-теперь, когда я принялся в-врачевать больных и изгонять б-бесов. Хотя воскрешать м-мёртвых было бы потруднее, да это могло бы им и не понравиться.

Рене потихоньку выскользнул из палатки и принялся шагать по залитой лунным светом каменистой площадке. Он никогда бы не поверил, что шутка может причинить такую боль. Не раз в тяжкую минуту обвинял он Ривареса мысленно в чём угодно, но только не в отсутствии чуткости. Горько подозревать самого дорогого тебе человека чуть ли не во всех смертных грехах, но ещё тяжелее, когда тебя коробит от его бестактности.

Тишину нарушило чьё-то тяжёлое дыхание, словно кто-то долго бежал. Он увидел, что на камне сидит человек, уронивший голову на скрещённые руки.

– Кто здесь? – спросил Рене, подходя ближе.

– Н-ничего. Одну минутку...

Голос нельзя было узнать, но человек предупреждающе поднял изуродованную левую руку.

– Риварес! Что с вами? Вам плохо? Перед ним опять было страшное лицо, которое он видел в Кито.

– Да. Не говорите остальным. Я нашёл предлог, чтобы уйти... не мог больше выдержать.

– Но вам нужно лечь.

– Я знаю. Помогите мне, пожалуйста. – Он поднялся, цепляясь за руку Рене.

– Вы в состоянии идти? Я могу донести вас на руках.

– Спасибо. Я сам.

Опираясь на Рене, он медленно сделал несколько шагов, каждый раз с трудом переводя дух, потом остановился и закрыл рукой глаза.

– Это просто глупо! – воскликнул Рене. – Обнимите меня за шею.

Нагнувшись, он почувствовал, как Риварес обмяк и всей тяжестью навалился ему на плечо. Рене поднял его, отнёс в палатку Дюпре и уложил в гамак, затем велел Фелипе позвать Маршана.

Риварес открыл глаза.

– Господин Мартель... Что вы делаете?

– Снимаю с вас башмаки. Не шевелитесь. Лежите спокойно.

– Да, но... вы отнесли меня в палатку полковника...

– Когда вам стало плохо? – спросил Рене, расшнуровывая второй башмак.

– Сегодня утром... нет, ещё ночью. Я надеялся, что боль пройдёт. Но сейчас схватило по-настоящему.

– Поэтому вы весь день и развлекали нас?

– Наверно. Кто однажды был клоуном, тот им и останется. Мне кажется, я фиглярничаю уже целую вечность. А что, очень скверно у меня получалось? Так

некстати заболеть именно сейчас! Мне очень жаль, что я вас всех задержу, но мне придётся отлежаться.

– Господин! – просунув в палатку голову, позвал Фелипе. – Доктор только что вышел вместе с господином Лортигом. Пойти поискать?

– Да, пожалуйста.

Риварес запротестовал.

– К чему такая спешка? Вам незачем так беспокоиться...

– Что же я, по-вашему, должен делать, когда человек теряет сознание?

– Это от боли. Так уже не раз бывало. Оттого что я попытался идти...

– Так с вами это было и прежде?

– Ещё бы! За последние четыре года – раз шесть-семь. Пора бы мне уже привыкнуть.

– Что же это такое?

– Я сам как следует не знаю. Один человек говорил мне, что это местное воспаление, но он мог и ошибиться, потому что пил как лошадь. Чтобы там ни было, а боль страшная. И все из-за какого-то внутреннего повреждения. Г-говорят, это не опасно для жизни, если только не начнётся п-перитонит. Это случилось тогда же. – И он тронул свою левую руку.

– Как же вы лечитесь?

– Просто жду, когда пройдёт приступ, и стараюсь не терять головы. Это длится не слишком долго, а то было бы невозможно выдержать. Нужно только набраться решимости несколько дней терпеть боль. Она накатывает волной и затопляет сознание. А между приступами вполне терпимо, если только лежать совсем не двигаясь и дышать осторожно.

Рене на минуту задумался.

– Полковнику лучше перебраться в другую палатку, а я останусь здесь ухаживать за вами.

– Вы? Нет, нет! Это может и Фелипе. Я не хочу, чтобы вы оставались со мной.

– Почему?

– Вы не понимаете. Это ведь т-только начало.

– Тем более...

– Вы не представляете, что это такое. Вам будет тяжело. Такая боль – отвратительное зрелище. А вы ненавидите всякое уродство!

– Пусть вас это не тревожит. В своё время я достаточно имел дела с больными. Моя сестра почти с рождения прикована к постели.

– Бедняжка! – пробормотал Риварес, широко раскрыв глаза.

Не понимая, как это случилось, Рене стал рассказывать о Маргарите, о своих опасениях и надеждах – о том, чего он никогда никому не поверял.

– Вот потому я и поехал в эту экспедицию, – закончил он и некоторое время молча

следил за колеблющимися тенями. Молчание нарушил горький смех Ривареса.

– В-весьма похоже на бои гладиаторов, не правда ли? Все требуют твоей смерти. Господу богу, в-вероятно, очень в-весело забавляться с нами – ведь нас так много.

В палатку вошёл раскрасневшийся, разгорячённый вином Маршан. Больной принялся развлекать его весёлыми анекдотами и эпиграммами и, повернувшись к Рене, с отчаянием прошептал:

– Уведите его отсюда! Уведите! Он пьян! Рене с большим трудом выпроводил Маршана из палатки и, отойдя подальше, чтобы их нельзя было услышать, спросил:

– Нельзя ли дать ему какое-нибудь средство, чтобы облегчить боль?

Маршан засмеялся.

– Дорогой мой, вы чрезмерно чувствительны. Мы не даём опий из-за каждого пустяка. Просто небольшое воспаление, наверное он разгорячился при езде и схватил простуду – вот и все, не то бы он не острил так метко.

Маршан, пошатываясь, удалился. Рене с отчаянием смотрел ему вслед.

Через несколько часов, не в силах безучастно смотреть на страдания Ривареса, Рене разбудил Маршана. Он решил, что не уйдёт без опия, хотя бы ему пришлось добывать его силой. Но пары шампанского уже выветрились, и Маршан мрачно последовал за Рене.

– Да, острое воспаление, – сразу сказал он, взглянув на скорчившегося больного. – Принесите кипятку и компрессы. Только сначала посветите мне!

Склонившись над гамаком, он мягко и отчётливо произнёс:

– Послушайте, Риварес. Если вы больше не можете, я дам вам опия, но для вас будет лучше, если вы протерпите сколько сможете, не прибегая к нему. Сумеете?

Риварес, закрывавший лицо рукой, кивнул. Маршан хотел расстегнуть на нём рубашку и вдруг обернулся к Рене.

– Вы пролили воду, Мартель?

– Нет, – прошептал Рене.

Маршан выхватил у Рене лампу, отвёл руку Ривареса и, взглянув ему в лицо, поспешил за опиумом. Дав больному лекарство, он сказал:

– Что же ты не сказал мне, мальчик?

Через несколько часов начался новый приступ. Он был настолько сильным, что всевозможные болеутоляющие средства, к которым при содействии Рене два дня и две ночи почти без, передышки прибегал Маршан, не приносили облегчения. Только большие дозы опиума могли бы оказать некоторое действие, но Маршан во что бы то ни стало хотел обойтись без них.

– Других больных мне обязательно пришлось бы оглушить опиумом, не думая о последствиях, но у вас хватает мужества помочь мне, – сказал Маршан Риваресу к вечеру третьего дня.

Риварес как-то странно посмотрел на него.

– Как по-вашему, придёт этому когда-нибудь конец?

– С вашей смертью. Болезнь слишком запущена.

Бертильон только что вышел от больного, необычайно обрадованный тем, что тот уже в состоянии шутить. В соболезнующих посетителях недостатка не было, трудность заключалась в том, чтобы не допускать их к Риваресу, когда ему было слишком плохо и он не мог притворяться. Риварес настойчиво внушал всем, что его заболевание несерьёзно. Рене и Маршан не переставали изумляться: стоило им впустить кого-нибудь в палатку, и Риварес тут же напускал на себя весёлость. Поспешно отерев влажным платком со лба пот, он встречал гостей приветливой улыбкой, шутил, рассказывал анекдоты, и только прерывистое дыхание да его запинанье выдавали, какого труда ему это стоило. Он чересчур много смеялся, но смех его звучал естественно, и лишь Маршан с Рене догадывались, что за этим скрывалось.

Спровадив Бертильона, Маршан, желая посмотреть, как развивается воспаление, попросил Рене приподнять больного. Рене был искусной сиделкой, но, наклоняясь, он оступился на неровном полу и едва удержался на ногах.

– О господи! – вырвалось у Ривареса. Это был почти вопль, беспощадно подавленный.

Рене, похолодев от ужаса, слушал, как тяжело дышит больной. Но вскоре Риварес извинился с мягкой улыбкой:

– Простите, господин Мартель. Это я просто от неожиданности. Мне вовсе не так уж больно. Попробуем ещё раз?

Эту улыбку Риваресу удалось сохранить до конца осмотра. Маршан знаком отозвал Рене в сторону.

– Когда мы на него не смотрим, – прошептал он, – ему не надо так сдерживаться.

После минутного колебания Рене зашептал:

– Не попробовать ли вам уговорить его оставить это притворство? Ну хотя бы при нас с вами. Ведь это так мучительно и так изматывает его. Конечно, боль следует переносить мужественно, но всему есть предел. Не понимаю, почему он старается убедить нас, что ему не больно? От этого ему только хуже.

Маршан зарычал на него, словно рассерженный медведь.

– Конечно вам этого не понять. Дело в том, что терпеть приходится ему, а не вам, и пусть поступает, как ему легче. Ну, если вы собираетесь дежурить около него ночью, вам пора ложиться.

Рене не стал возражать. Даже если отбросить его привязанность к Риваресу, которая сковывала ему язык, он не смог бы ясно выразить свою мысль. Ему казалось, что за всей этой великолепной стойкостью укрывается не стоицизм, не гордость, не боязнь огорчить других, а исступлённая застенчивость, парализующее душу недоверие. «Почему он так боится нас? – снова и снова спрашивал себя Рене. – Он всем нам спас жизнь, а сам таит свою боль, словно его окружают враги. Неужели он думает, что нам безразлично? Не может быть!»

Когда Рене в сумерках вернулся, Маршан встретил его у входа в палатку.

– Я буду дежурить около него и ночью. Ему стало хуже.

– Вы дали ему опий?

– Дал немного, но почти безрезультатно – слишком сильный приступ. Если боль не утихнет, придётся дать большую дозу. Входите, он вас спрашивал.

Рене вошёл один. Риварес схватил его за руку.

– Отправьте Маршана спать. Он не должен быть сегодня здесь. Я объясню потом.

– Он хочет, чтобы сегодня около него дежурил я, – сказал Рене, вернувшись к Маршану. – Так как же нам быть?

– Самое главное – не волновать его. Оставайтесь, я вам доверяю.

Рене записал, что нужно делать.

– Постарайтесь обойтись без опия, – сказал Маршан, – через час, если приступ не прекратится, позовите меня, а если он начнёт бредить, то и раньше. Это легко может случиться. Не уходите, если он задремлет. Я не сразу лягу.

Когда Маршан ушёл, Риварес знаком подозвал Рене. Голос его был так тих, что пришлось наклониться, чтобы его расслышать.

– Обещайте мне... не звать его... что бы ни случилось, даже если я сам буду просить...

– Но он может помочь вам. Он даст вам опий.

– Он может напиться, а Гийоме может... С вами я в безопасности.

Он заговорил более отчётливо, преодолевая себя:

– Раньше во время таких припадков у меня иногда начинался бред. Как знать, что я могу наговорить? Хотелось бы вам, чтоб ваши секреты знал Маршан?

Рене заколебался, вспомнив про бабочку и корзины для рыбы.

– Как хотите, – сказал он наконец. – Обещаю не звать его, если только... – он не закончил.

– Если только...

– Вы должны предоставить мне некоторую свободу действий. Если мне покажется...

– Что я умираю? Этого не бойтесь! Так вы обещаете?

– Да.

– Раз так – вашу руку, Не беспокойтесь. Меня нелегко убить.

После долгого молчания он вдруг опять заговорил новым, хриплым голосом:

– Неужели вы не знаете, что убить меня нельзя? Ни переломав мне кости – это уже пробовали. Ни разбив сердце. О нет, убить меня невозможно – я всегда оживаю!

Немного погодя он начал бредить; быстро говорил то по-испански, то по-итальянски, но больше всего по-английски, причём, к удивлению Рене, очень чисто, без малейшего акцента. Один раз он попросил воды, но когда Рене подал ему стакан, он с неистовым криком: «Не подходите ко мне! Вы мне лгали!» – оттолкнул его от себя.

Снова и снова в разных вариантах повторял он эту фразу:

– Вы довели меня до этого, вы! Я верил вам, а вы мне лгали!

«Вероятно, какая-нибудь женщина», – подумал Рене. Вскоре Риварес, повторяя эту фразу, вскрикнул: «Падре! Падре! Падре!» И эти слова он повторял всю ночь, среди бессвязных обрывков поразительно разнообразных воспоминаний. Часто слова были еле слышны и мешались друг с другом, иногда голос совсем ослабевал, но порой из невнятного бормотания резко, как вспышки молний, вырывались отдельные фразы.

– Я знаю, что все разбилось. Я поскользнулся, – мешок был такой тяжёлый. Но ведь это всё, что я заработал за неделю, я же умру с голоду!

А немного погодя:

– Экс-ле-Бен? Но ведь это очень утомительное путешествие. А мама не любит останавливаться в незнакомых отелях. Но если вы считаете, что это нужно, я полагаю, мы могли бы снять виллу и взять с собой наших слуг?

Вскоре он заговорил совсем обыденным тоном:

– Мне очень жаль, падре, но у меня плохо идёт святой Ириной. Нет, дело не в греческом, но он невыносимо скучен, в нём нет ничего человеческого... Не кажется ли вам...

Последние слова прервал крик беспомощного существа, охваченного животным страхом:

– Не надо, не надо! Не спускайте на меня собак! Вы же видите – я хромой. Можете обыскать меня, если хотите, – я ничего не крал! Эта куртка? Говорю вам, она сама мне её дала!..

Один раз он принялся считать по пальцам:

– Штегер за меня, Лортиг... тоже... помогли сороконожки... значит двое. И Гийоме за меня – трое. Только надо смеяться, не забывать смеяться его шуткам. Маршан... Но Мартель, Мартель! Что же мне делать с Мартелем?

После этого пошли обрывки шуточных туземных песенок:

Больше глазок мне не строй!  
Думала, что я осел?  
До свиданья, ангел мой —  
Мне давно известно все.

И, подражая молодой мулатке, которая жеманится и хихикает:

Ах, отойди же и больше не лги!  
Или ты думаешь, я забыла?

Далее шли глупые непристойности, которые он бормотал скороговоркой то мужским, то женским голосом. Это несомненно были отрывки цирковой программы. К цирку он возвращался снова и снова. Цирк, боль и человек, который ему лгал, – вплетались во все, о чём бы он ни говорил.

– Почему Хайме так взбесился? Потому, что я потерял сознание? Но ведь я же не нарочно! А через минуту он уже кричал:

– Падре, почему же вы не сказали мне правду? Неужели вы думали, я не пойму? Как могли вы мне лгать, как вы могли?

Риварес долго что-то неразборчиво, бессвязно бормотал и вдруг перешёл на испуганный шёпот:

– Погодите! Погодите немного... опять начинается. Да, скажу, скажу потом... а сейчас не могу... Как раскалённый нож...

Иногда раздавался взрыв жуткого хохота:

– Ваша репутация не пострадает. Я никому не расскажу, а они тоже попридержат языки, раз уж из-за этого произошло самоубийство. Разве можно – такой скандал в почтенном английском семействе! И не бойтесь, со мной уже покончено – я мёртв, и на мне лежит проклятье, а вы станете святым в раю. Ведь богу всё равно. Он привык спасать мир ценой чужих страданий.

Потом снова возвращался к цирку.

– Видишь вон там в углу толстого негра? С ним опять та женщина. Это он в прошлый раз затеял свалку, когда Хайме погасил свет. Ладно, если надо, значит надо, дайте мне только минуточку... Если бы вы знали, какая боль... Да, да, иду...

И опять песенки. А один раз сальный куплет прервал душераздирающий вопль:

– О, убейте меня, падре! Поскорей убейте! Я больше не могу!.. Иисус, тебе не пришлось терпеть так долго. Риварес с размаху ударил себя по губам.

– Глупец! Что толку хныкать? Ему ведь так же безразлично, как и Христу. Молиться некому, ты знаешь! Хочешь умереть – убей себя сам. Никто не сделает этого за тебя...

К утру бред сменился невнятным бормотанием, потом больной умолк. На рассвете пришёл Маршан. Найдя своего пациента в тяжелейшем состоянии, он набросился на Рене:

– Так-то вы исполняете свои обязанности? Почему вы не позвали меня?

Рене, отвернувшись, молчал.

– Вы заснули! – прошипел Маршан вне себя от гнева. – А это продолжалось всю ночь...

Рене по-прежнему смотрел в сторону. Внезапно наступившее молчание заставило его поднять глаза: Маршан в упор смотрел на него, и лицо его покрывалось смертельной бледностью. Оно было пепельно-серым. Когда доктор наконец склонился над находившимся в полубморочном состоянии больным, Рене, не сказав ни слова, вышел из палатки.

– Бедняга! – бормотал он про себя. – Бедняга! Он всё понял.

Днём воспаление пошло на убыль, и так как бред уже не мог повториться, на ночь остался дежурить Маршан, а Рене ушёл спать.

Как ни устал Рене, он долго не мог уснуть. Он узнал разгадку тех тайн и противоречий, которые полгода мучили его. А теперь он терзался, стыдясь невольного вторжения в чужую душу, содрогаясь при воспоминании о беспочвенных, безжалостных подозрениях, которые мешали ему разгадать правду раньше.

Всё было так просто и страшно. Единственный сын, нежно любимый матерью, поглощённый книгами, чувствительный, не знающий жизни, неприспособленный к

ней. Трагедия обманутого доверия, безрассудный прыжок в неизвестность, неизбежная лавина страданий и отчаяния. Всё было так просто, что он не понял. Он предполагал убийство, подлог, чуть ли не все преступления, перечисленные в уголовном кодексе, и забыл только о возможности неравной борьбы человека с обрушившимся на него несчастьем. Его подозрения были так же нелепы, как если бы дело шло о Маргарите.

Маршан никогда бы не оттолкнул этого одинокого, отчаявшегося скитальца, как сделал он, Рене.

«За примочку?» – вспомнил он свои слова. Даже тогда ему было больно видеть, как расширились зрачки испуганных глаз. И только потому, что он пытался лгать, чтобы спасти себя, и не умел... «Господи, каким же я был скотом, каким самодовольным ханжой!»

К утру Риварес уже мог дышать, не чувствуя боли. Несколько дней он почти всё время спал, а Рене, сидя рядом, работал над своей картой. И вот однажды вечером, после долгого, тщательного осмотра, Маршан объявил, что все признаки воспаления исчезли.

– Я полагаю, вам известно, что ваша жизнь висела на волоске? – добавил он.

– Чья жизнь? М-моя? Я, должно быть, живуч, как кошка, – так много раз я уже выкарабкивался. Интересно, сколько может человек вынести?

– Много, – угрюмо ответил Маршан. – И самого разнообразного. Но столько знать об этом в ваши годы – большое несчастье. – Маршан обернулся – Рене считал мили, низко склонившись над картой, – и продолжал: – Если такое когда-нибудь повторится, не старайтесь быть сверхчеловеком. Это только портит характер. Я говорю вполне серьёзно, не пробуйте отшучиваться. Я просто предупреждаю вас. Что говорить – вы держались превосходно, но я предпочёл бы, чтоб вы стонали и жаловались, как все смертные. А вы напрягаете до предела свои нервы и не желаете научиться смирению.

– Научиться смирению? Но для этого существует столько возможностей!

– Да, – хмуро ответил Маршан. – Для большинства из нас. Когда нам делают больно, мы кричим, а когда нас предают – отправляемся ко всем чертям, но по крайней мере все вместе – и кошки и крысы. Старик Вийон был не дурак. Но вам, мой сын, грозит другое – в вас слишком много стоицизма и слишком мало милосердия к людям. Вы удивительный человек. Я таких не встречал, да вряд ли ещё и встречу. Но и вы сотворены по тому же образу и подобию, что и все остальные, и забывать об этом опасно. Видите, оказывается, и я способен читать длиннущие проповеди! А бедный полковник давным-давно ждёт меня играть в безик. Вот ведь что делают тропики с немолодым мужчиной, страдающим печенью. Ну, пока, дети мои.

Риварес посмотрел вслед доктору, удивлённо сдвинув брови.

– Ничего не понимаю, – начал он. – Никогда бы не подумал, что Маршан может так раскиснуть. Странно. Может быть, он чем-нибудь расстроен?

– Возможно, – лаконично ответил Рене, не отрывая глаз от карты. – За последнее время в нашем лагере было много волнений... Двадцать пять с половиной...

Они помолчали. Слова Маршана были исполнены такого напряжения, что после его ухода было трудно говорить. Но молчание только усугубляло это гнетущее ощущение.

– Как вы думаете, туземцы, живущие выше по реке, тоже опасны? – спросил Рене, обозначая на карте «воинственное племя».

– Не думаю. Если мы только не будем их трогать. Но следует соблюдать осторожность.

– Лортиг уже получил хороший урок. Но мало ли что может случиться. Например, если у них начнётся эпидемия и колдун свалит все на нас?

– Тогда плохо дело.

– Вы думаете, вам не удастся их успокоить?

– Вряд ли. А впрочем, заранее сказать трудно. Я ведь не думал, что сумею уладить дело со священным соколом. Перо в руке Рене замерло, царапнув по бумаге.

– Вы хотите сказать, что, отправляясь к дикарям, не были уверены в успехе?

– Я считал, что у меня нет и одного шанса из ста.

– Но чего же вы ожидали, когда шли к ним?

– Ну, я... я с-старался об этом не думать. И... к-какое в конце концов имеет значение... что бы именно могли они сделать? Во всяком случае, вряд ли мне пришлось бы хуже, чем в прошлый вторник, и... в-вероятно, кончилось бы все скорее.

Рене покусывал кончик пера.

– Понимаю. Но что же тогда вас спасло? То, что вы не боялись и они это видели?

– Но я... б-боялся.

– Значит, они решили, что вы не боитесь?

– Отчасти. Но, главное, я внушил им, что они сами боятся.

– Боятся?

– Да. Они ни капли не боялись, но думали, что боятся. А это тоже хорошо.

– Или тоже плохо?

– Нет, нет! Думать, что боишься, – лучше смерти. Действительно бояться – хуже смерти.

– Значит, вы полагаете, бесстрашие – это скорее уверенность в том, что ты не боишься, а не отсутствие страха на самом деле?

– Может быть, нам лучше уточнить формулировки? Что вы называете бесстрашием?

– Вам лучше знать.

– Но я не знаю, если только это не осмысленный страх, который не мешает видеть вещи в истинном свете.

– Это для меня слишком тонко.

– Разве? Видите ли, прежде чем стать клоуном, я изучал философию. Сложное сочетание, не правда ли? Вот, например, Маршан считает, что в тот вторник я вёл себя мужественно, всего лишь потому, что я лежал смиренно и не жаловался. Он бы тоже лежал смиренно, если бы корчиться было ещё больнее. И к-какие уж там жалобы, когда

тебя словно сжигают живьём? Тут уж можно или визжать, как свинья, которую режут, или лежать совсем тихо. Во втором случае приобретаешь р-ре-путацию храбреца.

Рене повернулся к нему.

– Знаете, Риварес, мне хочется вас кое о чём спросить. Я уже говорил вам о своей сестре. Что бы вы предпочли на её месте – быть всю жизнь прикованной к постели или дать себя долго кромсать и в конце концов, быть может, излечиться? Я подчёркиваю – быть может.

Рене был так поглощён своей собственной проблемой, что не обратил внимания на выражение лица собеседника и торопливо продолжал:

– Меня теперь одолевают сомнения. Маргарита верит в свои силы, и до прошлой недели я тоже верил. Должно быть, эта ночь во вторник слишком на меня подействовала... раньше мне не приходилось видеть ничего подобного. Как же я могу подвергнуть её бог знает чему? Она ведь так молода.

Риварес наконец заговорил, медленно, с напряжением:

– На это трудно ответить. Дело в том, что боль раскалывает наше сознательное «я» на две враждующие стороны: одна из них умом понимает истинность какого-либо явления, а другая чувствует, что эта истина ложна. Если бы вы спросили меня об этом через месяц, я бы ответил: «Хватайтесь за любую возможность». Если б у меня хватило сил ответить вам во вторник, я сказал бы, что иногда даже безусловное исцеление бывает куплено слишком дорогой ценой. Сейчас я уже достаточно отвечаю за свои слова, чтобы знать, что я за них не отвечаю.

– Мне не следовало спрашивать вас об этом, – смутившись, пробормотал Рене.

– Нет, отчего же? Это все обман чувств. Мне кажется, я бы не пережил второй такой ночи, как в тот вторник, но я знаю, что это мне только кажется. Четыре года назад, когда всё это случилось, почти каждый день был похож на тот вторник, и так много недель подряд. И, как видите, я не сошёл с ума и не наложил на себя руки. Конечно, я всё время собирался, но так и не сделал этого.

И, заикаясь, поспешно добавил:

– М-мы, жители колоний, по-видимому, очень живучи.

– Ну зачем вам нужно мне лгать? – в отчаянии не выдержал Рене. – Почему вы мне всегда лжёте? Я ведь вас ни о чём не спрашиваю!.. – И замолчал, пожалев о сказанном.

– Значит... значит, я бредил?

– Да... Рассказать вам – о чём?

– Если вам нетрудно. Нет, о нет! Не говорите, не надо!

Риварес содрогнулся и закрыл руками глаза. Потом поднял голову и спокойно сказал:

– Господин Мартель, о чём бы вам ни довелось узнать или догадаться, объяснить я вам ничего не могу. Если можете, забудьте все. Если нет, думайте обо мне что хотите, но никогда не спрашивайте меня ни о чём. Какой бы она ни была – это моя жизнь, и нести её бремя я должен один.

– Я знаю только одно: что я вас люблю, – просто отвечал Рене.

Риварес повернул голову и очень серьёзно посмотрел на него.

– Любовь – большое слово.

– Я знаю.

– И вы... вы не только любите, но и доверяете мне, хотя я вам лгал?

– Это ничего не значит. Вы лгали, охраняя свою тайну. И вы не знали, что мне это больно.

– Не знал. Больше я не буду вам лгать.

Они замолчали, но Рене не вернулся к своей карте. Когда Фелипе пришёл звать его ужинать, он был погружён в мечты. Рене вздрогнул и отослал слугу обратно – сказать, что подождёт, пока его сменит Маршан.

– Но мне ничего не надо. Фелипе побудет около меня. Прошу вас, господин Мартель, идите ужинать.

– Зовите меня Рене.

Ризарес от радости вспыхнул.

– Если вам угодно. Но как же будете звать меня вы? Феликсом? Это имя так же мало для меня значит, как и Риварес. Я увидел их на вывеске в Кито. Должно же у человека быть имя.

Лицо его опять побелело.

– С тех пор как я приехал в Южную Америку, у меня по преимуществу были клички. Насчёт этого м-метисы очень изоб-бретательны.

– Феликс меня вполне устраивает. Хорошо, я пойду и пришлю Фелипе. Спокойной ночи, друг мой!

## ГЛАВА VII

Маршан играл с полковником в безик целых два часа. Он выиграл пять франков четырнадцать су и аккуратно занёс сумму выигрыша в записную книжку.

– Ты становишься невнимательным, Арман, – заметил доктор. – В прошлый раз ты проиграл три франка из-за такой же ошибки. Спокойной ночи. Я обойду лагерь и лягу спать.

Маршан обошёл один за другим сторожевые костры, потом не спеша спустился к реке и присел на камни. Кругом громоздились залитые лунным светом скалы. Он стал смотреть на воду.

Спешить было некуда. Даже сейчас, когда на коленях лежал пистолет со взведённым курком, а в кармане – коротенькая записка для полковника, долготелая исследовательская привычка к анализу заставила его ещё раз все обдумать хладнокровно и неторопливо, как будто дело шло о выборе лечения для больного, порученного его заботам.

Самоубийство, пожалуй, самый разумный выход из тупика.

Ещё неделю тому назад он надеялся, что сможет перебороть тягу к вину или по крайней мере настолько держать себя в руках, чтобы от неё страдал только он один. Но если пациент, несмотря на чудовищные страдания, отказывается прибегнуть к

помощи врача из-за боязни, что тот может выболтать его секреты, значит пора кончать.

Он долго боролся с собой. Немногие из его опытов над животными, снискавшие ему славу безжалостного вивисектора, были так жестоки, как методы лечения, которые он применял к себе. Он пытался убить в себе эту жажду, выжечь её, задушить тяжёлой работой, притупить усталостью; он проводил бессонные ночи, положив на подушку бутылку коньяка и смазав края стакана кислотой. Тщетно. И вот уже подкрадывается старость – старость отупевшего, болтливого пьяницы.

Он будет скатываться все ниже! Да, самый лучший выход – пуля в лоб.

Но как же экспедиция? Как проберутся без врача эти зелёные юнцы через гнилые болота? Никто из них, кроме Армана, не знает тропиков. Арман? Но он все чаще болеет, и кроме того – никогда не блистал умом. Мартель не глуп, но у него нет опыта, и одному ему всё равно не справиться с Лортигом и Гийоме. – А для Ривареса сейчас решается вопрос жизни и смерти – он сможет выкарабкаться только если рядом будет врач, – пусть даже врач, которому он не доверяет. Ясно одно – нельзя бросать мальчиков. А застрелиться никогда не поздно.

Нет, незачем обольщаться. Сейчас или никогда. Пройдёт ещё года три, прежде чем мальчики смогут без него обходиться, а тогда уже будет поздно. У закоренелого пьянчужки не хватит решимости застрелиться; он даже не сможет понять, что это необходимо, им будет владеть одно желанием – пить.

Всё равно, дезертировать нельзя! Терпи! – Маршан отложил пистолет, расправил плечи и словно застыл. Сейчас, во всяком случае, голова ещё работала хорошо. Он отчётливо представлял своё будущее. Жаль, что нельзя все чуточку ускорить, раз уж нет никакой надежды. Болезнь будет прогрессировать медленно, он знал наизусть все её симптомы. Заранее известно, что тебя ждёт, и психиатру в таком положении приходится хуже всех. Как через увеличительное стекло, изучил ты каждую ступень, ведущую в бездну. И когда настанет твой черёд, ты знаешь, и через что предстоит пройти и каков будет конец.

Далеко ли зашло его падение? Сколько оно ещё будет продолжаться? Скоро ли наступит то состояние, когда уж всё равно? Профессиональным взглядом он пробежал историю своей болезни.

Возраст – пятьдесят четыре года, профессия – здоровая, но в последнее время приходилось переносить лишения в изнурительном тропическом климате, наследственность с обеих сторон прекрасная. Сам ничем не болел, здоровье хорошее, иногда только, когда переутомишься, побаливает печень. Всю жизнь работал с полным напряжением сил. Несколько раз ставил на себе опыты с алкоголем, наркотиками, а также... Нет, к его болезни, возможно, имеют некоторое отношение лишь опыты с алкоголем. Как сильно повлияли они?

Воздержанная, размеренная жизнь до сорока четырех лет, потом испытал тяжёлое душевное потрясение. Девять недель беспробудно пил; уехал за границу; уезжая из Франции, внушал себе, что жажда спиртного осталась там, на берегу; четырнадцать месяцев держался; увидев клумбу герани, опять сорвался, принял самые крутые меры; снова уехал за границу; почти шесть лет всё шло хорошо; после новой травмы – опасный рецидив; пил шесть недель; в третий раз уехал за границу; самовнушение не

помогло; крутые меры не помогли; воспоминания о маргаритке; жажда спиртного стала постоянной; за тринадцать месяцев срывался дважды, один раз без всякой причины. Новый симптом – постоянная тяга к вину – первый признак хронического, прогрессирующего алкоголизма. Кроме того, постоянный страх...

Это было словно удар по голове, мысли рассыпались дождём искр.

– Да ведь это же не алкоголизм! Это страх. Всего лишь бессмысленный страх. Ты пил от страха, что запьёшь...

Сам не понимая как, Маршан очутился на ногах и упёрся в скалу, чтобы она не качалась; луна плясала в небе. Нет, это просто разыгрались нервы! Закрыв глаза, он подождал, пока в груди не перестал стучать молот, потом принялся разбирать свою болезнь дальше.

Этот страх одолел его, только когда перестало помогать самовнушение и он перестал анализировать происходящее. И всё же за целых тринадцать месяцев страх только дважды заставил его напиться. Да разве это та неизлечимая привычка, против которой он так отчаянно, так безуспешно боролся?

– У тебя же её нет! – закричал он и рассмеялся так, что в скалах ответило эхо. – Ты же, осел, не разобрался как следует! Шарахался от призрака, созданного твоим же воображением! От пустоты!

Он нагнулся, поднял пистолет и, осторожно спустив курок, сунул его за пояс. С пьянством покончено. Он больше не боится этого. До смешного глупо! И, набивая трубку, Маршан угрюмо улыбнулся. Хорошего же дурака он сваял – он, знаменитый психиатр!

– А любопытная всё-таки ошибка. И отчего это не пришло мне в голову раньше? – бормотал он, возвращаясь в лагерь.

\* \* \*

В Европу экспедиция вернулась в положенное время, но потеряв двух человек. В тропических болотах дизентерия унесла Штегера, а де Винь был убит в схватке с туземцами, когда исследователи попытались проникнуть в дебри долины реки Укаяли. Гийоме тогда с ними уже не было, – с общего согласия его оставили в миссии на Амазонке, и он присоединился к исследователям, только когда они возвращались обратно.

Три с лишним года непрерывных трудов, опасностей и лишений наложили на каждого свой отпечаток. Дюпре превратился в дряхлого старика; он мужественно старался выполнять свои обязанности, но мечтал лишь об одном – вернуться во Францию и прожить остаток своих дней на покое. Его напыщенность не выдержала слишком долгих испытаний, она уступила место простоте, придавшей ему на закате дней ту величавость, обрести которую он всегда стремился. Два последних года экспедицию по существу возглавлял Маршан, а Рене и Феликс были его помощниками. Все трое старались по мере сил шадить самолюбие Дюпре и держались на заднем плане, почтительно выдвигая различные «предложения», а у старика хватало благоразумия не пренебрегать этими предложениями.

Маршалу эти годы принесли исцеление. Он раз и навсегда избавился от страшного призрака, а огромная ответственность, которая легла на него, когда его старый друг

окончательно сдал, принудила Маршана к такому длительному воздержанию, что в конце концов пропала и физическая потребность в алкоголе. Он тоже постарел, но теперь он излечился от недуга и мог, ничего не страшась, вернуться в Париж.

Бертильон возмужал и перестал без нужды рисковать жизнью, чтобы доказать свою смелость, в которой и так никто не сомневался. Один только Лортиг ничему не научился. Потрясение, вызванное историей с соколом, давно забылось, и память его преобразила этот эпизод в волнующее приключение, в котором он, как и переводчик, играл яркую героическую роль. Ни опасность, ни всеобщее осуждение не могли надолго сбить самоуверенности Лортига, – после каждого посрамления она неуклонно и неизменно к нему возвращалась.

Загоревший и отрастивший бороду Рене сидел на палубе, перечитывая письма Маргариты, которые они забрали на Мадейре. Новостей в них было мало: умерла старая Марта. Тётя Анжелика проболела всю зиму, Анри наконец женился, отец подготовил новые переводы древнеегипетских папирусов. Только всего и случилось за четыре года, не считая новостей о самой Маргарите. Осложнение удалось окончательно вылечить, и здоровье ее значительно окрепло. Она уже не такая беспомощная, как прежде. Бонне смотрел её ещё раз и считает, что теперь она сможет вынести серьёзную хирургическую операцию. «И этим, так же как и всем другим, я обязана тебе. В остальном всё идёт по-старому. Читаю греческих авторов, помогаю отцу работать над книгой и отсчитываю дни твоего отсутствия. Но сейчас все так чудесно изменилось – ведь теперь я уже могу считать дни, оставшиеся до твоего возвращения! Я всё думаю, очень ли ты изменился? А вдруг я увижу совсем нового Рене? И если я полюблю его слишком сильно, не станет ли ревновать прежний Рене, который живёт в моём сердце? Ах, нет! Я уверена, что ты не можешь стать другим! Ты можешь измениться лишь внешне, – но ты всегда будешь моим Рене, а я – твоей Ромашкой. Остальное не имеет значения».

В конце письма стоял постскрипtum: «Дорогой мой, конечно я хочу познакомиться с твоим другом. Он обязательно должен приехать и погостить у нас, но только не сразу. Первое время я хочу, чтобы ты был только мой».

К Рене подошёл Маршан.

– Вы заняты, Мартель? Мне бы хотелось поговорить с вами.

– Да нет, я просто так сижу. А где Феликс?

– У полковника. О нём-то я и хотел поговорить с вами. Вы не знаете, чем он собирается заняться, когда мы вернёмся во Францию?

– Сразу по возвращении? Думаю, что поедет в Париж вместе с остальными.

– Ну, – это само собой разумеется. Первые месяц-два все мы только и будем посещать заседания всяких обществ, отклонять приглашения и отвечать на идиотские вопросы. И не воображайте, что вам удастся избегнута уготованной всем нам участи – быть очередной знаменитостью.

Рене рассмеялся, но глаза его слались серьёзными.

– Я уступлю свою долю почестей Гийоме. У меня другие планы. Возможно, в этом году я совсем не попаду в Париж. Из Марселя я сразу отправлюсь домой, в Бургундию, а потом, наверно, в Лион. Но Феликс, вероятно, поедет с вами.

– Разумеется, но не об этом речь. Как он думает жить дальше?

– Он, кажется, собирается стать журналистом.

– Гм. Это неплохо, если он будет преуспевать. В противном случае дело дрянь. Бедность ему противопоказана.

– Вы хотите сказать?..

Маршан утвердительно кивнул головой.

– В скверной квартире и при плохом питании приступы старой болезни неизбежно возобновятся.

– Но ведь он был совершенно здоров последнее время и стал совсем другим человеком. Вы прямо-таки сотворили чудо.

– Да, его состояние заметно улучшилось. Удивительно, как он сумел так окрепнуть в условиях экспедиции, да ещё в таком климате. И всё же здоровье его слишком подорвано,

он не выдержит новых лишений. Если он не хочет опять свалиться, то должен жить в достатке. А у него, кроме жалованья, ничего нет.

– Да, но сейчас у него уже скопилась порядочная сумма. На первых порах ему хватит, а тем временем он подыщет себе работу.

Маршан немного помолчал, попыхивая трубкой.

– У меня куда больше денег, чем мне нужно, – начал он.

– Не вздумайте сказать это Феликсу! – воскликнул Рене, – он вам никогда не простит.

– Конечно, он трудный человек, но если бы вы...

– Будь у меня самого лишние деньги, я бы не рискнул предложить ему их. Даже своих ближайших друзей он держит на известном расстоянии. Он по натуре человек одинокий. Порой мне кажется, что ему никто не нужен.

Рене умолк и стал смотреть на воду.

– Дело в том, что мы все одиноки, – сказал Маршан. – Можно при случае спасти человеку жизнь или подлечить его – вот почти и всё, что один человек может сделать для другого. – И неожиданно добавил: – А мой сын умер совсем маленьким.

На другой день к вечеру, когда все трое вышли на палубу покурить, Маршан сказал Рене и Феликсу, что получил письмо от своего банкира и тот настоятельно советует поместить имеющиеся у доктора сбережения в одно очень надёжное и доходное предприятие. Не пожелают ли друзья воспользоваться этой возможностью? Рене отказался – ему предстояло в скором времени израсходовать почти все свои деньги, а Феликс принял предложение Маршана так просто, что доктор даже усомнился – нужно ли было прибегать к уловкам? «Мартель судит по себе, – подумал он. – Риварес слишком большой человек, чтобы придавать значение деньгам».

– А я понятия не имел, что мне с ними делать, – весело продолжал Феликс. – Быть держателем акций – какое приятное чувство обеспеченности! Если уж жить в Париже, носить сюртук и сотрудничать в газете, то нужно иметь и акции.

Маршан хмуро взглянул на Ривареса.

– Уж не собираетесь ли вы вести respectable образ жизни и сделать карьеру?

– Я н-не с-собираюсь утруждать себя respectableностью, а карьера для меня – слишком большая роскошь. М-мне хочется спокойно жить в своём уголке и избегать сырости.

– Труднодостижимая мечта для того, кто собирается устроить свой уголок рядом с Ниагарой.

Рене смотрел на них с удивлением. Он привык к перепалкам между Маршаном и Феликсом и обычно добродушно выслушивал их остроты, даже если не все понимал. Но на сей раз он неодобрительно покачал головой.

– Нехорошо это. Зачем же выливать на человека ушат холодной воды, если он хочет избежать сырости?

– На вас, например, я не стал бы его выливать, – отпарировал Маршан. – Ну а Феликсу, чтобы избежать сырости, придётся надевать дождевик.

И Рене и Маршана поразила горечь, прозвучавшая в ответе Феликса:

– Дождевики пригодны лишь на то, чтобы в них топиться. В дальнейшем, мой дорогой Панглос, я буду «возделывать свой сад». Философия и мадемуазель Кунигунда мне надоели.

– Не сомневаюсь, – отвечал Маршан. – А мадемуазель Кунигунде вы тоже надоели?

Огонёк сигары Феликса прочертил в темноте резкую линию.

– «Она судомойка, она безобразна», – прошептал он и, встав, пошёл прочь своей прихрамывающей, но мягкой походкой. Он шагал по палубе из конца в конец, и огонёк его сигары то появлялся, то исчезал.

– Возможно, она и безобразна, но хватка у неё цепкая, – сказал Маршан. Он повернулся к Рене и угрюмо произнёс: – Если вы ему друг, не выпускайте его из виду. Он на опасном пути: он думает, что будет жить как простые смертные.

– Дорогой доктор, – отвечал Рене, – неужели вы до сих пор не уразумели, что если вы и Феликс хотите, чтобы я вас понимал, вам не следует выходить за пределы, доступные моему пониманию. Я не имею ни малейшего представления, о чём шла речь. Если вы – Панглос, а он – Кандид, кто же тогда Кунигунда? Что до меня, то я могу претендовать лишь на роль старухи зрительницы.

Маршан расхохотался.

– Нет. Вы будете добродетельным анабаптистом, и вас выбросят за борт.

Вдоль дороги, ведущей в Мартерель, цвёл душистый майоран. Рене старался слушать радостные излияния Анри, но сердце его стучало, как молот, а запах любимых цветов Маргариты вызывал на глазах слезы. Даже протяжный бургундский говор попадавших на дороге крестьян звучал для него музыкой.

Рене поднял голову и поглядел на серую башню. В окне Маргариты виднелось лицо, обрамлённое облаком чёрных волос. Он наклонился и сорвал веточку майорана.

Маркиз деликатно увлѣк Анри за собой, чтобы Рене мог подняться к сестре один. Полчаса спустя в гостиной было получено весѣлое приглашение выпить кофе в комнате Маргариты, так как «я не в силах отпустить его даже на минуту». Наверху смеющийся, раскрасневшийся Рене поливал сливками принесѣнную Розиной малину. Бланш, жена Анри, удивлѣнно раскрыла глаза: еѣ некрасивую, бесцветную невестку невозможно было узнать – на щеках играл нежный румянец, большие глаза сияли, тѣмные волны распушѣнных волос закрывали плечи. Девушка связывала букетики цветов.

– Сегодня все должны быть красивыми. Рене, дай отцу резеду, он любит душистые цветы. Ах нет, тѣтя, не вынимайте из волос лаванду, она так хорошо гармонирует с сединой. Приколи себе на грудь ноготки. Розина, и дай один Жаку, пусть воткнѣт в петлицу. А теперь, Анри, расскажи нам все, но порядку. Где вы встретились? В Дижоне? Как же ты его узнал с этой смешной бородой? Тебе придѣтся побриться, Рене, не могу же я терпеть, чтоб мой брат походил на лесного дикаря.

– Так я и есть лесной дикарь, – засмеялся Рене. – Вы не представляете, как я одичал. Когда мы снова увидели фруктовые ножи и салфетки, вряд ли кто-нибудь, кроме Феликса, сообразил, для чего они нужны.

– Почему же «кроме Феликса»?

– Не знаю. Вы поймѣте, когда увидите его. Изящество у него в крови. Он сидит на тощем бразильском муле так, как будто под ним чистокровный скакун. В этом он похож на отца.

– В чѣм «в этом»? – озадаченно спросил Анри. Маргарита весело рассмеялась:

– Видишь ли, бывают люди словно «рождѣнные в пурпуре». Если бы отец надел на себя нищенские лохмотья, его бы приняли за переодетого принца.

– Не знаю, – сказал Рене, глядя в тарелку. – Лохмотья сильно меняют человека, – кто бы их ни носил.

– Кто этот Феликс? – спросил маркиз. – Тот, что спас вас всех от дикарей?

– Да, сударь, Феликс Риварес. Это мой лучший друг. Надеюсь; вы все скоро его увидите.

– Фамилия как будто испанская, – вставила Бланш. – Откуда он родом?

Рене ответил не сразу – ложь жгла ему язык.

– Он из Аргентины.

– Из Южной Америки? И он приехал с вами сюда? А он раньше бывал в Европе?

– По-моему, нет.

Оживление сбегало с лица Маргариты. Подняв глаза, она встретила взгляд отца: он тоже недоумевал, почему при одном упоминании об этом друге из Аргентины голос Рене дважды дрогнул.

На следующий день были распакованы ящики со всякими диковинками и слуг позвали получать подарки. Рене никого не забыл. Когда вынули плетѣную корзинку с записочкой «Марте», Рене быстро взял еѣ из рук брата и, отозвав Розину в сторону, передал ей этот подарок.

– Её упаковали ещё до того, как я узнал о смерти вашей матери. Может быть, вы возьмёте её на память о ней. Это и для меня горе, Розина. Когда мы были маленькими, она была к нам так добра.

Вернувшись к ящикам, Рене увидел, что Анри уже открывает следующий.

– Осторожнее, – сказал он. – В этом ящике оружие индейцев, есть и отравленное.

– Зачем оно тебе?

– Тут не все моё. Большая часть принадлежит Феликсу. Он коллекционирует оружие. Я просто уложил его приобретения вместе со своими.

– А это тоже его?

Анри вынул плоский пакет с надписью «Феликс».

– Нет, это моё. Тут карандашный портрет Феликса. Его сделал художник, ехавший с нами на корабле.

– Взглянуть, я думаю, можно? – сказал Анри, развязывая бечёвку.

Анжелика подошла поближе, заглядывая через плечо племянника.

– Ах, дайте и я взгляну. Мне так хочется посмотреть, каков он собой. Он красив? Говорят, испанцы красивы. Этьен, не правда ли, странно, что мы обязаны спасением нашего дорогого Рене человеку, которого ни разу не видели. Я убеждена, что мы полюбим его. О...

Она болтала, не замечая выражения лица Рене. Когда она, вскрикнув, вдруг умолкла, Маргарита слегка вздрогнула и потупилась.

– Какое странное лицо! – воскликнула Анжелика. – Нет, Бланш, я с тобой не согласна. Он довольно красив, я бы даже сказала – замечательно красив, только... Посмотрите, Этьен.

Маркиз не спускал глаз с Рене.

– Можно? – спросил он мягко.

– Конечно, сударь.

Маркиз глядел на портрет и молчал. Так вот он – человек, лишивший его последней надежды. Он мечтал, что когда-нибудь, когда Маргарита уже вылечится и будет счастлива, а все былые невзгоды позабудутся, он станет для Рене другом – быть может, самым близким его другом. Теперь это невозможно.

– Благодарю, – сказал он наконец и положил портрет на стол.

– Вам это лицо ничего не напоминает, Этьен? – спросила Анжелика.

– Напоминает. Но не чертами, а выражением. Картину в Лувре – «Святой Иоанн» Леонардо да Винчи. Я рад, Рене, что он твой друг, а не враг.

– Я тоже, отец.

Анжелика огорчилась: слова маркиза показались ей чуть ли не богохульством.

– Я никогда не была в Лувре, – сказала она. – Но мне не верится, чтобы художник, кто бы он ни был, мог нарисовать святого таким: О, только не подумай, дорогой, что мне не нравится твой друг. Я никогда не забуду, чем мы ему обязаны. Может быть, это

просто так нарисовано. У него такое выражение лица... оно напоминает...

Рене как-то странно, натянуто рассмеялся.

– Может быть, кошку? Один бельгиец, член нашей экспедиции, говорил, что пантеры, бродившие по ночам вокруг нашего лагеря, напоминали ему Феликса. Сам я этого сходства не замечал, но бедняга Гийоме, вероятно, был нелестного мнения о нас всех – мы не были с ним особенно любезны.

– Отчего же? – спросила Бланш. Рене пожал плечами и сухо ответил:

– Мы его недолюбливали.

Внимание Анжелики привлёк головной убор из перьев, который Маршан подарил Рене, и она не заметила, что Маргарита даже не взглянула на портрет.

Когда Рене пришёл вечером к сестре пожелать ей доброй ночи, она попросила принести ей портрет и, оставшись одна, долго с тоской смотрела на красивое, опасное лицо. Художник был искусным мастером, хотя ничего не знал о человеке, который ему позировал. На портрете Феликс улыбался, лицо его было наполовину в тени.

– Я его ненавижу! – простонала Маргарита, прикрыв рукой глаза. – Ненавижу!

Потом бессильно опустила руки. Чудовищно ненавидеть человека, который спас Рене от мучительной смерти. И ведь в его лице нет ничего отталкивающего. Таким могло быть лицо ангела, если бы не эта улыбка...

Утром Маргарита, не проронив ни слова, вернула портрет брату.

– Спасибо, дорогая, – тихо сказал он, заворачивая его в бумагу. – Ты права, ты – моя прежняя Ромашка.

Он сам не понимал, почему его обрадовало, что она не стала говорить о портрете при всех и даже не посмотрела на него.

– Он действительно так красив? – немного погодя спросила она.

– Мне трудно судить. Он мне слишком близок. Для меня он красив.

– И он действительно такой... – Она оборвала себя на полуслове, чуть было не сказав: «ядовитый». – А впрочем, я не стану ни о чём тебя расспрашивать. Узнаю, когда познакомлюсь с ним, после Лиона. Я ведь тогда многое узнаю. Да, Рене?

Он посмотрел на тонкую руку, лежавшую в его руке.

– Ромашка, дорогая, ты уверена, что действительно хочешь ехать в Лион?

Она взглянула на него с нежной, чуть насмешливой улыбкой.

– Неужели после всех этих лет ты так плохо знаешь меня? Ах ты дурачок! Для чего тогда я потеряла тебя на целых четыре года? Ради чего ты рисковал жизнью? Чтобы всё оказалось напрасным, оттого что я испугалась пустячной боли?

– Боль будет совсем не пустячная. Когда ты решилась на операцию, тебе ведь было всего восемнадцать лет.

– Все пустяк по сравнению с тем, когда лежишь ночью не смыкая глаз и гадаешь: «Быть может, он сейчас умирает от лихорадки? Или уже умер? Или его растерзали хищники?» Мне снилось, что ты умер от голода, утонул, что тебя растерзали на куски. Я представляла, как отец смотрит на меня и думает: «И все из-за неё». После четырех

лет таких мучений невольно повзрослеешь. Теперь мне уже далеко не восемнадцать и даже не двадцать два. Меня не испугает боль, которую причинит мне Бонне.

Рене наклонился и поцеловал сестру в лоб.

– Раз так, лучше ехать поскорее. Я напишу Бонне.

– Он ждёт нас. Месяц тому назад я написала ему, что ты возвращаешься и мы, вероятно, скоро приедем. Ведь ты всё время будешь со мной, Рене, правда? Ты знаешь, я не верю в бога, и у меня нет другой опоры, кроме тебя.

Они выехали в Лион на следующей неделе, взяв с собой Розину. Бонне приступил к лечению почти сразу. Он был так же резок и грубоват, как Маршан, но вскоре брат и сестра почувствовали, что он относится к ним с той же скрытой нежностью» что и Маршан.

– Она молодчина! – говорил он Рене. – Мужественная девушка.

Мужество было Маргарите действительно необходимо. С самого начала стало ясно, что лечение, даже если всё пойдёт хорошо, будет длительным и болезненным. Месяца через три Бонне заявил, что способ лечения, к которому он прибегнул, не даёт результатов и он должен попробовать другой.

– Предупреждаю, – хмуро заявил он, – я не могу поручиться, что и эта попытка будет последней. Случай трудный. Маргарита молча закрыла рукой глаза.

– Так как же? – немного помедлив, спросил Бонне. – Желаете прекратить лечение?

Девушка нашла в себе силы рассмеяться.

– Прекратить лечение? Боюсь, что вы так же чувствительны, как мой брат! Посмотритесь-ка в зеркало вы оба – ну, видали вы когда-нибудь такие скорбные физиономии? Совсем как у тёти Анжелики. Вся разница в том, что вы не расплакались. Рене повернулся к доктору.

– Как видите, она решила не прекращать лечения. Убеждать её напрасно.

– Совершенно верно, – весело подхватила Маргарита. – Так же как я напрасно убеждала тебя не ездить в Эквадор. Теперь условия диктую я.

Феликс тем временем, казалось, усердно «возделывал свой сад».

Рене, который мучился, глядя, как борется с болезнью сестра, не в силах ей чем-либо помочь, и для которого осень и зима, проведённые в Лионе, тянулись страшно медленно, изредка получал письма от Маршана, Бертильона и самого Феликса.

Париж встретил Ривареса приветливо. Дюпре рассказал на банкете историю с соколом, и она имела огромный успех, а острый язык и бархатный голос Ривареса довершили остальное – он стал популярен. Две крупные газеты уже пригласили его на постоянную, хорошо оплачиваемую работу, так что бедность ему не угрожала. В январе Маршан писал: «Теперь я уже не так тревожусь за его здоровье: он с каждым месяцем становится все крепче. Когда мы приехали в Париж, я посоветовал ему показаться моему старому коллеге Леру и теперь более чем доволен результатами. Феликс как пациент, да и во всём остальном, являет собой образец благоразумия – тщательно соблюдает все указания относительно диеты и режима; работает спокойно, не переутомляясь; заводит влиятельных друзей, не поступаясь собственным

достоинством; блещет остроумием, не злобствуя и приобретает репутацию знатока, не задевая других. Между прочим, его коллекция туземного оружия быстро пополняется: он обнаружил удивительное умение добывать его в самых неожиданных местах. Со временем она будет представлять немалую ценность, а пока это всего лишь безобидное и не слишком дорогостоящее увлечение. Женщины, разумеется, бросаются ему на шею, но несомненно погубят его жизнь не они. А сейчас он старательно, камень за камнем, строит её. Боже, помоги глупцу!»

Это письмо встревожило Рене. Уже второй раз Маршан намекал, что Феликсу угрожает какая-то опасность. Почему с ним должно что-то случиться? Разве мало он уже перенёс? Отчего ему не преуспевать сейчас? Ведь он заслужил это своей энергией, своими талантами. Просто Маршан не может забыть несчастий, которые ему пришлось пережить самому, и повсюду видит лишь козни и трагедии. Самая его привязанность к Феликсу и питает эти страхи. Как будто в мире мало подлинного горя и нужно ещё выдумывать несуществующие беды. Придя к такому заключению, Рене перестал тревожиться.

Письма самого Феликса были неизменно радостны и забавны. Они приходили регулярно и, хотя в них чувствовалось стремление подбодрить друга, искрились непринуждённым весельем. Для Рене их ласковая живость была словно мелькавший раз в неделю луч солнца. Он читал многие письма Маргарите, – ему казалось, что они должны придать бодрости и ей.

Под новый год на имя Маргариты пришла чудесная гравюра – сражающийся гладиатор. «Я беру на себя смелость послать вашей сестре эту гравюру, хотя до сих пор знаком с ней только через вас, – писал Феликс. – Но это уже немало, и я надеюсь, она позволит мне считать себя её старым другом».

Маргарита в любезном письме поблагодарила друга Рене за подарок и в разговоре с братом очень мило отозвалась о нём, но за этим последовал приступ непонятной раздражительности, и в конце концов она безудержно разрыдалась. Рене приписал это чрезмерному нервному напряжению. На другое утро Маргарита проснулась в самом радужном настроении, смеялась над тем, что «была такой злокой», и Рене даже в голову не пришло связать эту вспышку с новогодним подарком.

В марте Рене поехал на три недели в Париж. Официальный отчёт об экспедиции был подготовлен для публикации, и Рене предстояло проверить карты. Кроме того, он получил письмо от Дюпре, который приглашал его на ежегодный банкет Географического общества. Он представит Рене влиятельным лицам, с помощью которых Рене сможет, как только освободится, получить место. Необходимость подумать о заработке заставила Рене принять приглашение полковника. Но ему так не хотелось оставлять Маргариту одну, что ей пришлось самой настаивать на его отъезде. Как всегда в трудные минуты, она обрела ещё большее мужество.

– И не спеши назад. Я хочу, чтобы ты весело провёл время в обществе своего друга, ухаживал за каждой хорошенькой женщиной и вообще пожил в своё удовольствие. Глядя на тебя можно подумать, что ты собираешься не в Париж, а в Сахару! Со мной ничего не случится, глупыш. Нет, за тётей посылать не надо. Я не хочу, чтобы она тут суежилась. Розина будет прекрасной сиделкой, а когда ты вернёшься, у нас, быть может, будет чем тебя порадовать. Мне думается, на этот раз дело пойдёт на лад.

Рене не стал возражать. Он уже столько раз это слышал, что начал отчаиваться.

Приехав в Париж, он огорчился: Феликс только что уехал в Лондон, чтобы встретиться с издателем журнала, для которого он взялся написать серию статей. Он надеялся вернуться к банкету Географического общества и просил Рене в письме если возможно, дождаться его. Но Рене не терпелось вернуться в Лион, – его угнетали думы о страдающей в одиночестве Маргарите. Только неотложные дела не дали ему уехать до банкета.

Вынужденный остаться в Париже, он старался почаще видаться с Маршаном и, как это ни странно, узнал его за эти три недели гораздо лучше, чем за четыре года, проведённые вместе в экспедиции. Они понравились друг другу с самого начала, но застенчивость Рене и чёрная меланхолия, владевшая доктором, препятствовали их сближению. А теперь перед Рене впервые расступилась стена цинизма, которой Маршан отгораживался от ближних. Резкость Маршана не отталкивала больше Рене, и доктор стал как-то по-человечески более доступен.

Этнология была для него только временным занятием, дававшим пищу неумолимому, не способному бездействовать мозгу. Она лучше, чем вино, помогала ему забыться и проливал свет на пережитки дикости, которые все ещё встречаются цивилизованных людей. Но всё же это была не психиатрия

Теперь, хотя он уже не мог заниматься частной практикой, Маршан вернулся к своему настоящему делу. Он возглавил большую психиатрическую лечебницу и занимался изучением тех причин мозговых заболеваний, которые могут быть устранены. Маршан исследовал влияние испуга на детскую психику и его выводы, хотя и слишком сложные для понимания большинства родителей, могли серьёзно помочь вдумчивым врачам в их практике.

– Если я выпущу хотя бы одну книгу, – как всегда неожиданно и резко бросил он как-то Рене, – тогда моё дело будет сделано.

Феликс не успел встретиться с Рене до банкета. Когда Рене вошёл в зал, ему сразу бросился в глаза оживлённый кружок гостей, заслонявших того, кто находился в середине. Гийоме небрежно кивнув, подошёл к Рене и с ядовитой усмешкой взглянул на весёлую группку.

– Кажется, наш друг захватил все наши лавры. Я бы не сказал, что это очень красиво, а?

Кружок распался, и Рене увидел в центре чёрную голову Феликса. Он смерил бельгийца взглядом.

– Говорить гадости о том, кто спас вам жизнь? Вы правы, это не очень красиво, но когда человек спасает многих, то среди них может оказаться и несколько мелких душонок.

Он повернулся спиной к онемевшему Гийоме и пошёл через зал, задерживаясь то здесь, то там, чтобы обменяться приветствиями с приятелями и однокурсниками. Из толпы, окружавшей Феликса, раздался новый взрыв смеха. Сердце Рене сжалось. Глупо, конечно, обращать внимание на карканье Маршана; все это, конечно, чепуха. Но ведь душой общества Феликс бывал, лишь когда случалось что-нибудь неладное.

Обед тянулся томительно долго. Рене не спускал глаз с Феликса. Тот сидел от него

довольно далеко, и они лишь кивнули друг другу через стол, но лихорадочно блестящие глаза, заикающаяся речь и неиссякаемый поток остроумных шуток сказали ему много. После обеда начались речи – скучные, высокопарные, серьёзные, шуточные, хвалебные. В них то и дело упоминалась работа экспедиции Дюпре и приключения её участников, так как этот банкет был первым после возвращения их на родину. Дюпре торжественно поблагодарил собравшихся. Маршан со скучающим видом сказал после него несколько общепринятых фраз.

Среди рукоплесканий и смеха поднялся Феликс. Он был самым популярным членом экспедиции, и всем хотелось его послушать. Его речь вызвала взрыв веселья и гром аплодисментов. Рене все происходящее казалось отвратительным. Этот человек из искр, льда и жести не был Феликсом, и даже если это была маска, Феликсу следовало бы выбрать другую.

Гости уже начинали расходиться, когда им наконец представилась возможность поговорить друг с другом; и первое, что сказал Феликс было:

– Как здоровье вашей сестры?

– Все так же. Бонне по-прежнему полон надежд. Не могу сказать того же о себе.

– А она?

– Она старается поддержать в нас бодрость.

– Вы уезжаете завтра?

– Да, я хотел отправиться утром; но раз вы здесь, я поеду вечерним дилижансом, если вы, конечно, сможете уделить мне завтра немного времени. Мне бы хотелось кое о чём поговорить с вами.

Феликс почему-то заколебался.

– В таком случае, может быть, вы заглянете ко мне завтра утром? Я не уверен, что смогу прийти к вам.

– Очень хорошо. Мне давно уже хотелось взглянуть на вашу коллекцию. Я приду часов в двенадцать, только... – Рене умолк.

– Да?

– Случилось что-нибудь неприятное? Феликс поднял брови.

– Со мной? Нет, со мной теперь ничего неприятного не случается.

Тем не менее, приехав в полдень к Феликсу, Рене был готов к самому худшему.

– Что происходило с вами вчера вечером? – спросил он, внезапно оторвавшись от созерцания развешанных на стене стрел, палиц и духовых трубок.

– Со мной?

– Да, с вами. Я был в ужасе, видя, как вы изощряетесь. Знаете, мне даже показалось на минуту, что у вас опять начинается приступ.

– Мне тоже так показалось, – тихо ответил Феликс.

– Феликс? Неужели...

– Нет, нет, кажется всё обошлось. Я попал в пути под дождь, насквозь промок и несколько часов не мог обсушиться. Вчера перед вашим приходом я рассказал об этом

Маршану, и он поднял такую панику, что совсем меня перепугал. Он считает, что достаточно одной серьёзной простуды, и все может возобновиться. Я не хотел, чтобы вы об этом узнали.

– А Леру вы показывались?

– Я только что получил от него записку. Он пишет, что вчера поздно вечером к нему заходил Маршан и сегодня утром он ко мне заглянет. Смешно, право, как они оба любят поднимать шум из-за пустяков. Волноваться-то ведь совсем нечего... Все бы давно уже началось...

– Вы уверены?

– Я уверен, что я жалкий трус, а Маршану лучше бы помолчать, – свирепо отрезал Феликс.

– Феликс! Почему же вы не сказали мне вчера?

– Зачем? Чтобы вы отправились ко мне домой и провели перед поездкой в-весёленькую ночь, шагая по комнате? Из-за того что я трус, вы должны лишаться сна? Вот и Леру, это его звонок. Только бы он сдержал свои чувства. Эти доктора до смешного мягкосердечны. Казалось бы, они-то уж достаточно всего нагляделись и могли привыкнуть... Здравствуйте, доктор! Как только Маршану не стыдно б-беспокоить вас по пустякам! Уверяю вас, я здоров как бык. Нет. Рене, не уходите.

Тщательно осмотрев и расспросив Феликса, Леру уселся в кресло и, победоносно улыбаясь, оглядел друзей.

– Великолепно! Ни одного зловещего симптома. Промокни вы так год назад, последствия наверняка были бы серьёзными. Позвольте, сколько же времени прошло с последнего сильного приступа? Года три? Ответил Рене:

– Последний тяжёлый приступ был три с половиной года тому назад. После него было несколько лёгких приступов, но с тех пор как мы уехали с Амазонки – ни одного.

– Мне кажется, – сказал Леру, – я могу с уверенностью сказать, что болезнь прошла.

Феликс молча взял сигару и стал вертеть её между пальцами.

– Так вы считаете, что он уже совершенно вне опасности? – спросил Рене. – И приступы никогда больше не повторятся?

– Если только что-нибудь не вызовет болезнь снова. Здоровье его никогда уж не будет особенно крепким. Имейте в виду, – резко повернулся он к Феликсу, – экспедиции в тропики и сражения вам противопоказаны. А в остальном, если исключить кораблекрушение, – вы в такой же безопасности, как и все мы. Будьте благоразумны и не подвергайте свой организм новым встряскам. В целом, я думаю, можно считать вас излечившимся.

Феликс сунул сигару в рот и медленно закурил с видом человека, которому рассказали что-то очень смешное.

– Н-неужели? До чего же любит пошутить над нами господь бог! Всегда чем-нибудь удивит! А это что-то совсем новенькое, – все другое, наверное, н-немного п-приелось. Премного вам благодарен. Действительно, нельзя меня не поздравить, не так ли? Да, да. Я знаю, что вы страшно заняты, доктор. Не смею вас больше

задерживать!

Едва за доктором захлопнулась дверь, Риварес в бешенстве повернулся к Рене. Внезапно его начало трясти.

– А, чтоб вас, Рене... Уходите! Оставьте меня хоть на минуту... Чёрт бы побрал Леру и его поздравления!

Необычайным напряжением воли он взял себя в руки и стал сыпать словами:

– Вы помните, Рене, как в долине Пастасы Маршан внушал мне, что для спасения души полезно кричать, когда дела обстоят плохо? Но всякий совет можно дополнить. Вот сейчас я поднимаю немислимый шум, когда знаю, что всё в порядке. Не совсем логично, не правда ли?

На губах Рене появилась чуть заметная улыбка. Он понял, что в эту минуту лучшим доказательством дружбы будет какая-нибудь длинная тирада.

– Мне редко выпадает честь понимать ваши действия, – сказал он, – но однажды я свалил страшного дурака, потому что то, чего я боялся, не случилось. И как ни странно, я испытывал не чувство облегчения, а досаду: меня бесило, что я целый день набирался храбрости, а она мне так и не понадобилась.

Рене не объяснил, чего именно он боялся, и Феликс, уже вполне овладевший собой, бросив взгляд на Рене, подумал: «Что-нибудь с его сестричкой. Интересно, что чувствуешь, когда тебя так любят?»

Рене заговорил, оборвав его размышления:

– Между прочим, вам не кажется, что вы были жестоки с беднягой Леру?

– С Леру? Что вы имеете в виду?

– Да вы просто огорошили его своим богохульством, а ведь вам известно, как много значат для него всякие условности.

– Мне хотелось отделаться от него.

– Я знаю. Но всё равно, не надо говорить такие вещи людям, которые их не понимают. Кто знает вас ближе, тот быстро к ним привыкает, но вначале меня это тоже огорчало.

– Вас? Пожалуй. Вы же питали ко мне слабость.

– А Леру. по словам Маршана, вас чуть ли не боготворит. Неужели для вас это новость? Несмотря на весь ваш ум, вы порой бываете удивительно недогадливы.

– Да я с ним едва знаком! Только лечусь у него.

– Что из того... Вряд ли вы очень коротко знакомы с вашей квартирной хозяйкой, но мне рассказывали, что она горько плакала, когда вы уехали в Лондон. А её сынишка, который чистит вам ботинки, бережёт монетку, полученную от вас в Новый год, и не хочет её тратить. А как по-вашему, почему в кафе Преньи меня обслуживают лучше других? Да потому, что кельнеры обожают вас, а Бертильону вздумалось сказать им, что я ваш друг.

– Всё это глупости, Рене. Никто из них ни разу не дал мне понять...

– Ещё бы! Они вас слишком боятся. И всё же у вас не меньше поклонников, чем

у... Феликс расхохотался.

– «О боже! Твой единственный шут!» Сейчас я многим нравлюсь – оттого лишь, что я корчу из себя шута и всех развлекаю. Стань я на минуту самим собой, и все обратятся против меня.

– Все? Маршан, например?

– Маршан хорош, когда не кладёт тебя под микроскоп. Оказывается, вивисекторы вне стен своей лаборатории народ очень добрый. Но в большинстве своём люди относятся к тебе хорошо, лишь когда ты не доверяешь им и не показываешь, что тебе больно.

– Ну, Маршан-то, положим, видел всего этого предостаточно.

– Не надо! Что-то я сегодня места себе не нахожу... Неужели она действительно прошла навсегда? Подумать только – навсегда! А вдруг он ошибся? Что же мне тогда делать? Придётся положить этому конец. Я больше не выдержу... Однако, Рене, вам надо успеть к вечернему дилижансу. И захватите для вашей сестры куст роз, он дожидается вас на станции.

– Когда же вы успели достать цветы?

– Я послал за ними сегодня утром. В магазине не нашлось тех тёмно-красных бархатных роз, которые, вы говорили, она так любит. Пришлось взять белые.

Рене внёс розы в комнату Маргариты и развернул корзину. – Девушка, ревниво наблюдавшая за ним, подумала: «Будь эти цветы от кого-нибудь другого, Рене не трогал бы их таи осторожно».

Злая неприязнь к незнакомому другу Рене стала для неё постоянным источником мучения. В жизни Маргариты любовь брата была единственной радостью и утешением. Сейчас, как и все эти двенадцать лет, в нём был сосредоточен весь её мир, и до прошлого лета ей думалось, что и она для брата – все. Но когда Рене вернулся домой, оказалось, что в его мире теперь два центра, что ещё кто-то завладел его привязанностью. Для Маргариты это было тяжким ударом. Она полагала, что любовь не может быть беспредельной и чувство, питаемое к одному человеку, неизбежно ослабляет любовь к другому. Прежде Рене любил её одну, теперь его любовь разделилась между ней и Феликсом, и значит – этот счастливый, блестящий, преуспевающий Феликс, которому и так выпало на долю гораздо больше того, что заслуживает один человек, украл у неё половину её единственного сокровища. Она не могла понять, что эта дружба возвышала её брата и тем самым обогащала и её.

Однако, если бы не Феликс, она бы потеряла Рене навсегда, – об этом тоже нельзя было забывать. Она, терзаясь, упрекала себя в неблагодарности, но, вспоминая, какие права имел на её расположение этот незнакомец, ненавидела его ещё больше.

Если бы Маргарита знала, что Феликс болен, она, возможно, отнеслась бы к нему снисходительнее. Но Рене обнаружил, что не может ни с кем говорить об этом, – в его сознании болезнь Феликса была слишком тесно связана с чужой трагической тайной. Он инстинктивно страшился освежать в своей памяти-то, что открылось ему в долине Пастасы. И Маргарита считала, что, кроме «лёгкой хромоты», в жизни Феликса нет никаких неприятностей. И она ненавидела этого человека, у которого всё обстояло благополучно. Ненавидела и цветы, присланные им. Только из боязни огорчить брата

не приказала она выбросить эти розы и терпела их в своей комнате. Глядя на недолговечное, дорогостоящее великолепие цветов, Маргарита повторяла себе, что когда человек богат, здоров и осыпан всеми милостями судьбы, ему ничего не стоит зайти в цветочный магазин и заказать для калеки дорогие розы.

Боясь сделать Рене больно, Маргарита не открывала брату чувств, которые питала к его другу. А Рене, никогда не знавший ревности, даже не догадывался о том, что творилось в душе сестры. Ему всегда казалось, что человек, дорогой тому, кого ты любишь, светом этой отражённой любви становится дорог и тебе, даже если ты его не знаешь. Он не представлял себе, как можно, любя его, не полюбить и Феликса; и не потому, что Феликс спас ему жизнь, а потому, что он сделал её такой полной.

Наконец настало лето. Несмотря ни на что, Маргарита продолжала упрямо надеяться. После одиннадцати месяцев неудач и разочарований она всё ещё поддерживала в брате мужество. Родные в письмах умоляли её отказаться от бесполезной, мучительной борьбы. Маркиз приехал в Лион, чтобы попытаться уговорить её. Но она только упрямо качала головой и, стиснув зубы, твердила одно: «Я не откажусь, пока не откажется Бонне».

Тяжелее всего было то, что Рене пришлось опять расстаться с сестрой, и на целых два месяца. Ему предложили на севере Франции временную хорошо оплачиваемую работу, а длительное лечение стоило так дорого, что он не мог отказаться. На этот раз Маргарита позволила тётке заменить брата.

Возвратившись осенью в Лион, Рене сразу понял, что дела идут хорошо. Впервые за всё время лечения состояние сестры заметно улучшилось. Спустя месяц всем стало ясно, что упорный недуг наконец сдаётся. Лечение постепенно становилось всё менее мучительным, и по мере того как болезнь проходила, улучшалось и общее состояние больной.

– Ещё несколько месяцев, – сказал Бонне, и вы будете вполне здоровы.

– Ещё несколько месяцев! А я думала... Маргарита умолкла, и нижняя губа у неё задрожала.

– Терпение! Некоторое время я ещё не разрешу вам двигать ногой, а потом вам придётся заново учиться ходить.

– Ты так долго терпела, дорогая, – мягко сказал Рене, – потерпи ещё немного.

– Несколько месяцев! – повторила больная и подняла глаза на брата. Значит, в будущем году мы всё-таки снимем в Париже квартиру.

И у Феликса дела шли хорошо. Чувствовал он себя прекрасно, в Париже и Лондоне за ним упрочилась репутация талантливого журналиста; в обеих столицах у него было много друзей, а врагов – не больше, чем у любого человека, быстро сделавшего блестящую карьеру. Со временем многие начали обнаруживать, что под блестящим остроумием Ривареса скрывалась масса самых разнообразных познаний. Встретив как-то на званом обеде одного весьма учёного и красноречивого кардинала, Риварес ошеломил присутствующих, затеяв с ним спор относительно писаний греческих отцов церкви. В конце концов кардинал вынужден был признать, что допустил ошибку в датах.

– Сдаюсь, господин Риварес. Если бы я подозревал, что вы чувствуете себя среди

трудов Иоанна Златоуста как дома, я был бы более осторожен.

– Я должен извиниться перед вашим преосвященством: я забыл, что «золотые уста» принадлежат законному наследнику.

Кардинал улыбнулся.

– Боюсь, что у вас золотые уста льстеца.

– Откуда вы все это знаете, Риварес? – спросил после ухода кардинала один из гостей. Феликс пожал плечами.

– Да так – займёшься то тем, то другим.

Его, очевидно, занимало многое. Иногда, если ему случалось встретить интересного человека, он оставлял свой обычный легкомысленно-шутливый тон. Так, например, однажды, на вторую зиму своего пребывания в Париже, он встретил в одном из фешенебельных салонов невысокого спокойного итальянца с прекрасными чёрными глазами и усталым лицом.

– Синьор Джузеппе... – невнятно произнесла хозяйка дома, торопливо представляя их друг другу.

Услышав фамилию известного политического эмигранта, Феликс с любопытством взглянул на своего нового знакомого и сразу заговорил по-итальянски о всяких пустяках. После первых же фраз эмигрант с удивлением посмотрел на своего собеседника.

– Но вы же... итальянец!

– О нет, я говорю по-итальянски, только и всего.

Риварес искусно допустил несколько грамматических ошибок.

Синьор Джузеппе искоса посмотрел на него и вскоре перевёл разговор с пустяков на Италию, а затем на политическое положение в стране.

Когда хозяйка через час снова подошла к ним, они все ещё разговаривали. В беседе приняли участие и другие гости. Говорили по-французски.

– О, да у вас тут настоящие политические дебаты, – заметила она. – Признайтесь, синьор, что, отправляясь сегодня на мой вечер, вы не ожидали обнаружить здесь такой интерес к Италии.

Итальянец поднял глаза и серьёзно улыбнулся.

– Я сам слушаю с интересом, сударыня. К сожалению, не многие из моих соотечественников так хорошо понимают положение дел в Италии, как господин Риварес, хотя их это касается непосредственно. Надеюсь, мы ещё встретимся, – добавил он, обернувшись к Феликсу.

Они обменялись визитными карточками, и через несколько дней синьор Джузеппе, приехав к Риваресу домой, продолжил прерванный разговор. Феликс нанёс ответный визит, но не сразу. «Хотя синьор Джузеппе несомненно один из замечательнейших людей нашего времени, – думал Феликс, – но он способен говорить только об одном». К тому же в Париже итальянца считали неисправимым конспиратором, вечно поглощённым тайными заговорами и политическими интригами. Феликс, как всякий решивший преуспеть журналист, считал себя бесстрастным наблюдателем жизни,

поэтому его все интересовало, но он не хотел заходить слишком далеко. И уж во всяком случае ему не хотелось чтоб его имя упоминали в связи с человеком, нажившим так много врагов. Он решил уклониться от дальнейшего знакомства. И как раз итальянская политика... Что угодно, только не это. Та самая итальянская политика, из-за которой он в девятнадцать лет погубил свою жизнь.

Эта дверь закрыта и заперта. Так чего же он хочет, заглядывая в замочную скважину? Ныне он – космополит, гражданин мира и быстро превращается в преуспевающего парижанина. Он помнит свою жизнь лишь с того момента, когда, одетый во всё новое, отправился с экспедицией в горы. Итальянские дела интересуют его столько же, сколько политическое положение любой другой страны. И если синьор Джузеппе не может говорить ни о чём другом, он найдёт в нём, как и во всяком образованном иностранце, лишь вежливого слушателя.

На сей раз, однако, итальянец совсем не касался политики, он оживлённо и 'занимательно беседовал о самых различных предметах. В дальнейшем они ещё несколько раз встречались и обменивались иногда несколькими ничего не значащими фразами, как люди, относящиеся друг к другу с дружелюбно-вежливым безразличием.

В апреле, в день ежегодного банкета Географического общества, Феликс, расположившись у окна в залитой солнцем гостиной, писал письмо Рене. Комнату наполнял аромат фиалок и нарциссов; за окном в лучах весеннего солнца сверкала река. И на душе у Феликса было солнечно. Хорошие вести о Маргарите обрадовали его так, словно он был знаком с сестрой друга и любил её. Она наконец по-настоящему излечилась и с каждым днём набирается сил и бодрости. Она уже научилась ходить на костылях, хотя это далось ей нелегко, выезжала в коляске вместе с Рене и два раза гуляла в саду. «В будущем месяце, – писал Рене, – мы уедем отсюда. На лето отправимся в Мартерель, а в сентябре думаем снять квартиру в Париже. Если мне удастся получить место в университете, мы будем вполне обеспечены. Маргарита надеется осенью познакомиться с вами. К тому времени она уже будет обходиться без костылей».

– Вас спрашивает какой-то господин, – сказала, входя, квартирная хозяйка.

То был синьор Джузеппе. Он заявил, что пришёл по делу. Не уделит ли ему господин Риварес несколько минут; он должен обсудить с ним один важный вопрос.

Феликс отложил письма, стараясь угадать, что же потребует от него синьор Джузеппе: денежной помощи для своей партии или серию статей о положении в Италии?

Он был крайне изумлён, услышав суть дела. В четырех северо-апеннинских легатствах готовится вооружённое восстание. Эти «маленькие частные преисподние» официально находятся под управлением кардиналов – папских легатов, на самом же деле там самодержавно правят их фавориты, вымогатели и любовники их любовниц. План таков: тайно снабдить оружием недовольных горцев; и по сигналу из городка в легатстве Болонья, переданному из провинции в провинцию при помощи зажжённых в горах сигнальных костров, вооружённые повстанцы двинутся к четырём главным городам провинций, возьмут приступом дворцы, захватят в качестве заложников легатов и продиктуют свои условия Риму.

Изумлённый Феликс не сразу нашёлся, что ответить.

– Прошу прощения, – наконец сказал он. – П-подобные планы либо пустая болтовня, либо должны держаться в строжайшем секрете. Почему вы говорите все это мне, иностранцу, человеку совершенно постороннему и вам почти неизвестному?

Синьор Джузеппе улыбнулся.

– Лично мне – неизвестному, это правда. Но постороннему...

– Да, – отвечал Феликс, прямо глядя ему в глаза. – Поймите меня, пожалуйста, правильно. Постороннему.

– Вы хотите сказать, что мы не можем на вас рассчитывать?

– На меня рассчитывать?

Синьор Джузеппе положил локти на стол и подпёр подбородок ладонями.

– Мне нужен человек, который помог бы организовать восстание. Он должен уметь обращаться с самыми отчаянными людьми, справляться с внезапными трудностями, должен уметь провести через горы людей и вьючных животных. И он должен знать, как заставить себе повиноваться. Здесь пригодился бы опыт, который вы приобрели в Южной Америке. Меня не интересует ни ваше прошлое, ни почему вы выдаёте себя за иностранца. У вас несомненно имеются на то свои причины. Я не прошу, чтобы вы мне доверились, – я доверяюсь вам. Я знаю, когда человеку можно верить. Ну как, вы согласны?

Феликс слушал молча, но в углах его рта трепетала лёгкая улыбка.

– Когда-то и я, синьор, был молод, – сказал он, выслушав итальянца.

Синьор Джузеппе кивнул.

– Вот именно, и вы будете молоды снова.

– О нет, не думаю, – пробормотал Феликс, подняв брови.

Гость не стал его убеждать, он отвернулся и принялся любоваться открывавшимся из окна видом. Несколько минут поболтали о пустяках. Феликс взглянул на часы.

– Я должен просить вас извинить меня. Сегодня предстоит ещё произнести речь на скучнейшем ежегодном банкете, и мне пора одеваться. Вероятно, мы больше не встретимся? При моём отношении к задуманному вами было бы насмешкой желать вашим друзьям успеха, но я пожелаю им благополучно вернуться назад и испытать не столь горькое разочарование, какое, боюсь, уготовано и им и вам.

– Благодарю, – невозмутимо отвечал синьор Джузеппе, – и раз вы к нам не присоединяетесь – прощайте. Что до меня, то я уезжаю завтра, время не ждёт.

Он взял свою шляпу и, почистив её рукавом, мимоходом добавил:

– Сегодня я ночую дома.

Феликс посмотрел на него из-под опущенных век.

– Да? И, разумеется, ляжете пораньше, чтобы хорошенько отдохнуть перед дорогой. Прощайте.

На банкете Риварес, оправдав ожидания собравшихся, несколько минут непринуждённо и изящно болтал о всяких пустяках, не приумножив, однако, своей славы остроумца.

Феликс, спускаясь по лестнице, услышал, как один журналист говорил другому:

– Конечно, он блестящий застольный оратор, но сегодня он не совсем в форме. Послушал бы ты его в прошлом году! Это был настоящий фейерверк!

Риварес обогнал журналистов и, улыбаясь, вышел на улицу. Да, сегодня он был «не в форме» и никогда больше не будет он «в форме»... Знали бы они, что вызвало прошлогодний «фейерверк»...

Да, в тот памятный вечер, год тому назад, он был так забавен, что все хохотали до слёз, а когда он сел на место, присутствующие стали барабанить по столу и кричать: «Продолжайте!» Он слушал смех, слушал аплодисменты, а в голове стучало: «Приступы возобновятся, и тогда останется только одно – выпить яд, только одно...»

Но теперь он в безопасности, в полной безопасности, «если исключить кораблекрушение». С этим кошмаром, как и со всей трагедией, со всеми муками его юности, покончено; и больше никогда не придётся ему отгонять демона страха напускной весёлостью. И никогда больше не бросится он в бездну, потому что какой-то друг оказался предателем, а какой-то бог – фальшивым идолом; он разделался с богами и с демонами и стоит ногами на твёрдой земле.

С друзьями он, правда, разделался ещё не полностью. Пожалуй, это было бы разумнее, но человеку приходится считаться со слабостями собственной природы: так уж он устроен, что не может жить совсем без привязанностей. Ну что ж, он позволит себе одного друга. Он и тут в полной безопасности: никакая дружба не сможет занять в его жизни такое место, чтобы это угрожало его душевному спокойствию, а привязанность Рене – хорошее прибежище от полного одиночества. Душа у Рене чистая, и он ни на что не притязает. Рене можно довериться – он никогда не станет допытываться, никогда не предаст... А если вдруг... И это не страшно. Страшно было только одно предательство, но это случилось так давно, что все уже изгладилось из памяти. Риварес перешёл через мост и свернул к острову Святого Людовика. Идти домой было ещё рано, он не чувствовал усталости, и чудесная ночь располагала к прогулке. Он всегда больше любил Париж ночью, к сейчас тишина вокруг гармонировала с глубоким спокойствием души, сбросившей павшее на неё в юности проклятье.

На мосту между двумя островами он остановился, бездумно глядя на отражение фонарей в спокойной воде, на клочья разорванных облаков, мчавшихся в небе, скрывая тонкий серп луны. Как ветрено и тревожно там, наверху! Какое спокойствие царит здесь, у дремлющей реки. Огни горят не мигая, и тени мирно спят под пролётами моста... Да, воистину ветер дует, где хочет, увлекая к гибели всё, что не прочно и шатко. А для него, в нём самом и вокруг него, царит мир...

Они шли на блеск твоих стрел, на сиянье копья твоего.

Выходи, выходи, мой народ,

Выходи на войну!

Я – пена

На гребне первой волны.

Волна, разбиваясь, уходит.

И вместе с ней пена.

Выходи, выходи, мой народ,

Встречать прилив.

Я – пламя  
На крыльях далёких туч.  
Приблизятся тучи —  
И молния гаснет.  
Выходи, выходи, мой народ,  
Встречать ураган!  
Я – знамя,  
Зовущее в битву.  
Проходит смерть —  
И ногами армий  
Растоптано знамя.  
Выходи, выходи, мой народ,  
Выходи на бой!  
Я – голос  
Грядущего гнева,  
Он, зазвучав, умолк.  
Задушенный тишиной.  
Но там, где гремел он,  
Трепещет имущий  
И ярко пылает  
Манящий огонь!  
Выходи, выходи, мой народ,  
Будут твоими и счастье, и солнце,  
И сладостный вольный воздух.  
И я, что не встречу рассвета,  
Захваченный тьмой,  
Я, которого выпустил ад,  
Чтоб вновь поглотить,  
И я буду с вами  
Шагать сквозь мглу.  
Выходи, выходи, мой народ,  
Выходи на войну!

Он вернулся из далей забытья и ударился о стену сознания.

Он по-прежнему стоял, облокотившись о парапет, но река была теперь иной. Тени облаков больше не закрывали месяца, и каждая струйка воды горела серебром. Он поднял глаза и в чистом просторе увидел сиявший серп, смятые облака прятались на горизонте – забытые, ненужные обломки, отброшенные в самый дальний край неба.

Воистину, ветер дует, где хочет, и увлекает к гибели людей и их замыслы...

В окне у синьора Джузеппе горел свет. Заспанная женщина отодвинула засов в парадном и посветила свечой на лестнице. При первом лёгком стуке итальянец отворил дверь и, ни слова не говоря, протянул вошедшему руку.

На столе ждал скромный ужин на двоих. Феликс сел в старое кресло около печки, и синьор Джузеппе молча подвинул ему сигары. Риварес взял сигару и прикурил от лампы. Рука его не дрожала.

– Так вот, – заговорил наконец итальянец, – что касается оружия...

## ГЛАВА VIII

Медленно спускаясь по крутой тропинке, Феликс едва держался в седле, пальцы его выпустили поводья, голова склонилась на шею лошади. Он так ослаб, что, попытавшись взобраться на лошадь, едва не потерял сознание, но пастухи больше не хотели его прятать. Они напомнили ему, что другие на их месте давно бы выдали его солдатам, – ведь за него обещана награда. А они позволили ему лежать у них в хижине целых две недели, потому что пожалели его и потому что не отдали бы в руки ищеек синьора Спинолы даже дворняги. Ведь они слышали, что творится в Болонье. Но приходится думать и о собственной безопасности. Только вчера опять видели отряд, разыскивающий повстанцев. В нынешние времена за укрывательство беглецов могут и пристрелить. Он хорошо заплатил, и им его от всей души жалко, но он должен уйти.

Лошадь скользила и оступалась на крутой тропинке, но качающийся в седле всадник не помогал своему коню. Его уже не волновало, что лошадь может упасть и сбросить его в пропасть. Если она упадёт, то он сломает себе позвоночник и несколько часов будет корчиться, а потом затихнет, и настанет конец. А если нет, преследователи все равно схватят его прежде, чем он успеет добраться до границы. Тогда конец будет более медленным и мучительным – побои и оскорбления, возвращение под конвоем в Болонью, тюрьма, подобие «судебного процесса». Но тем не менее это тоже конец; а как все произойдёт – не имеет значения. Для него теперь ничто на свете не имеет значения, ничто.

Он сделал всё от него зависящее. Восстание провалилось не по его вине. Он успешно справился со своей задачей, но горцы не откликнулись на сигнал. После схватки, закончившейся поражением повстанцев, он отвёл остатки своего отряда в самое безопасное место, дал им необходимые указания и ушёл от товарищей ради их собственного спасения. Карательные отряды, прочёсывавшие предгорья, не пощадили бы никого из пойманных вместе с ним. Даже если его не узнают, сабельная рана на щеке, полученная в стычке с карабинерами, сразу изобличит его, и всех расстреляют на месте. Он ушёл один, пешком, надеясь добраться до Тосканы. Он кружил, заматывая следы, лгал, разыграл целое представление и одурачил даже солдат, у которых было описание его наружности, а когда они уснули, ускакал на их лошади и почти добрался до границы. Но тут – о, он здесь ни при чём – всему виной рана на щеке. Он приоткрыл захлопнутую дверь и вызвал призрак прошлого. На миг он утратил рассудок, и раз его не смогли погубить враги, погубил себя сам.

Он повернул лошадь на восток и целый день ехал под хлеставшим дождём и пронизывающим ледяным ветром, мучимый голодом и палящей жаждой. В сумерках он добрался до какой-то бедной деревушки, и там в кабачке узнал, что с опоздал.

– Бризигелла? Вам ещё далеко ехать. Да вы всё равно уже не застанете там епископа. Его карета проезжала здесь сегодня утром. Говорят, он отправился в Болонью к легату – просить пощады для мятежников. Каких мятежников? Да разве вы не слышали о мятежах около Савиньо?

Он стоял как оглушённый, глядя вокруг и ничего не понимая: мир вдруг стал совсем пустым. Трактирщик подошёл по ближе – надежда получить награду за жгла огонёк в его алчных глазах.

– А вам, видно, кое-что известно о делах в Савиньо Кто ж это располосовал вам щеку?

Но тут в нём снова проснулся инстинкт затравленно зверя. Он опять что-то придумал – и снова вывернулся, вырвался из сетей и скрылся среди мрачных скал, где свистел ветер. И там, скорчившись на камнях рядом со своей лошадью, умирая от голода, он провёл эту ночь, голодный смертельно усталый, не в силах двинуться дальше. А безжалостное небо без устали обрушивало на него потоки ледяного дождя. На рассвете он не смог взобраться в седло. Он привёл лошадь к ближайшей пастушьей хижине и у самого порога упал лицом в грязь.

Он страшился вспоминать, что было потом. Иногда по ночам его мучил кошмар – он снова в цирке, среди метисов, а последние годы – всего лишь сон. Порой в бреду, среди нестерпимых мучений, перед ним, словно в насмешку, возникало лицо. Он отверг единственный шанс на спасение, чтобы увидеть это лицо, и не увидел. А потом, когда серый свет зари прокрадывался в грязную хижину и падал на угрюмые лица спящих горцев, видение исчезало, оставляя его один на один с кошмарами нового дня.

Сколько же дней прошло с той схватки? Он потерял счёт времени, но пастухи говорят, что две недели. Теперь уже все его товарищи или схвачены, или в безопасности. Для них он больше ничего сделать не может. Остался только чудовищный кошмар ощущения, что он жив, – кошмар, который должен был бы давно оборваться, но по какой-то причине всё не кончался. Лошадь вздрогнула и, прижав уши, шарахнулась в сторону от кучи лохмотьев у подножья скалы. Феликс даже не повернул головы. Но тут комок лохмотьев ожил, с глухим криком бросился на тропинку и, всхлипывая, обнял шею лошади.

– Овод!.. Овод! Святые угодники, я спасён... спасён!

Феликс выпрямился и натянул поводья. Едва он услышал прозвище, которое ему дали товарищи, как отупевший мозг тут же пробудился к действию. Он опять был командиром, отвечающим за безопасность своих подчинённых.

– Погоди-ка! – сказал он отрывисто. – Дай я взгляну на тебя. Это ты, Андреа! Где остальные?

– Нас выследили карабинеры... Брата убили, когда мы бросились бежать... Томмазио убежал, но Карли схватили... Я видел... Звери! Бедняга Карли!

Паренёк принялся горестно причитать, потом, всхлипывая, продолжал свой рассказ. Он говорил на местном диалекте, и Феликс с трудом понимал его.

– Я спрыгнул в каменоломню... потом спустился к дороге... какая-то старуха посадила меня в свою повозку... Награди её бог! Я боялся оставаться на дороге... Снова ушёл в горы и заблудился... я ходил... ходил... От голода совсем ослаб. Вчера опять проехали солдаты.

Феликс напряжённо думал, хмурия брови.

– Дай-ка мне твой шейный платок, – сказал он. – Что ты спросил? Да, я был болен. Но это не важно. Сложи платок вот так. Я повяжусь, как будто у меня болят зубы. Постой, я ещё спущу на лоб волосы. Видно рану? Совсем не видно? Сними мой левый башмак – в нём деньги. Ну вот, теперь спустись вон туда к ручью. От деревни держись подальше – трактирщик тебя выдаст. Дождись меня в кустах и смотри, чтоб никто тебя не увидел. Я пойду вон в тот дом – купить еды. Да, конечно, они могут послать за карабинерами. Придётся рискнуть. Если я до вечера не вернусь, уходи один: значит, меня схватили. Вот тебе на всякий случай немного денег.

Через два часа Феликс пришёл к ручью, где его ждал Андреа. Он принёс немного чёрного хлеба, козьего молока и засохшего сыра. До темноты они прятались в кустах, а потом обогнули деревню и отыскивали тропку контрабандистов, о которой рассказали Феликсу пастухи. На другой день, перейдя границу, они оказались на территории Тосканы. В первом же городке Феликс нанял повозку, чтобы добраться до Флоренции, где условились встретиться организаторы восстания. Он оставил Андреа лошадь, дал ему немного денег и рекомендательное письмо к знакомым тосканцам, которые сочувствовали восстанию, с просьбой подыскать ему место. Прощаясь, мальчик целовал Феликсу руки, а когда повозка тронулась, горько заплакал.

Поездка была нескончаемым кошмаром, но останавливаться в грязных придорожных трактирах не имело смысла. Нет, лучше, не задерживаясь, ехать во Флоренцию – так по крайней мере всё кончится быстрее. Там можно будет просто лечь и умереть.

Но во Флоренцию стекались уцелевшие повстанцы. Феликс прибыл последним, и все уже решили, что он погиб или схвачен. И снова ему пришлось быть сильным, чтобы вдохнуть силы в других, когда все их надежды рухнули, – так же как он дал Андреа силы вынести голод и перебороть страх. Восстание потерпело неудачу, в Болонье свирепствовал военно-полевой суд, и все были растеряны и подавлены – все, кроме него, потому что ему теперь всё было безразлично. Четыре дня он шутил и смеялся, работал и думал, одного отвлекал от мысленно самоубийстве, другому подсказывал, как заработать на хлеб, живя на чужбине, и даже ночью в постели продолжал строить всевозможные планы, изобретать остроумия, страшась дать мозгу хоть минутную передышку.

Рана на щеке, заживая, стягивала кожу, и флорентийский хирург Риккардо, сочувствовавший восставшим, вскрыл порез и наложил шов, чтобы шрам не был уродливым. Феликс перенёс эту операцию, чуть поморщившись, удивляясь про себя, почему он почти не ощущает боли. Быть может, наступает полная потеря чувствительности и он в конце концов превратится в тупого ухмыляющегося идиота?

Вскоре эмигранты разъехались кто куда – одни во Францию, другие в Англию, остальные рассеялись по Тоскане. Феликс решил вернуться в Париж. Он ехал с группой эмигрантов и без усталости развлекал их и подбадривал. Но в Марселе он сказал им, что должен задержаться в городе дня на два. Он проводил товарищей до дилижанса и, все ещё улыбаясь, вернулся в отель. Ему было нечего делать в Марселе, но он хотел остаться один, совсем один. Больше ни о чём не надо думать, можно пойти в курительную и почитать газету.

Очнулся он в постели. Ноздри щекотал неприятный запах коньяка, над ним склонились незнакомые люди. Кто-то щупал у него пульс. Феликс отдернул руку.

– Что вам угодно? – раздражённо спросил он.

– Не волнуйтесь, – ответил чей-то голос. – Вы упали в обморок в курительной. Выпейте вот это и не шевелитесь.

Он повиновался и снова закрыл глаза. «Быть может, я умираю? – подумал он. – Это не важно, но всё-таки глупо. Хоть бы немного согреться».

Феликс пролежал почти неделю, за ним ухаживали больничная сестра и слуги. Денег у него было много, и поэтому ухаживали за ним хорошо, хотя и безбожно

обсчитывали, пользуясь его полным ко всему безразличием.

Почти всё время Феликс лежал в полузабытьи, без сна, не чувствуя боли, ничем не интересуясь. Приступ не повторился, но пульс был очень слабым и обмороки – длительными.

Объясняя приглашённому к нему доктору происхождение сабельного шрама, Феликс сочинил что-то о своих приключениях в Алжире, но чувствовал такую апатию, что не сумел солгать достаточно правдоподобно. Француз доктор, искоса взглянув на больного, заметил:

– Ну, меня это не касается. Однако как врач я должен вас предупредить: если вы будете впредь подвергать свой организм таким испытаниям, то в одно прекрасное утро проснётесь на том свете.

– Это было бы неприятно, – пробормотал Феликс и тихонько засмеялся.

Вскоре силы вернулись к нему, а с ними и панический страх. «Если исключить кораблекрушение...» – сказал тогда Леру. Но ведь это и было кораблекрушение. Если уж этот кошмар повторился, он может повториться ещё раз. Едва встав на ноги, он бросился в Париж, даже не задержавшись в Лионе, чтобы узнать, там ли ещё Рене и Маргарита. Скорее в Париж – услышать приговор.

Стоял август, и Леру в городе не было, но Риварес отыскал Маршана, который без отдыха работал над своей новой книгой. Увидев Феликса, старик ахнул, вскочил на ноги и некоторое время молча всматривался в его лицо.

– Так, – произнёс он наконец. – Садись, мой мальчик, и рассказывай, как всё было.

Феликс заговорил тихо, заикаясь и то и дело останавливаясь. Лгать, когда Маршан смотрел на него такими глазами, он не мог, а рассказать правду было слишком трудно.

Он был за границей... сражался. Да, это шрам от сабельного удара. Он ездил верхом во всякую погоду, уставал, перенапрягался, провёл ночь в горах под проливным дождём, мокрый и голодный. Голос задрожал и прервался.

– Так, – повторил Маршан. – А потом, значит, был приступ. Сильный? Как на Пастасе? Долго он продолжался? Феликс уронил голову на руки.

– Не знаю. Может быть, ещё хуже, чем тогда. В таких страшных условиях... Я совсем обезумел. Не заставляйте меня вспоминать об этом, Маршан. Если это случится ещё раз, я сойду с ума...

Маршан молча подошёл к Феликсу и положил руку ему на плечо.

– Мы устроим консилиум, – сказал он наконец. – Завтра возвращается Леру, а я позову старика Ланприера, – посмотрим, может что-нибудь и удастся сделать.

Консилиум собрался у Маршана. После ухода Леру и профессора Феликс подошёл к Маршану. На этот раз он вполне владел собой.

– Скажите мне правду. Им не хочется меня огорчать, но ведь во всём виноват я сам, я знал, чем рискую. Лучше сразу узнать самое худшее. Они что-то скрывают. Это полное крушение?

Маршан побледнел, но ответил не колеблясь, глядя Феликсу прямо в глаза:

– Да, пожалуй. Если вас не страшит такая жизнь, вам, возможно, ещё удастся

прожить довольно долго. Но приступы будут повторяться все чаще и в конце концов доконают вас. Смерть не из приятных, что и говорить. И помочь ничем нельзя. Опиум, как вы знаете, может ненадолго ослабить боль, но, как только вы увидите, что он стал вам необходим, – тут же стреляйтесь.

Феликс кивнул.

– С этим я уже давно покончил. Не бойтесь. Я не приобрету этой привычки и не застрелюсь. Сколько мне ещё осталось жить?

– Не знаю. Если будете беречься, возможно даже несколько лет. Но в любой день болезнь может возобновиться. Если вы хотите ещё что-то сделать, начинайте не медля.

– Я уже начал. С этого все и пошло.

– Можно мне спросить, что с вами случилось? – прошептал Маршан.

– Что со мной случилось? Помните демонов племени хиваро? Гурупину, который говорит человеческим голосом? Он явился мне и заговорил об Италии, и я пошёл за ним в трясину. А там, если помните, ждёт Ипупиара, чудовище с вывернутыми назад ступнями, – думаешь, что убегаешь от него, а на самом деле... Вот и все.

Несколько минут оба молчали.

– Видите ли, я наполовину итальянец – про Аргентину все выдумки, вы, конечно, давно догадались, – и наполовину англичанин. Но сейчас во мне заговорил итальянец. Быть может, мне посчастливится, и меня убьют.

Он снова помолчал и добавил, не глядя на Маршана:

– Помните, когда мы прошли Мадейру, я сказал вам, что собираюсь «возделывать свой сад». Я искренне в это верил, но вы оказались дальновиднее. С садами покончено.

Маршан посмотрел на него долгим грустным взглядом.

– Но не с Кунигундой, не так ли? Вас ждёт незавидная жизнь, однако я согласился бы поменяться с вами ролями. Но я ей не нужен. Когда человек сжигает свой труд и оглушает свой мозг вином из-за личных горестей, богини покидают его, да и демоны тоже. Он не стоит даже того, чтобы его уничтожить.

– Тем лучше для вас, – еле слышно отозвался Феликс и ушёл.

Маршан посмотрел ему вслед, потом отодвинул рукопись в сторону. Он сознавал всю важность начатой им работы. Она была значительнее даже той первой любви, поруганные останки которой он сжёг много лет назад. Всё-таки, завершив её, он спас бы тысячи детей от безумия, рождаемого страхом. Но он сжёг бы и этот свой труд, если бы мог очистить этим своё прошлое от Гийоме и «той, что раскрывает секреты». Если б не это, Феликс, быть может...

Он прикрыл глаза рукой. «Ты хочешь слишком многого», – подумал он. Не он спас своего пациента, а тому пришлось спасти его. Ну, хватит! Как бы то ни было, он спасён и должен продолжать свою работу.

На улице Феликс почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он с трудом взял себя в руки, зашёл в ближайшее кафе и, чтобы подкрепиться, выпил чёрного кофе; потом снова вышел на набережную.

– Феликс? Он вздрогнул.

– Ах, это вы! Я вас... не заметил.

Он так и не понял, кто его окликнул, пока не увидел, что рядом с ним по набережной идёт Рене. Некоторое время они молчали. Феликс сознавал только одно: могло быть хуже. По крайней мере Рене не расположен к разговорам. Он не заметил, каким постаревшим и измученным выглядел его друг.

– Вы получили моё письмо? – спросил наконец Рене. – То, что я послал в мае?

– Да. Разве я вам не ответил?... В мае? Нет, это было, кажется, в апреле.

– Значит, оно дожидается вас у вашего банкира. Мне сказали, что вы уехали, не оставив адреса.

– В мае я уехал за границу, а вернулся всего три дня назад и ещё не был в банке.

Он снова замолчал, но потом вспомнил, что следует проявить больше интереса к радостям друга. К Рене судьба благосклонна. Только у него отнята последняя надежда. И он весело спросил:

– А как поживает ваша сестра? Она уже ходит без костылей?

Рене ответил после долгой паузы:

– В последнем письме я писал вам о ней. Если помните, она уже выезжала в коляске.

– И даже немного ходила.

– Да, так вот однажды, когда мы катались, ей захотелось зайти в магазин и выбрать мне какой-нибудь подарок. Она ведь ни разу не была в магазине. Когда я помогал ей сойти, из-за угла выскочила подвода, пьяный возчик погонял, и они налетели на нашу коляску. Мы упали. Я не успел оттащить Маргариту, и её переехало колесом. Повреждён позвоночник... Нет, жизнь её вне опасности, и старая болезнь не вернулась. Она уже вполне оправилась и окрепла, но тем не менее – всё кончено. Она уже никогда не сможет ходить.

Феликс шёл молча, он смотрел на чёткие линии набережной, на сверкающую рябь реки, на тёмные силуэты башен собора, на первые жёлтые листья, бежавшие к нему, как на ножках, по залитому солнцем тротуару.

И вдруг случилось то, что бывало с ним раньше, чего он смертельно боялся. Улица исчезла, и ужас стал развёртывать перед ним видение за видением. Он увидел отвесную крутую стену колодца, покрытую зелёной слизью. На ней, словно пот, выступали мутные капли сырости. Сам он был на дне. Сверху падал косой солнечный луч, а кругом царила тьма. Потом он увидел, что позеленевшая стена кишит какими-то существами. Они цеплялись за её скользкую поверхность, за неровности в кирпичной кладке, друг за друга. Маленькие, тощие и слабые, синевато-белые, как растущие в темноте хилые растения, они судорожно стремились вверх, скользили, падали, но не оставляли своих попыток. Немногим, совсем немногим удалось добраться до освещённой солнцем верхней части колодца. Там было сухо, и они, уже не боясь поскользнуться, начали взбираться ещё быстрее. Одно из них подняло бескровную лапку, ухватилось за край колодца, подтянулось и выглянуло наружу, где ярко светило солнце. За первого уже цеплялся второй. Но тут гигантская ладонь смахнула их вниз, на самое дно. Крышка колодца захлопнулась, снова воцарилась непроницаемая тьма, и лишь слышались глухие всплески воды...

Снова перед ним была залитая солнцем набережная, в холодном небе темнели башни собора, и жёлтые листья, как на ножках, бежали навстречу. Он повернулся к Рене.

– Простите, у меня закружилась голова. Вы, кажется, что-то сказали?

– Может быть, вы поможете нам пережить первое, самое тяжёлое время. На той неделе мы отвезли Маргариту домой, и я приехал в Париж в связи с моим новым назначением. Я хотел бы сразу после каникул приступить к работе, но сейчас мне нужно вернуться домой. И мне страшно подумать, как я встречу с Маргаритой. Со временем мы, конечно, привыкнем. Но вначале... Вы не можете поехать со мной? Мне кажется, нам будет легче при постороннем. Я знаю, что прошу вас о большом одолжении.

– Конечно, я поеду, если вы этого хотите. Когда вы собираетесь выехать?

– На той неделе, в среду. Вы успеете собраться?

– Успею. Но вы уверены, что вашей сестре будет приятно присутствие постороннего человека? Ведь мы незнакомы. Рене, поколебавшись, ответил:

– Сейчас я ни в чём не уверен, я даже не знаю, как она вас встретит, она ещё не совсем пришла в себя. На нас всех это очень подействовало. Как-то на днях мой брат Анри сказал мне, что, будь он рядом, ничего бы не случилось. А ведь он добрейший человек. Я скажу вам правду – я просто боюсь.

Я, конечно, болван. В Лионе я отнял у Маргариты яд. Она обещала, что это не повторится, но я ей ничем не могу помочь. Один мой вид напоминает ей о случившемся. Если её чем-нибудь не отвлечь от этих мыслей, она попросту сойдёт с ума. Приезжайте и постарайтесь что-нибудь сделать.

– Хорошо. Значит, мы едем в среду.

– Спасибо, – ответил Рене. – А сейчас я должен бежать, у меня деловое свидание.

– Вы свободны сегодня вечером? Тогда жду вас к обеду. Если не боитесь беспорядка, можете остаться у меня ночевать. Когда я уезжал, мои вещи убрали, и их не успели распаковать.

Только когда Феликс, беззаботно болтая, повернулся, чтобы попрощаться, Рене заметил, как изуродована его щека.

– Что это с вашим лицом? Вся щека рассечена! Феликс рассмеялся:

– Да, теперь уж конец моей «женственной красоте», как выражался наш добрый друг Ги-йоме.

– К чёрту Гийоме! Откуда это у вас?

– К чёрту так к чёрту! Я не возражаю. Это у меня от-туда же, откуда у котят берутся рваные ушки. Я дрался.

– Дрались?

– Это длинная история. Лучше поберегу её для замка. С тех пор как мы расстались, у меня было много з-забавных приключений.

Рене внимательно посмотрел на него.

– Кажется, они не пошли вам на пользу.

– Разве? Значит, мне тем более нужен деревенский воздух. Как полезно мне будет отдохнуть в Бургундии! Это вы превосходно придумали!

В дороге Рене не раз казалось, что Феликс старается развлечь его разговорами. В конце концов он встревожился, но ненадолго. Эта ровная весёлость не имела ничего общего с тем напускным весельем, которое так испугало его на прошлогоднем банкете Географического общества. Раз Феликс не острит без удержу – бояться нечего. Правда, он очень похудел, и вид у него измученный, но это, вероятно, от раны. Ему нужно отдохнуть. Да, но... он дрался?

Рене украдкой взглянул на обращённую к нему неизуродованную щеку. Он давно уже понял, что знает о Феликсе очень мало, но любопытство его не мучило. Если знаешь горести друга, но ничем не можешь помочь, ему от этого не легче, а в остальном – король всегда поступает правильно.

Однако, когда их поездка подходила к концу, Феликс сам заговорил об этом. Он не стал упоминать о собственных злоключениях и не назвал синьора Джузеппе, а серьёзно и беспристрастно рассказал о цели восстания в Апеннинах и о том, как развивались события. Потом добавил:

– Я был одним из организаторов. Рене сказал только:

– Что же было потом?

– Потом, когда восстание потерпело поражение, я скрылся, а затем приехал в Париж. Как только появится возможность что-нибудь сделать, я снова вернусь в Италию.

– Это ваше окончательное решение? Тогда, наверное, в один прекрасный день... – Рене запнулся.

– В один прекрасный день меня схватят, и последствия будут не из приятных. Разумеется, это так. Но, видите ли, Рене, оказалось, что именно это-дело моей жизни. А пока я собираюсь совершить набег на ультраконсервативный сельский замок и предстать перед вашей благочестивой тётушкой и всем аристократическим семейством со свежим сабельным шрамом, который обличает меня как безбожника и кровожадного санкюлота. Что же вы собираетесь им сказать?

Рене поморщился, но после минутного раздумья спокойно ответил:

– Я думаю, лучше всего будет ничего не говорить, по крайней мере вначале. Отец и сестра никогда не задают нескромных вопросов, а остальные подумают, что вы дрались на дуэли. С их точки зрения, это, конечно, грех, однако не пятнающий порядочного человека. Тётя и брат и так сейчас расстроены. Если мы сразу скажем правду, отношения в доме невыносимо обострятся. Они сочтут ваше поведение преступным.

– А вы?

Феликс посмотрел на Рене с еле заметной усмешкой. Но тот ответил без колебаний:

– Я? Что я думаю о вас и ваших делах? Но на этот вопрос я уже давно ответил, в долине Пастасы.

Анри, Анжелика и Бланш встретили гостя вежливо, но несколько холодно. В любое другое время они были бы рады видеть у себя в доме человека, который спас Рене от смерти, но то, что он принял приглашение сейчас, когда в семье было такое горе, они сочли бестактным.

Рене, пригласив в такой момент гостя, нарушил все приличия. Это выходило за рамки дозволенного.

– Конечно, гостеприимство обязывает, – сказала Анжелика маркизу. – Но Рене проявил по отношению ко всем нам удивительную чёрствость. До гостей ли нам, когда у нас такое несчастье?

– А вам не кажется, что следует считаться и с чувствами Рене? – услышала она в ответ. – Если он нуждается сейчас в обществе своего друга, он может не считаться с остальными. Кроме, конечно, самой Маргариты. Анжелика негодуя фыркнула.

– Нетрудно угадать, что чувствует наша бедняжка. Она, конечно, ничего не говорит – ведь это сделал Рене, но когда я сообщила ей, что брат везёт с собой гостя, она вся побелела и закусила губу. Рене поступает просто жестоко.

– Жестокость вряд ли подходящее слово, когда речь идёт о Рене, – только и ответил маркиз.

Сам он встретил гостя с изысканной любезностью. Феликс отвечал тем же. Рене, когда он слушал их отточенные фразы, казалось, что скрешиваются шпаги. «Почему отец его так ненавидит? – подумал он и, заметив, что взгляд маркиза скользнул по изуродованной щеке Феликса, мысленно добавил: – Хотел бы я знать, что он думает об этом шраме?»

Вскоре он повёл Феликса к сестре. Её комната была убрана цветами, в распахнутые окна врвался весёлый солнечный свет, но тем мрачнее казалась сама Маргарита. Она была в чёрном и на этот раз не надела никаких украшений в честь приезда Рене, а густые волосы были гладко зачёсаны и уложены на затылке. Вежливо улыбаясь, Маргарита пожала гостю руку, но потемневшие глаза смотрели угрюмо и настороженно. Занимая гостя светской беседой, она говорила неестественно звонким, нарочито весёлым голосом.

– Я очень рада, что наконец познакомилась с вами. Мы так долго собирались и никак не могли встретиться! Мне, право, стало даже казаться, что вы существуете лишь в воображении Рене.

– Так оно и есть, – последовал быстрый ответ. – Во всяком случае, такой, какой я сейчас. На свете не было бы такой личности, если бы я не пригрелся Рене.

– Ну, это клевета, – запротестовал Рене. – У меня не бывает кошмаров. Он сам за себя отвечает, Ромашка.

Но Маргарита не слушала, она рассматривала гостя из-под опущенных ресниц.

– А вы... – начала она негромко и умолкла. Он отвечал улыбкой на её взгляд и закончил:

– Ненавижу ли я его за это? Только иногда. Маргарита откинула назад голову и молча посмотрела на Феликса – сначала с любопытством, а потом с глубоким задумчивым удивлением. Он не был похож на того нестерпимо счастливого и удачливого человека, которого она так долго втайне ненавидела. Когда гость вошёл в

комнату, она заметила, что он хромает; теперь её взгляд остановился на искалеченной левой руке и шраме на лице. Внезапно она увидела, что его глаза широко раскрылись, а ноздри побелели и задрожали. Тут до её сознания дошло, что брат о чём-то её спрашивает, и она ответила наугад:

– Не знаю, милый.

Феликс отвернулся. Всё поплыло в каком-то красном тумане. «Только ты, зверь, называющий себя богом, – подумал он, – мог так надругаться над этим хрупким, беззащитным существом! Мало тебе меня?»

Но тут он вспомнил, что не верит в бога и что на свете есть немало других людей, к которым судьба была излишне жестока. В ушах звучали горестные всхлипывания Андреа:

«Звери! Бедняга Карли!»

Он с улыбкой повернулся к Маргарите.

– Сколько у вас украшений на стенах. Я и не знал, что Рене привёз так много красивых вещей. Да у вас тут настоящий музей!

– Но ему, конечно, далеко до вашей коллекции оружия?

– Коллекции больше нет. У меня не осталось редкостей.

– Как? – воскликнул Рене. – Вы бросили коллекционировать?

– Да, я продал свою коллекцию весной, перед отъездом за границу. Вот и головной убор из перьев. Рене рассказывал вам о старом вожде, который подарил нам этот убор?

– Этот вождь, кажется, просил у вас талисман, чтобы убить своего брата? Я ему не раз сочувствовала. Правда, Рене? Братья для того и существуют, чтобы срывать на них зло. Он мне рассказывал и о том дне, когда вы надели этот убор. Какой внушительный вид он вам, вероятно, придал! Не удивительно, что на дикарей это произвело впечатление.

– Рене в нём был бы ещё импозантнее. Для такого великолепия я маловат ростом.

– Да, но он слишком бледен.

– Это не было бы заметно. Когда надевают такие вещи, лицо покрывают красными, чёрными, жёлтыми полосами и кругами.

– Неужели вы тоже раскрасили себе лицо? И им, наверно, польстило, что белый человек последовал их обычаю?

– Конечно. И раскраска приходится очень кстати: позеленев от страха, приятно сознавать, что этого никто не заметил. Может быть, потому и возник такой обычай.

Маргарита бросила на Феликса быстрый взгляд.

– Не правда ли, было бы гораздо удобнее, если бы мы могли намалевать наше притворство на лице, вместо того чтобы лгать поступками?

– Н-например, п-притворяясь мужественными, когда нам на самом деле страшно.

– Хотя бы. От этого мы только трусим ещё больше. А когда мы притворяемся, что расположены к людям, которых на самом деле ненавидим, то становимся к ним ещё более несправедливыми.

– Мне кажется. Ромашка, – вмешался Рене, – этот грех не особенно отягчает твою совесть. Лицемерием ты страдала, лишь когда была ещё совсем крошкой. Ты скоро от этого излечилась. Теперь те, кто тебе не по душе, обычно догадываются об этом.

– Разве? – спросила Маргарита и подняла глаза, но не на брата, а на Феликса, который невинно ответил:

– О, я думаю, что им это всё-таки удаётся, если они только не безнадёжные тупицы.

Глаза их встретились, и оба рассмеялись.

– Со времени несчастья, – сказал Рене Феликсу, когда они ушли из комнаты Маргариты, – она в первый раз от души смеялась.

Через несколько дней, возвращаясь с Анри с рыбной ловли, Рене услышал в саду весёлый смех сестры. Подходя к расположившейся под каштанами группе, он внезапно почувствовал, что без малейшего сомнения перерезал бы горло кому угодно, если бы это избавило Феликса от какой-нибудь беды.

– Что вас так развеселило? – спросил Рене. Феликс не повернулся к нему, но Маргарита, снова рассмеявшись, ответила.

– Мы говорили о том, что Бланш очень боится коров, а потом стали гадать, кого вы в Южной Америке считали самым страшным зверем. Тётя предположила, что пуму, Бланш – змею, а я – таракана. И вот когда к нам подошёл господин Риварес, мы спросили, кого он боялся больше всех, и он ответил: «Желтогрудых колибри». Что с тобой, Рене? Ты так вздрогнул... Неужели ты тоже боишься колибри?

– Одно время боялся смертельно, – пробормотал он. – Но это прошло.

Феликс посмотрел на него.

– Прошло? Совсем? Тогда, быть может, и я избавлюсь от этого страха.

Позже, когда они пошли с Рене гулять, Феликс вернулся к этому разговору:

– Вы действительно об этом не думаете, Рене? Или сказали это, просто не желая портить мне настроение? Рене отрицательно покачал головой.

– Дорогой мой Феликс, признания в любви нельзя повторять. Неужели вам нужны ещё уверения, что я могу обойтись и не получив объяснения ваших поступков, которые я не могу понять?

– Неужели вы никогда не спрашиваете себя «почему»?

– Почему вы пошли за мной? У меня есть свои догадки, но если даже я и ошибаюсь, это не имеет значения. Вы не пошли бы, если бы у вас не было веских причин.

Опустив глаза, Феликс продолжал:

– Каковы же ваши догадки?

– Я скажу, если вам интересно. Иногда я объяснял себе

это так: вы увидели, что я безрассудно подвергаю себя опасности... Ну а мы ведь не давали вам возможности держаться с нами непринуждённо. Может быть, вы... стеснялись или не были уверены, как я отнесусь к вашему предостережению. Откуда вам было знать, что я не грубая скотина? Удивляет меня вообще в этой истории не

ваше поведение, а моё собственное. Не понимаю, почему я тогда всем солгал. Просто какое-то глупое упрямство; а может быть, я, сам того не сознавая, хотел избавить вас от расспросов о том, как вы очутились рядом со мной.

Рене замолчал и повернулся к Феликсу. Тот остановился, глядя на траву.

– А потом?

– Потом, когда вы поддержали мою выдумку, я, конечно, почувствовал себя подлецом. Вам, естественно, ничего другого не оставалось. Сначала я всё ждал, что вы как-нибудь заговорите об этом. Но вы молчали. Наверное, вы заметили, что я немного стыдился всей этой истории, и не хотели меня смущать.

– Ах, Рене, Рене, вы навсегда останетесь ребёнком!

– Вежливый намёк на то, что я навсегда останусь ослом?

– Скажем – херувимом. Неужели вам никогда не приходило в голову, что не у вас одного могут быть причины стыдиться?

– Феликс, – поспешно перебил его Рене, – если вы... о чем-нибудь сожалеете... то я ничего не хочу об этом знать...

– Не хотите? Боюсь, что теперь, раз уж мы зашли так далеко, вам придётся узнать все.

– Хорошо, – сказал Рене и, растянувшись на траве, надвинул на глаза соломенную шляпу. – по крайней мере устроимся поудобнее. Я вас слушаю.

Феликс сел рядом и стал выдёргивать пучки травы. Затем, отшвырнув их в сторону, застыл, глядя прямо перед собой.

– В то время, – начал он, – люди интересовали меня только с двух точек зрения: «могу ли я использовать этого человека» и «должен ли я его бояться». Вас я боялся.

Рене привскочил.

– Не надо! Это мне слишком хорошо известно. Он услышал рядом судорожный вздох.

– Я... говорил в бреду и об этом?

– Вы пересчитали нас всех по пальцам. Дошла очередь и до меня. Кажется, я чуть не довёл вас до самоубийства. Но в ту ночь вы отчасти со мной сквитались.

Феликс снова отвернулся.

– Есть вещи пострашнее самоубийства. Во всяком случае, я боялся, что вы посоветуете Дюпре уволить меня в первой же миссии. Я знал, чем это мне грозило. Мне удалось задобрить всех остальных, я работал за них и подлаживался к ним, но я даже и не пытался подлаживаться к вам и к Маршану. Только с Маршаном было проще: его не волнуют вопросы морали, и потом я знал, что, если уж все раскроется, он поймёт, а вы – возможно, нет. А это главное. Вот я и пошёл за вами, чтобы поговорить с глазу на глаз. Я хотел рассказать вам кое-что из своего прошлого... Нет, сейчас мы об этом говорить не станем... Я боюсь об этом думать даже сейчас... Но я хотел рассказать вам... то, что смог бы, и просить вас сжалиться надо мной. А если бы вы пригрозили разоблачить мой обман или стали бы... смеяться...

– Смеяться?

– Надо мной слишком долго смеялись... Тогда бы моё ружьё нечаянно выстрелило, я бы привязал к вашему телу груз и бросил его в реку. Я знал, что, убрав вас с пути, сумею вить из Дюпре верёвки. Вряд ли бы я это действительно сделал, – в самый решительный момент редко у кого хватает на это сил. Скорее всего застрелился бы сам. Но намерения у меня были именно такие. Когда человек загнан в угол, он способен на всё. Потом я увидел пуму. Когда собираешься убить человека, а вместо этого приходится его спасать, чувствуешь себя н-немного странно. На какое-то мгновение я растерялся... а то бы я выстрелил на несколько секунд раньше. Хорошо хоть, что я опомнился не слишком поздно, и так по моей милости она разодрала вам руку...

Феликс снова принялся выдёргивать пучки травы.

– Вот и все, – произнёс он слегка охрипшим голосом. – На этом кончается одно не слишком приятное признание. Что вы с ним собираетесь делать? Приберечь для подходящего момента?

– Конечно, я буду его хранить, – ведь это первый случай, когда вы добровольно приоткрыли немного свою душу. Что касается ваших тогдашних намерений... ну что же, если бы я оказался способным возмутиться или рассмеяться, меня бы стоило утопить. Ну, пошли завтракать, и давайте забудем про пуму и ещё более неприятных тварей, которые смеются Маргарита права – таракан куда страшнее пумы.

– Но т-тараканы же не смеются.

– Не важно, я ведь не Маргарита! На семью достаточно одного любителя точности. К тому же я склонен думать, что они всё-таки смеялись, – тогда в Гуаякиле, когда ползали по нас и слышали, как мы чертыхались.

– Берегитесь, – заметил Феликс. – Если вы станете приписывать им такие свойства, они превратятся в богов.

Рене грустно взглянул на друга, но ничего не сказал. Он давно понял, что атеизм для Феликса – ненадёжное укрытие, где он ищет спасения от какой-то язвы, разъедающей ему душу, от страшного, вечно живого проклятья, которое когда-то было верой.

В сентябре, оставив Феликса в Мартереле, Рене вернулся в Париж, чтобы снять и обставить квартиру для себя и сестры. Маргарита переборола в себе боязнь перед поездками и согласилась проводить зиму в Париже, а лето в замке. Анри с Бланш за спиной Рене бурно выражали своё неодобрение, но не решались высказываться против этого плана в его присутствии.

– Это означает, что Рене никогда не сможет иметь собственную семью. – сказал отцу Анри. – Сейчас, когда он получил такое превосходное место, он мог бы легко выбрать себе невесту из хорошей семьи и с хорошим приданым, но если с ним будет жить больная сестра, он, конечно, не сможет жениться.

– Рене пора обзавестись собственным домом, – строго добавила Бланш. Она недолюбливала Маргариту, считая, что с ней слишком много носятся.

Маркиз серьёзно и внимательно посмотрел на невестку, а потом на сына. «Удивительно, как изменился Анри в худшую сторону после женитьбы на этой плохо воспитанной девушке», – подумал он. Но вслух сказал лишь:

– Может быть, Рене именно так и мыслит свой домашний очаг. Холостяки сделали на свете немало хорошего.

– Я уверена, – заметила Анжелика, метнув на Бланш негодующий взгляд, – что Рене будет очень счастлив, живя вместе с нашей дорогой девочкой. А приданое, Бланш, это ещё не все.

Но когда супруги покинули комнату, она со вздохом добавила:

– Не могу сказать, чтобы меня это совсем не беспокоило, я так боюсь за неё. Париж – ужасное место для молодой девушки, которая будет жить только с братом, да ещё в Латинском квартале! Говорят, студенты ужасные богохульники. А смирения духа, чтобы защититься от этого, у Маргариты нет.

– Быть может, физический недуг окажется для неё достаточной защитой, – сухо ответил маркиз. – Вряд ли она будет встречаться с кем-нибудь, кроме приглашённых к ним гостей. А Рене, я уверен, сумеет сделать так, чтобы ни один студент не позволил себе забыть в присутствии хозяйки дома.

Анжелика всплеснула руками.

– Ах, Этьен! Если бы дело было только в студентах и их манерах! Неужели вы не видите? – Анжелика была готова расплакаться. – Это ужасно! С тех пор как в наш дом вошёл этот человек, её как подменили. Зачем только Рене привёз его сюда! Я так и знала, что это не к добру! Так и знала!

– Уж не хотите ли вы сказать, дорогая Анжелика, что Маргарита влюбилась в господина Ривареса?

– Во всём доме только вы один не догадались об этом. Она меняется в лице, когда слышит его шаги. Неужели вы не видите, что она стала совсем другой?

– Я заметил, что последнее время она явно оживилась и повеселела. Но если даже вы правы, можно только порадоваться за неё, раз это скрашивает её жизнь.

– Этьен! Скрашивает на одно мгновение! А потом? Когда он женится? Такой преуспевающий человек рано или поздно женится. Да и вообще Маргарите любовь ни к чему. Кроме того, он безбожник! Бланш показала мне газету, где помещена его статья, в ней богохульственно высмеивается все святое. А вчера, когда я зашла к ней, он сидел возле кушетки и читал ей вслух Мольера, а она смеялась!

Маркиз пожал плечами и ушёл в кабинет. Он не понимал, как можно, любя Маргариту, приходить в ужас оттого, что она смеялась. Как ни неприязненно относился он к Феликсу, он был рад, что Маргарите блеснул хоть этот слабый луч счастья.

В октябре отец отвёз Маргариту в Париж, где Рене уже все приготовил, и прожил у них несколько дней. Феликс, приехавший вместе с ними, поселился поблизости и почти каждый день заходил после обеда заняться с Маргаритой испанским. Наблюдая украдкой за дочерью, когда в прихожей раздавался звонок, маркиз говорил себе, что Анжелика права.

– Мы тебя ждём в июне, моя девочка, – сказал он, целуя на прощанье дочь. – Мне хочется думать, что ты не очень несчастна.

Маргарита подняла глаза. Маркиз никогда не видел, чтобы они лучились таким

мягким и добрым светом.

– Но я счастлива, отец. На свете много радостей, и иметь возможность ходить – только одна из них. Несмотря ни на что, я бы ни с кем на свете не согласилась поменяться местами. К тому же меня ждёт столько работы, – хандрить будет просто некогда.

И действительно, намеченная ею на зиму программа была нелёгкой. Кроме ведения хозяйства, – а она хотела непременно руководить всем сама, – Маргарита изучала испанский и математику, чтобы помогать Рене готовиться к лекциям, знакомилась с произведениями английских прозаиков и старых французских поэтов так же неумолимо, методично и обстоятельно, как она работала над рукописями отца.

Ещё в Мартереле Феликс вызвался дать ей несколько уроков литературы. Однажды он принёс пачку английских книг.

– Ох, – простонала Маргарита, – я чувствую, это стихи! Неужели вы собираетесь заставить меня их одолеть? Ненавижу английские стихи!

– А много вы их читали?

– Более чем достаточно. Тётя Нелли как-то прислала мне толстущую антологию, а тётя Анжелика так настаивала, что мне пришлось прочесть её всю подряд. Скучно было ужасно. Там был Драйден, и миссис Хеманс, и «Дева озера», и «Потерянный рай»...

– Ну нет, Ромашка, – вмешался брат. – Будь точна, раз это твоя специальность. Там был «Возвращённый рай».

– Не важно, «Потерянный рай» я пробежала в переводе. Разницы никакой.

– А Шекспир?

– Нет уж! Я прочла, что сказал о нём Вольтер, и этого с меня достаточно. Да, ведь мы ещё не кончили Кальдерона. Пусть английская поэзия подождёт. Я лучше займусь Локком и теорией простых идей.

Вскоре Феликс, так же как некогда маркиз, обнаружил, что учить Маргариту означало подвергаться непрерывному перекрёстному допросу. Её жажда знаний была беспредельна.

– Придётся мне освежить свою риторику, – сказал он однажды вечером Рене, когда тот, вернувшись домой, застал их за занятиями. – Мадемуазель Маргарита только что уличила меня в постыдном невежестве: она привела цитату из Аристотеля, а я не могу сказать, откуда эта цитата, и лежу поверженный в прах.

– Я же предупреждал вас, что она всегда расставляет ловушки, – сказал Рене и наклонился поцеловать сестру. – И ведь ты это делаешь потому что у тебя скверный характер. Не правда ли, радость моя?

Она положила руки брату на плечи и посмотрела ему в лицо.

– А если и так, то это не причина, чтобы у тебя был такой усталый вид. Что случилось?

– Ничего. – Рене сел и провёл рукой по волосам. – Я только что встретил Леру, – добавил он, обращаясь к Феликсу. – Он остановил меня на улице и спросил, вернулись

ли вы.

– Я виделся с ним в августе.

– Да, он сказал мне.

– А он сказал вам...

– Это вышло случайно. Он полагал, что я знаю, раз вы гостили у нас. Но, конечно, никаких подробностей он мне не сообщил.

Маргарита переводила взгляд с одного на другого.

– Значит, что-то случилось. Это секрет?

– Совсем нет, – весело ответил Феликс, – только незачем докучать вам этим. Ваш чрезвычайно мягкосердечный брат р-расстроился, услышав, что состояние моего здоровья оставляет желать лучшего. Я сам во всём виноват – подорвал его в Апеннинах.

– Это то самое? – помолчав, спросил Рене.

– Да, опять. В то утро, когда мы встретились на набережной, я как раз шёл от Леру. Мне не хотелось вас огорчать.

– И нет никакой надежды?

– Они говорят, что нет. Но я ещё не собираюсь умирать, а между приступами у меня будет много времени. Пока что был только один. Это вполне терпимо. Вот увидите, мадемуазель Маргарита успеет ещё не раз уличить меня во всевозможных ошибках... даже в погрешностях против испанской грамматики.

При последних словах он взглянул на Рене, но тот не заметил вызова.

– Так я пойду переоденусь к обеду, – угрюмо сказал Рене и вышел из комнаты.

Маргарита посмотрела на Феликса. Во взгляде её была боль.

– И вы тоже...

Услышав её прервавшийся шёпот, он повернулся к ней с лучезарной улыбкой.

– Ах, мадемуазель, мир так демократичен! Даже камеру смертника приходится делить с другими.

Она порывисто схватила Феликса за руку. Он нежно прикоснулся кончиками пальцев к её волосам.

Бедная девочка, – сказал он. – Бедная девочка!

## ГЛАВА IX

В Новый год Рене и Маргарита дали свой первый званый обед. Единственной дамой была хозяйка дома, принимавшая гостей, лёжа на кушетке. Глаза Маргариты сияли, голову украшал зелёный венок, она была в белом платье, выбранном Феликсом, по рисунку Рене, для этого вечера.

– Не хочу, чтоб у нас в доме появлялись женщины, – сказала Маргарита Маршану, который пришёл первым. – Не выношу женщин: я не знаю ни одной, которая не была бы назойливой и мелочной.

– А скольких вы знаете? – спросил доктор с улыбкой в тёмных, глубоко

посаженных глазах.

– Не так уж много, это правда, но ведь знакомых мужчин у меня тоже мало, и всё же среди них найдётся несколько неспособных... неспособных на мелкие гадости, которые делают самые милые женщины. Ладно уж, доктор, ну признайтесь, что я права. Вы качаете головой только из упрямства. Я ещё не встречала человека, который бы так любил перечить.

Между Маргаритой и Маршаном уже завязалась дружба, выражавшаяся главным образом в яростных спорах, доставлявших обоим огромное удовольствие. Не было такой темы – исключая совершенства Рене, – которая не вызывала бы у них бурных разногласий.

– Я вам завидую, – отвечал Маршан. – Мне, правда, приходилось знать людей – и мужчин и женщин, – которые удержались бы от убийства и кражи, если бы у них не было на то слишком сильного искушения, – а большего от человека нельзя и требовать. Если вы начнёте придираться к пустякам, нам останется только повеситься.

– Но ведь пустяки-то и важны! Я могу простить человека, которого толкнули на убийство или грабёж нужда или даже просто пьянство, но сплетника или...

– Ах, пощадите, мадемуазель! – раздалось за её спиной. – Не лишайте меня остатков самоуважения. Я ведь закоренелый сплетник, но до убийства обычно не дохожу. Разве только, как мягко выразился Маршан, если искушение бывает слишком сильно.

Они не слышали, как Феликс подошёл к ним своей бесшумной походкой. Маргарита, смеясь, протянула ему руку.

– Тот, кто подслушивает, ничего хорошего о себе не услышит.

Феликс поцеловал Маргарите руку, принёс новогодние поздравления и сказал несколько комплиментов. Когда он отошёл от сиявшей хозяйки, лицо Маршана уже приняло обычное выражение.

– Ещё подарок! – воскликнула девушка, беря свёрток, который положил около неё Феликс. – Но вы же обещали не делать мне больше подарков!

– В Новый год все обещания нарушаются! – беспечно отвечал он, угрюмо наблюдая, как она развязывает свёрток.

Кто бы мог заподозрить, что она способна на такую жестокость? Бросить в лицо старику, своему гостю, его мучительную и постыдную тайну!.. А Рене? Кто дал ему право рассказывать Маргарите секреты Маршана?

Внезапно лицо его прояснилось. Какая нелепая мысль пришла ему в голову! Ей, конечно, никто ничего не говорил, – это доказывают её слова. Если б только Маргарита знала, она, конечно, не коснулась бы этой темы. Она задела больное место в полном неведении. Как он мог подумать, что Рене проболтался? На Рене можно положиться.

Восторженный возглас Маргариты прервал его размышления:

– Какая прелесть! И как вы догадались выбрать душистый майоран? Рене, наверное, сказал вам, что это мои любимые цветы. Посмотрите-ка, доктор!

Белая шаль, очень тонкая и мягкая, была расшита по краям цветами душистого

майорана. Когда Маргарита развернула блестящие складки, оттуда выскользнула карточка. Она подняла её и пробежала написанное на ней четверостишие. Потом перечла его ещё раз, растерянно хмурясь.

– Это ведь по-английски? Какое странное написание слов! Должно быть, это старинные стихи? Нет, дайте я попробую прочитать сама.

Феликс наклонился над Маргаритой и стал объяснять ей непонятные слова. Он стыдился своих несправедливых подозрений.

Цветы майорана —  
Цветы добродетели —  
Наряд твой девичий  
Узором расцвели.

Девушка подняла глаза, щеки её порозовели.

– Какая прелесть! Где вы их отыскали?

– Это всего-навсего английские стихи, которые вы презираете. Вы найдёте их в одной из этих отвергнутых вами книг. Маргарита подняла руки вверх.

– Сдаюсь! Я покорна, как граждане Кале, и завтра же возьмусь за самую толстую книгу. Вы смотрите на меня с сочувствием, доктор, и вы совершенно правы – смотрите, какая она толстая.

– Впервые слышу, что Маршан способен смотреть на кого-то с сочувствием, – сказал вошедший с Бертильоном Рене. – Майоран, Феликс? Но ведь вы говорили, что на шали будут маргаритки?

– Я передумал, – ответил тот. – Не люблю маргаритки.

– Не любите маргаритки? Но почему же?.. – в один голос удивлённо воскликнули брат и сестра. Феликс рассмеялся.

– Неужели это такое преступление? Нет, я их люблю, но они смущают меня. У них такие ужасно большие чистые глаза, что я пугаюсь при мысли, сколько тайн им должно быть известно...

– Да, но они умеют молчать, – заметил Маршан. На другой день Рене увидел, что Маргарита пробует читать Чосера.

– Его язык слишком архаичен, – сказал он. – Не попробовать ли нам Шекспира? Можно выбрать какую-нибудь пьесу и читать её в лицах.

– Но он заикается.

– При чтении – никогда. Я не представлял, как могут звучать английские стихи, пока не услышал его.

Когда пришёл Феликс, Маргарита предложила читать Шекспира.

– Если уж я обречена изучать английские стихи, я хочу послушать, что из них можете сделать вы. Рене утверждает, что в вашем исполнении самые плохие звучат великолепно. Это правда, что в Манаусе вы мучили Рене Мильтоном, а он полюбил его? Я послушная ученица, но предупреждаю – Мильтона читать не буду. Это моё окончательное решение.

– Когда у Рене был приступ лихорадки, я развлекал его «Самсоном». Надеюсь, он

ему понравился; но, как бы то ни было, эти стихи мне слишком дороги, чтобы расточать их на легкомысленную девицу, неспособную их оценить. Вас ждёт «Генрих Шестой» – все три части – в наказание за непочтительность к Мильтону.

– Смилуйтесь над ней, – запротестовал Рене. – Это слишком жестоко. Давайте возьмём «Ричарда Третьего», над ним по крайней мере не уснёшь.

– Нет, я не позволю обучать свою ученицу бранным словам.

– Боитесь, как бы она не использовала их, если вы засадите её за Мильтона?

– Да, например «паук раздувшийся» – подходит? Конечно. Но смею заметить, кривая з-злая жаба может оказаться чувствительной. Нет, мы возьмём «Генриха Пятого» – будет урок английского языка, и только – Вы, мадемуазель, будете принцессой Катариной, она тоже недолюбливала английский язык. А Рене будет Флюэлленом.

Рене посмотрел на Феликса и рассмеялся.

– «Коль скоро ваша милость честный человек»? И даже если ваша милость не таковы. Не огорчайся. Ромашка, «Генрих Пятый» – вещь вполне сносная.

– Что-то не верится, – надувшись, ответила Маргарита. Её и Феликса охватило какое-то буйное веселье. За ужином они наперебой поддразнивали друг друга, а когда со стола было убрано и книги открыты, они никак не могли успокоиться. Пока читался пролог и диалог двух епископов, они вели себя как расшалившиеся дети, подзадоривая друг друга на всякие глупости. Маргарита впервые показала Феликсу, как она умеет перевоплощаться, и архиепископ кентерберийский в её исполнении был таким великолепным шаржем на отца Жозефа, что при словах:

Господь и ангелы его священный  
Ваш трон да защитят...

Рене расхохотался. Рассуждения о салическом законе она читала и приподнято-торжественном тоне.

Хотя Маргарита никогда не покидала пределов Франции, у неё было прекрасное английское произношение, а лёгкий акцент лишь усиливал напыщенность, которую она вложила в заключительные слова архиепископа:

Хвала Вам, храбрецы британские!..

Не окончив строки, Маргарита опустила книгу.

– Меня не смущает, что львёнок  
Его отважный жажду утолял  
В крови французских рыцарей.

Мы давно привыкли к этому. Но почтенный старец невыносимо скучен. И Шекспир весь такой?

– Не совсем. Давайте пропустим две-три страницы. Пистоль и Ним понравились Маргарите, но – когда снова появился король, она сделала грустное лицо.

– Боже мой, снова длинные речи! Через мгновение она уже не поддразнивала. Феликс читал речь короля, обращённую к лорду Скрупу Мешему:

А, Скруп! Что мне тебе сказать...

Эти слова были произнесены таким глубоким голосом, что заставили Маргариту взглянуть на Феликса. В лице его не осталось ни кровинки.

Ты, Имевший ключ ко всем моим советам  
И в глубине души моей читавший!

«Неужели то была женщина?» – подумала Маргарита, как когда-то Рене. Она посмотрела на брата. Он слушал затаив дыхание, не двигаясь, замороженный великолепием стихов, переливами чудесного голоса. Глаз Феликса он не видел.

Ты лучшее из чувств на свете – веру  
В людей-сомненья ядом отравил!  
Ведь если кто казался неподкупным —  
Так это ты; учёным, мудрым – ты;  
Кто родом благороден был – все ты же;  
Казался набожным и кротким – ты!

Она слушала, холодея от страха. Нет, то была не женщина. В его сердце таилась незаживающая рана, но нанесла её не женщина. Она была уверена в этом.

Голос стал суровым и холодным, в нём больше не было недавней страстности:

И ты таким казался,  
Без пятнышка единого!  
Набросил  
Ты подозренья тень своей изменой  
На лучших из людей.

«Подозренья... подозренья...» – содрогаясь, повторяла про себя Маргарита. Казалось, в комнату вошёл призрак.

– Ромашка, – окликнул её Рене, – ты пропустила свою реплику. Ты же герцог Экзетер.

Маргарита торопливо стала читать:

Я арестую тебя за государственную измену...

При первых словах миссис Квикли к Феликсу вернулось озорное настроение, но Маргарита до конца вечера оставалась грустной и тревожно поглядывала на Феликса из-под опущенных ресниц.

«Как быстро меняется у неё настроение, – подумал он. – Хорошо, что Рене такой уравновешенный».

Очень скоро Маргарита серьёзно увлеклась английской поэзией. Феликс проводил у них два вечера в неделю, и большая часть времени посвящалась чтению вслух. Если Рене бывал дома, они втроем читали в лицах пьесы, а без него Феликс и Маргарита занимались лирическими поэтами. Вскоре она уже познакомилась с лучшими образцами английской поэзии – от народных баллад и пьес елизаветинцев до Вордсворта и Колриджа. Правда, Феликс не сумел заразить её своей страстью к Мильтону, но Шелли сразу покорила её воображение.

Однажды, когда они были одни, Маргарита сказала:

– Я хочу, чтобы вы прочитали мне вот это. Я без конца читала эти стихи, даже выучила их наизусть, они всё время звучат у меня в ушах, но я не знаю, о чём здесь

говорится.

Она выбрала «Будь же счастлив...»

– Эта вещь мне не нравится, – последовал быстрый ответ. – Давайте возьмём что-нибудь другое,

Маргарита с удивлением взглянула на Феликса: такая резкость не была ему свойственна. Потом поняла и поспешно сказала:

– Конечно, как вам угодно.

– Что-нибудь из песен?

– Нет, прочтите первый акт «Освобождённого Прометея». Сегодня мне хочется высокой поэзии.

При первых же величественных строках Феликс забыл о существовании Маргариты; его голос обволакивал её и ввергал в бушующий водопад строф. Стихи, которые прежде казались ей просто хорошими, теперь потрясали её, как громовые удары, вещающие о возмездии:

Ну что ж, излей свой гнев. Ты всемогущ...

– Знаете, – сказала Маргарита, когда он отложил книгу, – больше всего меня страшит в этой сцене то, что фурии «внутри пустые». Такой ужас даже нельзя вообразить. Не понимаю, как Шелли решился написать это. Каждый раз мне хочется забраться куда-нибудь в щель и спрятаться.

Он повернулся к ней; его сияющие глаза казались огромными.

– Но в этом все утешение. Неужели вам не понятно, что он хотел сказать? Ведь фурии только призраки и знают это, и оттого они так озлоблены.

– Но вы не призрак, – сказала она, глядя ему в лицо, – почему же вы так озлоблены?

Он резко откинулся назад и молча посмотрел на Маргариту. Потом улыбнулся, и в глазах его зажёгся опасный огонёк.

– А откуда вы знаете, что я не пуст внутри? А з-злиться, моя дорогая, я в-вообще неспособен. Вам не удастся р-разо-злить меня, даже если вы и п-попробуете.

– А бог пробовал? Он прищурился.

– Я открою вам один с-секрет. Он – всё равно что фурии. Он – только призрак, и знает это.

– Это страшнее всего, – прошептала она.

После этого вечера он долго не читал ей ничего, кроме комедий и шуточных или военных баллад. Однажды Рене попросил Феликса прочитать оду Вордсворта «О постижении сущности бессмертия», но тот прочитал её так монотонно, что в середине Маргарита начала зевать и заявила, что не может внимательно слушать стихи поэта, который способен начать сонет с обращения «Джонс».

Феликс взглянул на Маргариту, и в глазах его загорелся опасный огонёк. Отбросив том Вордсворта, он мрачно проскандировал:

Питер был скучен – сначала.

Был скучен, так скучен!

– Дело в том, – мягко заметил Рене, – что я не нахожу Вордсворта скучным.

Маргарита смеялась до тех пор, пока по щекам её не потекли слёзы.

– О Рене! Да ты просто агнец!

Рене улыбнулся: он был рад, что сестра смеётся, хотя и не понимал почему.

– Я прошу прощения, Рене, ваш упрёк был справедлив, – внезапно перестав смеяться, сказал Феликс.

Он взял в руки книгу и прочёл оду ещё раз. Он читал с таким чувством, что даже Маргарита стала совсем серьёзной.

– А теперь, – заключил Феликс, захлопывая книгу, – вам не кажется, Рене, что я заслужил награду? Спойте мне «Друзей с цветами майорана». Завтра я уезжаю в Лондон, а в такую погоду поездка по морю вряд ли окажется приятной. Я хочу чего-нибудь весёлого, чтобы утешиться.

– Вы уезжаете? – спросила Маргарита. Он пожал плечами.

– Не думаю, но кто знает...

Он довольно часто внезапно куда-нибудь уезжал, ссылаясь на свою журналистскую работу. И Рене и Маргарита делали вид, что верят ему, но в его отсутствие всегда страшно волновались. Однажды весной он пропал на три недели, оставив записку, что «должен был срочно уехать». А потом они узнали, что он всё это время находился в Париже, – у него был новый приступ. Сперва Маргарита ничего не сказала, но через несколько месяцев напомнила об этом случае:

– Разве вы не понимаете, что это жестоко? Неужели вы не могли сказать нам правду и не заставляли нас узнавать об этом от других?

– Н-но я не хотел, чтобы вы знали. Вы бы и не узнали, если бы не глупость Бертильона. Рене незачем знать об этом – он принимает это до смешного близко к сердцу.

– А вам не кажется, что мы... что он принимает близко к сердцу и ваши внезапные исчезновения, когда вы не оставляете даже адреса и ему начинает казаться, что вы снова в Италии?

– В Италии?

– Вы думаете, я не знаю?

– Вам сказал Рене? – Он посмотрел на Маргариту.

– Рене? Нет. Разве вы его просили?

Не мог же Феликс предположить, что Рене рассказал ей об этом, если его не попросил он сам.

– Кто же вам сказал? – настаивал Феликс.

– Да вы сами! Вы ведь сказали, что «подорвали» своё здоровье в Апеннинах, – вы вернулись оттуда, после этих мятежей, с незажившей раной на щеке. Я же знаю, что вы антиклерикал и... Ах, неужели вы не понимаете, что я уже давно взрослая!

Маргарита досадливо вздохнула. Воспоминание о больно ранивших её словах

«бедная девочка» было ещё свежо. Потом она поглядела на Феликса и испугалась его молчания.

– Из вас вышел бы превосходный сыщик, – сказал он наконец и взял томик Шекспира.

На этот раз он действительно отправился в Англию, и целый месяц дважды в неделю Рене и Маргарита получали от него письма, адресованные им обоим. Это был настоящий дневник, в котором он весело описывал лондонское общество, зрелища, погоду, политические события и свои размышления по поводу всего этого. Стоял декабрь, и начались туманы.

«Я пропитался грязью изнутри и снаружи, – писал Феликс. – Здесь считается, что человек может дышать смесью чечевичного супа с древесным углём, а улицы тут вымощены грязью. На мне не осталось ни одного чистого места. (Это относится только к моему телу и платью. Тут слишком темно, чтоб разглядеть, есть у меня душа или нет, а крохи своего интеллекта я растерял на галерее для посетителей в Вестминстере.) Сегодня я искал прибежища в Британском музее и попытался спрятаться под сенью величественной головы и длани Озимандии, царя царей. Фамилии его я не знаю, но за неимением лучшего сойдёт и это. Сам он из Карнака. У него гранитная корона, но головной боли она, кажется, не вызывает, – и гранитная улыбка, вечная и неизменная. А на грязь он внимания не обращает – тот, кто велик и крепок, может себе это позволить. Для него она не страшна: он знает, что время все сотрёт. В его возрасте каждый может быть философом. Возможно, и я столетий через двадцать перестану ворчать из-за мелочей. Но, – как я объяснил ему, – дни мои коротки; я не потомственный бог и не кусок камня, а всего лишь человек, да к тому же хромой. Как же можно требовать, чтоб я не скользил в грязи или был „выше“ туманов? Но он меня не пожалел. Самое неприятное в этих бессмертных с каменным сердцем – их равнодушная надменность».

Всю рождественскую неделю писем не было, потом, после десятидневного молчания, пришёл пакет, адресованный Маргарите. В нём лежало ожерелье из разноцветных ракушек, скреплённых крохотными золотыми колечками, и длинное письмо, которое вместо обращения начиналось так: «Тысяча и одна ночь. Сказка о пьяном кучере и хромом иностранце».

Спустя несколько дней Рене входил в лондонскую квартиру своего друга. Феликс, бледный и осунувшийся, лежал на диване.

– Рене! – воскликнул он, вскакивая.

– Ложитесь, – спокойно отвечал Рене. – Почему же вы не дали мне знать раньше?

Феликс с минуту в изумлении смотрел на Рене, потом позволил уложить себя на диван, – он был ещё слишком слаб, чтобы стоять.

– Кто сказал вам, что я был болен? – раздражённо спросил он.

– Маргарита.

– А ей кто?

– Не знаю. Я уже неделю не видел её. Я читал в Амьене лекции. Она написала мне, что вы больны, и просила немедленно поехать в Лондон, чтобы ухаживать за вами. Я решил, что вы ей написали.

– Наверно, опять проболтался этот дурак Бертильон, – отвечал Феликс. – Он приехал сюда на военный смотр. Ну что за осел! Ведь я специально просил его держать язык за зубами. И-неужели вы приехали только из-за меня? Что за нелепость! Я вполне оправился, осталась только небольшая слабость.

Когда Феликс достаточно окреп, они вернулись в Париж. Рене проводил выздоравливающего к нему домой, уложил его в постель и только после этого согласился отправиться к себе.

– Тебе об этом сказал Бертильон? – спросил он вечером Маргариту.

– Мы с ним не виделись. Он ведь, кажется, в Англии?

– Тогда кто же тебе сказал? Феликса это очень взволновало.

Она отперла ящик стола около своей кушетки и протянула брату письмо.

– Разве этого недостаточно?

– «Тысяча и одна ночь, сказка...» Это от Феликса? Почерк как будто не его... да, теперь понимаю, почему ты узнала...

– И не только почерк, – прочти все письмо, и ты поймёшь.

Дрожащие, с трудом нацарапанные строчки ползли то вверх, то вниз, и разобрать их было нелегко. Это было бессвязное, с претензией на юмор повествование о безуспешной попытке успеть на рождественский обед при содействии подвыпившего кучера, который не любил иностранцев, и лошади, которая соглашалась тронуться с места только под звуки гимна «Правь, Британия!» Каламбуры были плоскими, многие слова повторялись, другие были пропущены. В середине описания встречи с остряком-мусорщиком рассказ обрывался на словах: «Это всё, что я могу вспомнить, но я торжественно заявляю, что пьян был кучер, а не я».

– Ты, конечно, права, – сказал Рене. – Подобная безвкусица не похожа на Феликса.

– А похоже на него шутить о пьяных возницах и разбившихся каретах именно со мной? Он мог написать это только в горячке. Запомни, Рене, он не должен узнать, как я обо всём догадалась. Ему будет тяжело. Пусть думает, что мне рассказали.

На другой день Феликс навестил Маргариту. Она была одна и к его приходу надела ожерелье из ракушек и белую шёлковую шаль – его прошлогодний подарок. Он был ласков, мил и весел, но при взгляде на него у Маргариты сжалось сердце – скорбные складки вокруг рта стали глубже, и никогда ещё она не видела такой печали в его глазах. Вначале Маргарита не решалась вымолвить ни слова – ей казалось, что она расплачется. Но, взяв себя в руки, она через силу заговорила о пустяках. Ни он, ни она не упомянули ни о его болезни, ни об истории с пьяным кучером.

– А как поживает английская поэзия? – спросил Феликс.

– С тех пор как вы уехали, я ушла с головой в сонеты Шекспира. Отчего вы никогда не говорили мне о них?

– Я не был уверен, что они вам понравятся.

– Я и сама не уверена в этом. По правде говоря, я думала – они мне совсем не понравятся. Но потом стала перечитывать их ещё и ещё. Они ставят меня в тупик. Порой я совершенно теряюсь.

– Сонеты Шекспира очень трудны.

– Да нет, дело не в языке – его я легко понимаю; трудно другое – проникнуть в мысль автора. Кажется, что кто-то всё время заглядывает через плечо. Почитайте мне их, пожалуйста. Книга на столе.

Феликс взял томик в руки.

– Какой именно? Я читал эти сонеты так давно, что почти забыл их содержание.

– Любой после двадцатого. Я их уже хорошо знаю, но хочется послушать, как они звучат.

Феликс полистал страницы, просматривая сонет за сонетом, и наконец начал:

– Я наблюдал, как солнечный восход...

– Ещё, пожалуйста, – попросила Маргарита, когда он умолк.

Феликс продолжал листать сонеты, читая ей то один, то другой; и, наблюдая за ним, девушка заметила, что он ускользнул в иной, закрытый для неё мир. В некоторых местах его голос звучал так, что у неё перехватывало дыхание. Ей чудилось, она слышит вопли, долетающие из бездны, где во тьме бродят души погибших.

Без тени в мире счастья не найдёшь,  
Как мне узнать, что ты сейчас не лжёшь?

При этих словах его глаза стали почти чёрными. Но он прочитал следующий сонет и ещё один, и в голосе его зазвучала угроза. Маргарита не шевелилась, стиснув под шалью руки...

И лилии гниющие...  
Что ему пришлось пережить?  
Какой ужас сделал его таким?

После минутного молчания он перевернул страницу и наугад начал другой сонет:

Да, это правда: где я не бывал,  
Пред кем шута не корчил площадного!

Его голос замер: он не дрогнул, просто в нём не осталось ни звука. Феликс встал, подошёл к окну, откинул шторы и постоял немного, глядя на улицу.

– Мне показалось, что кто-то меня позвал, – сказал он, возвращаясь. – Где же мы остановились? Ах да, на сто десятом сонете. Мне кажется, он мало интересен. И в-вообще эти сонеты не очень приятное чтение. Они такие... как бы это сказать... Не то чтобы слишком вычурные...

– Нет, – тихо сказала Маргарита, – они просто нагие.

Он бросил на неё быстрый взгляд.

– Во всяком случае, в них нет воздуха.словно ты сырнй клещ в коробке с бутербродами и видишь, как над тобой закрывается крышка. Давайте почитаем что-нибудь весёлое.

Маргарита отрицательно покачала головой.

– Нет, на сегодня довольно – я устала. Взгляните, пожалуйста, не пришёл ли Рене. Он хотел поговорить с вами. Да, оставьте книгу на столе, благодарю вас.

Когда он вышел из комнаты, она опять взяла томик Шекспира и перечла ещё раз три-четыре сонета. И на книгу упало несколько слез.

– О, если б только он не лгал об этом... если б только он не лгал.

Всю зиму Феликс выглядел так плохо, что друзья не переставали за него тревожиться. Летом он много ездил и упорно уверял, что просто путешествует ради удовольствия. Однако, когда он в октябре приехал в Мартерель, все в один голос принялись уговаривать его поехать, как советовал Леру, к морю или в горы и отдохнуть по-настоящему.

– В Швейцарию ехать поздновато, – отвечал он. – Кроме того, один, без всякого дела, я умру там со скуки. Послушайте, Рене, а если нам вместе поехать в Антиб или куда-нибудь на Эстерель? Вам тоже нужно отдохнуть, а в Париж вы должны вернуться только через месяц. На обратном пути мы заедем сюда за вашей сестрой.

Все лето Рене очень много работал и поэтому с радостью согласился на это предложение. Они уехали почти немедленно. Маргарита, которая осталась в замке, почти каждый день получала от них письма из Антиба. Они старались, чтобы она как можно полнее разделила с ними удовольствие поездки. Рене по большей части описывал события дня и пейзажи. Письма Феликса были весёлым потоком смешных и нежных глупостей, и ей начинало казаться, что ледяная стена его недоверчивой сдержанности постепенно тает. Он уже почти верил, что она и Рене действительно к нему привязаны. «Быть может, – думала Маргарита, – он поймёт, как сильно мы его любим, даже прежде, чем мы состаримся и поседеем».

«Моя дорогая Маргарита.

Прошлый раз вы подписались просто «Маргарита», поэтому и я отважился отбросить «мадемуазель». Порой мне приходится напоминать себе, что вы мне не сестра. Те, кто устанавливает родственные связи, как всегда что-то напутали. Ведь сестра Рене должна быть и моей сестрой. Это все их глупые формальности.

Осень становится совсем дряхлой и по старческой забывчивости считает себя летом. Но склоны гор, обращённые к вам, наверное, думают, что уже зима. Поэтому берегитесь простуды. Здесь в садах ещё цветут розы, и все наслаждаются щедрым солнцем и радостью бытия. С тех пор как мы сюда приехали, я бездельничаю, болтаю, ем и сплю, а посему' стал таким упитанным и здоровым, что вы меня вряд ли узнаете. Рене цветёт наравне с розами, и глядеть на него – одно наслаждение.

Сегодня мы, словно английские туристы, устроили пикник высоко в горах, на перекрёстке дорог. Отсюда открывается прекрасный вид. Рене наслаждается им, лёжа на спине, спрятав голову в куст лаванды и надвинув на нос шляпу. Проснувшись, он станет уверять, что слушал пение жаворонков. Я сижу на камне, высоко над дорогой, и единственное облачко, омрачающее сейчас моё счастье, – это облако пыли, поднятое старухой и осликом, который тащит тележку с луком. (Я знаю, что в такой божественный день тележке полагалось бы быть нагруженной нектаром и амброзией или, на худой конец, виноградом и персиками, но я человек правдивый: то был просто лук.) Однако пыль уже оседает, и опять за мной – вся Франция, а передо мной – вся Италия, справа – Средиземное море, слева – Альпы, а надо мной – сапфировый купол. И все пять – совсем рядом; они так сладостно спокойны и так близки, что стоит мне протянуть руку, и я могу выбрать из них, что захочу, и послать вам в подарок. Но если

даже почтовые власти не заявят, что перевозка их связана с затруднениями (снова формальности – проклятие всякого ведомства), их прелесть пропадёт в пути, и когда они достигнут вас, они станут громадными, грозными, страшными. А посему я посылаю вам на память лишь эту веточку дикого розмарина.

Но всё же я сердит на старуху. Она появилась со своим ослом как раз в середине сказки, которую я себе рассказывал, и все испортила. А вы когда-нибудь рассказываете себе сказки? Или вы уже совсем большая? Моя сказка была похожа на фреску Беноццо Гоццолли: по горам едет верхом маленький царь, очень нарядный и щеголеватый, как и подобает уважающему себя самодержцу; на его голове сияет зубчатая корона из чистого золота. За это я и люблю старых мастеров – они никогда не скупались на золото, никогда не морочили зрителей жёлтой краской и игрой света и тени, как теперешние умники. Для них царь был царём, и если ему нужна была золотая корона, художник вырезал её из листового золота и надевал на него, как положено. Но мои цари были ещё великолепнее и с презрением отвернули бы свои царственные носы от короны из простого золота, – их одежды сверкали драгоценными камнями, и ехали они в Италию.

Ну вот, Рене наконец проснулся и собирает для костра ветки розмарина. Мне нужно помочь ему, а то и цари, и луковицы, и старуха с её осликом успеют добраться до Италии, прежде чем закипит наш чайник».

Маргарита перечитывала письмо, пока не выучила его наизусть. Каждое слово, полученное от Феликса, было ей дорого, но причудливо-весёлое настроение, которым дышало это письмо, было столь неуловимо и в то же время столь восхитительно, что, поддавшись его странному очарованию, она забывала даже горечь, порождённую случайным признанием:

«Мне приходится напоминать себе, что вы мне не сестра».

– Мне бы тоже хотелось увидеть на пыльной дороге царей в коронах и драгоценных нарядах, – сказала она задумчиво Феликсу, когда друзья заехали за ней в Мартерель. – Но я бы не увидела ничего, кроме старухи и лука.

– Не сокрушайтесь, – беззаботно ответил он, – и лук и старуха имеют свои достоинства.

Когда они вернулись в Париж, Маргарита прочла Рене кусочек из письма-сказки. Он доставил ей много радости, утверждая, что и не думал спать.

– Я действительно лежал под кустом лаванды, и слушал пенье жаворонков, так почему же мне нельзя этого утверждать? Между прочим, ты ещё не видела акварельного наброска этого места?

– Твоего?

– Да. Я сделал для Феликса шесть этюдов. Они у него дома, но я возьму их, чтобы показать тебе перед отъездом в Амьен.

– Ты уезжаешь на этой неделе?

– В субботу. Я вернусь через несколько дней, мне надо прочитать там только две лекции,

В пятницу Рене, вернувшись домой поздно вечером, принёс с собой папку.

– Феликса не было дома, – объяснил он утром Маргарите, – но он оставил мне наброски. Я написал ему, что тебе хочется взглянуть на них, только он почему-то забыл набросок того перекрёстка, но я нашёл его у него на столе.

Раскрыв папку, Маргарита заметила на обороте одного из листков написанные карандашом слова.

– Он здесь что-то написал, – сказала она. – Не это ли вид перекрёстка? Он, наверно, потому и отложил этот рисунок. Может быть, это не предназначено для посторонних глаз?

– Ну, вряд ли, – отвечал Рене. – Это стихи?

– Кажется, да.

– Тогда я знаю, что там. Он собирался повесить этюд у себя над кроватью в рамке с вырезанными на ней стихами. Наверное, это они. Не знаю, на чём он остановился, – он подумывал об отрывке из «Лисидаса». Набросок слишком плох, чтоб вставлять его в рамку, но даёт некоторое представление об этом пейзаже. Вон те голубые горы вдали – уже Италия. Но я заболтался, мне давно пора уходить. Ну конечно я буду писать тебе каждый день. Разве бывало иначе?

После ухода брата Маргарита взяла акварель, изображающую перекрёсток, и попыталась представить себе блестящую процессию царей. Потом она вспомнила о надписи и перевернула листок, желая взглянуть, какую цитату выбрал Феликс.

### ПЕРЕПУТЬЕ

В пыли. где сошлись три дороги,  
На камне я сел отдохнуть.  
Дорога сбегает с предгорий,  
Дорога ведёт от моря,  
А третья – в Италию путь.  
Земные цари прискакали  
К дорогам, уснувшим в пыли.  
Сверкали их латы стальные,  
Короны сияли железом,  
Железом и горем земли.  
И стали цари совещаться,  
Куда же теперь повернуть:  
Дорога сбегает с предгорий,  
Дорога ведёт от моря,  
А третья – в Италию путь.  
Одежды их были покрыты  
Узорами злата и тьмы,  
Пёстры, как гниющая падаль.  
И следом за ними летело  
Дыхание чёрной чумы.  
Глядели направо, налево,  
Как звери в чаще лесной:  
Ведь с гор повеяло ветром,  
И с моря повеяло ветром,

Но в Италии-мёртвый покой.  
Сижу я в пыли перепутья,  
Видны мне дороги-все три.  
Сижу я в пыли перепутья,  
А в Италию едут цари.

К вечеру неожиданно пришёл Феликс.

– Рене принёс вам акварели? – спросил он Маргариту. – Ах, вот они. Не правда ли, он очень хорошо передал перспективу? Если бы удалось победить его необычайную скромность, он бы написал немало вещей, гораздо лучше тех, что мы видим на выставках. У него все выходит так искренне и от души.

– Да, – еле слышно ответила Маргарита, не поднимая глаз.

Он посмотрел на неё с нежной заботливостью.

– Вы бледны. У вас болит голова? Мне, пожалуй, лучше уйти.

– Нет, нет, останьтесь, прошу вас. Я чувствую себя совсем хорошо.

Феликс стал просматривать наброски.

– Между прочим, один из них я отложил, чтобы вставить в рамку, – беззаботно продолжал он, – а теперь никак не могу его найти. Может быть, Рене прихватил и его? Нет, здесь его нет.

Маргарита отперла ящик своего стола.

– Вот он, – и протянула ему листок стороной, где были написаны карандашом стихи.

Феликс едва заметно вздрогнул.

– Вы прочли?

– Да, случайно. Рене решил, что это отрывок, который вы выбрали для рамки. Он не читал. Я дочитала почти до конца, прежде чем поняла, что это не для посторонних глаз. Простите меня.

Маргарита говорила тихо и неуверенно, по-прежнему не глядя на него. Феликс сразу овладел собой.

– О, какая ерунда. Не стоит обращать внимания. Конечно, я сам никогда бы не стал показывать такой в-взор знакомым, но раз уж так случилось... Ведь это просто другой вариант нашей маленькой фрески во вкусе Беноццо Гоццоли. Вам никогда не приходило в голову, что почти все сказки имеют два смысла? Искусство жить и состоит в том, чтобы следовать тому, который приятен, и н-не думать о... Маргарита... Что с вами? Почему...

Девушка разрыдалась.

– Ах, как вы жестоки! Как жестоки! Я не имею права знать правду, но не рассказывайте мне сказки!

Феликс, растерявшись, смотрел на Маргариту. Слезы душили её.

– Беноццо Гоццоли! И я, закрыв глаза, пыталась увидеть их... и шутила с вами... а в глубине скрывалось это! Ах. как вы только могли!

Феликс присел около Маргариты и стал нежно гладить её по голове.

– Но, дитя, не могу же я навязывать вам свои отвратительные фантазии? Их надо хранить для себя. Нашим друзьям принадлежит только хорошее. Не плачьте, дорогая, мне так больно, что я огорчил вас. Мне не следовало посылать вам этого глупого письма. Ну что вас так расстроило? Просто вы узнали, что я пишу плохие стихи. Но ведь у меня хватает самолюбия не печатать их.

Она поглядела ему прямо в лицо.

– Чем заслужила я это? Разве я когда-нибудь старалась узнать ваши секреты или докучала вам своей любовью? Зачем вы притворяетесь и лжёте мне, забавляете меня и рассказываете мне сказки, словно я ребёнок, который ушибся и хочет, чтоб его утешили? Вы и с Рене такой же? Но я не в силах... Как я могу заставить вас поверить, что вы мне дороги...

Собрав все силы, Маргарита взяла себя в руки.

– С моей стороны глупо сердиться – вы ведь иначе не можете. Это ваша болезнь.

– К-какая болезнь, дорогая? – смиренно спросил Феликс. – С-страсть к рифмоплётству? Это всего только дурная привычка, и я позволяю себе забавляться лишь на досуге. Зачем же так огорчаться?

Она обернулась и посмотрела ему в глаза.

– Я о другом. Вы всегда всех подозреваете, всех дурачите и не верите, что вас действительно любят. Неужели вы до самой смерти будете носить маску? И никогда никому больше не поверите только потому, что один человек вас предал?

Феликс вскочил и, отвернувшись от Маргариты, нагнулся над акварелями. Его пальцы нервно перебирали листы.

– А з-знаете, – наконец заговорил он нарочито лёгким тоном, – наш разговор напоминает мне английскую игру в перекрёстные вопросы и запутанные ответы. Мне очень жаль, что я настолько туп, но я не имею ни м-малейшего представления, о чём вы говорите.

– Конечно, не имеете, – с горечью ответила Маргарита. – Иначе разве стали бы вы обращаться со мной как с шестилетним ребёнком? – Она схватила Феликса за руку. – Но не в этом дело! Не всё ли равно, как вы обращаетесь со мной... Но что вы делаете с собой... я знаю, любимый...

Она снова разрыдалась. Феликс не двигался и продолжал смотреть в сторону. Она прижалась щекой к его руке.

– Я знаю, вы верили одному человеку... и он обманул вас. Я знаю, это разбило вашу молодость... уничтожило вашу веру в бога... Любимый мой...

Маргарита с криком откинулась. Феликс смеялся.

– Не надо! – вскрикнула она. – Не надо! Лучше бы вы меня убили – только не это.

Он продолжал тихонько смеяться.

Она упала лицом в подушки, а когда отняла от ушей пальцы, он всё ещё смеялся. Наконец смех умолк, и наступила тишина. Лёгкое движение, треск разрываемой бумаги, и звук осторожно закрытой двери.

Маргарита лежала не шевелясь. От стука наружной двери перед её глазами вспыхнул белый огонь. Она подняла голову и осмотрелась.

Она была одна, рядом с кушеткой валялась акварель со стихами, разорванная пополам.

Возвратившись из Амьена, Рене нашёл Маргариту как-то странно переменившейся, но не мог понять, в чём дело. Она уверяла, что совершенно здорова, но вид у неё был совсем больной. И за всё время его отсутствия она не написала ему ни строчки. Прежде этого не случалось. Рене решил, что, вероятно, она без него болела или перенесла тяжёлое потрясение, а теперь, не желая его огорчать, скрывает это. «Если что-нибудь случилось, Феликс должен знать об этом», – подумал он и решил зайти к нему в тот же вечер.

В окнах сиял яркий свет и по лестнице, впереди Рене, поднимались трое мужчин во фраках. Хозяйка с удивлением посмотрела на дорожное платье Рене.

– У господина Ривареса званый вечер.

– О, я и не знал. – Рене был озадачен. – Тогда я не буду входить. Попросите его, пожалуйста, выйти ко мне на минутку. Мне нужно поговорить с ним.

Феликс вышел улыбаясь, его глаза сверкали. И у Рене впервые промелькнула мысль, что Гийоме, пожалуй, был прав, утверждая, что он похож на пантеру в лесах Амазонки.

– К-какой приятный сюрприз! Я думал, вы ещё в Амьене.

– Я вернулся сегодня. Мне надо поговорить с вами всего одну минуту...

– Да входите же.

– Нет, нет, у вас гости.

– Т-так что же? Вы тоже будете гостем.

– Но я не могу, я же не одет.

– Чепуха! Вы всегда прекрасно одеты, всегда лучше всех. Заходите, п-прошу вас, я хочу представить вас одному человеку.

Рене вошёл в полную гостей комнату.

– Т-такая удача, барон. Н-неожиданно вернулся мой друг, господин Мартель. Мой небольшой прощальный вечер без него был бы неполным. Господин Мартель – барон Розенберг.

С дивана, заискивающе улыбаясь, грузно поднялось прилизанное, лоснящееся существо, надушённое, сверкающее орденами и драгоценностями. От прикосновения его пальцев Рене захотелось убежать и вымыть руки.

– Тот самый господин Мартель, участник экспедиции в Южную Америку?

– Тот самый, – отвечал Феликс. – Мы с господином Мартелем давнишние знакомые. Мы бывали с ним во всевозможных переделках и стали большими друзьями.

– Счастлив познакомиться с вами, – сказал барон. – Я питаю к исследователям особое пристрастие. Жизнь, полная опасных приключений, всегда была моей

несбыточной мечтой.

Рене что-то невнятно пробормотал и в совершенном изумлении повернулся к Феликсу, собираясь спросить его, что всё это означает, но увидел, что тот наблюдает за ним, прищурив глаза. Ему показалось, что в них горят зелёные огоньки.

– Вы будете скучать без господина Ривареса, не правда ли? – спросил барон. – Я уже говорил, что, заманив его в Вену, мы его не отпустим.

– В Вену? – машинально повторил Рене; перед его глазами заплясали искры.

– Господин Мартель т-только что вернулся из Амьена, – любезно объяснил Феликс. – Он ещё не знает об этом. Я уезжаю из Парижа и проведу эту з-зиму в Вене. Пока я ещё не знаю, где я поселюсь потом. Я уезжаю завтра вечером. Прошу прощения, барон. Пришли новые гости.

Рене смотрел ему вслед. Нудный голос барона не утихал ни на мгновение.

– Какой обаятельный человек. И такой оригинал! Ну кто бы ещё, приняв подобное решение, успел за одну неделю окончить все приготовления и устроить прощальный вечер...

– Мартель! На минутку. Рене обернулся.

– Маршан! Маршан... что случилось?

– Погодите. Пойдёмте туда.

Рене почувствовал, что его ведут по комнате.

– Сядьте. Помолчите немного. Выпейте вот это. Выпив коньяку, Рене выпрямился.

– У меня закружилась голова. Надеюсь, никто не заметил?

– Никто, я вас загородил. Мартель, вы понимаете, что происходит?

– Я ничего не понимаю. Я только что узнал.

– Поговорим потом. Подождите, пока уйдут все эти дураки. Осторожней, он на нас смотрит.

Маршан отошёл, а Рене повернулся спиной к гостям и стал смотреть в окно.

– Вы, конечно, меня не помните, господин Мартель? Перед ним стоял маленький экспансивный неаполитанец Галли, с которым он познакомился на каком-то званом обеде.

– Вам, наверное, очень тяжело расставаться с господином Риваресом? Париж без него уже будет не тот, не правда ли?

– Вероятно, – пробормотал Рене.

– Он, видимо, очень популярен, – не унимался маленький неаполитанец, весело поблёскивая белыми зубами. Я с ним едва знаком. Мы встречались два года тому назад, во Флоренции, после мятежа в Савиньо. Ваша сестра, должно быть, тоже опечалена его отъездом?

– Моя сестра?

– Он сию минуту сказал мне, что вы и ваша сестра – его лучшие друзья. Она живёт в Париже?

– Да, – отвечал Рене, хватаясь за подоконник.

Ему казалось, что его медленно убивают, вонзая в него маленькие иголки.

Поскорее бы ушли эти люди! Пусть случилось самое страшное – он все перенесёт, лишь бы узнать, в чём дело;

эта неизвестность мучительнее всего.

Ему кое-как удалось отделаться от Галли, но в него снова вцепился барон.

– Господин Риварес только что рассказал мне, как вы чудом спаслись от когтей пумы. Никогда не слышал более захватывающей истории! Поразительно, как вовремя он подоспел! И как он остроумен! Порой прямо не знаешь – шутит он или говорит всерьёз. Например, он уверял меня, что на близком расстоянии таракан гораздо страшнее пумы, и, право же, можно подумать, что он действительно верит этому. А с каким серьёзным видом он сообщил мне, что намеревался застрелить вас и был крайне обескуражен, когда ему пришлось спасти вам жизнь. Перебежали друг другу дорогу! Должно быть, замешана дама? *Chercner la femme*:<sup>2</sup> Сударь, это оскорбление! Ведь я с вами разговариваю...

Но Рене уже исчез. Он стремглав бежал по лестнице, а хозяйка квартиры кричала ему вслед:

– Господин Мартель! Господин Мартель! Вы забыли вашу шляпу.

Феликс стоял в дверях, провожая гостей. Улыбаясь, как автомат, он повторял одну и ту же фразу, когда гость, прощаясь, любезно желал ему счастливого пути или выражал сожаление, что они теперь долго не увидятся. Он был очень бледен, усталость затуманила лихорадочно блестящие глаза.

Маршан уходил последним. Он остался до конца и надеялся посоветоваться с Рене, прежде чем говорить с Феликсом. Но когда толпа гостей поредела, он с удивлением заметил, что Рене исчез.

Все ушли. Феликс по-прежнему стоял в дверях, явно дожидаясь, чтобы доктор последовал примеру остальных. Неровной походкой, словно расталкивая толпу, Маршан подошёл к Феликсу и положил руки ему на плечи.

– Итак, мой мальчик, что всё это означает? Феликс улыбнулся ему в лицо.

– Спросите Мартеля.

– Я спрашивал. Он знает не больше моего.

– Неужели? – спросил Феликс, поднимая брови.

– Помочь вам? – спросил Маршан.

– Благодарю вас. Мне уже п-пора учиться рассчитывать только на с-себя. Н-нельзя же всё время зависеть от друзей.

Руки Маршана медленно сползли с плеч Феликса. Несколько секунд они молчали.

– Значит, вы собираетесь порвать со своими друзьями?

– Мой дорогой доктор! – Феликс протестующе показал на стол, уставленный

---

<sup>2</sup> Французское выражение «*Chercner la femme*», означающее «В каждом деле ищите женщину».

чашками для кофе. – Р-разве меня только что не п-посетило семьдесят моих друзей?

Снова наступило молчание. Маршан вышел в коридор и взял шляпу. Когда Феликс подал ему пальто, он вздрогнул.

– Ну что ж, вероятно, это конец, – сказал Маршан. – Видит бог, я вас не виню. Прощайте.

Доктор вышел на улицу. «Это моя вина», – подумал он, и его щеки коснулись крылышки «той, что раскрывает секреты». Только когда захлопнулась дверь парадного, Феликс понял, что подумал Маршан. Доктор решил, что он собирается застрелиться. Что ж, это, пожалуй, недалеко от истины. Он действительно покончил с личной жизнью, а то, ради чего он должен жить, Маршана не касается. Как бы то ни было, он выдержал этот вечер, а завтра ночью он будет уже далеко от Парижа.

Все ещё улыбаясь, Феликс позвал хозяйку, помог ей собрать грязную посуду и привести в порядок комнату. Убрав сор и расставив по местам стулья, хозяйка задержалась в дверях, чтобы спросить, не помочь ли ему собраться.

– Спасибо, не надо, – отвечал он. – Сейчас уже слишком поздно. Уложим все утром. Вы, наверно, очень устали.

– Конечно, час уже поздний, но ради вас я готова не спать хоть всю ночь. Мне жалко, что вы уезжаете, сударь. Такого хорошего квартиранта... – Она поднесла к глазам фартук.

Феликс зевнул.

– Мне хочется спать, мадам Рамбо; нам обоим пора в постель. Спокойной ночи.

Он запер дверь и, прислонившись к ней, устало улыбнулся. Сначала Рене, потом Маршан, а теперь ещё мадам Рамбо. Она-то, во всяком случае, горюет искренне – он платил всегда аккуратно.

Ну что же, пора приниматься за работу. Вещи могут подождать, но язвы надо выжечь немедленно. Он обошёл комнаты, собирая каждую вещицу, которая напоминала о Рене и Маргарите. Акварели, вышивки, рисунки в рамках – всё, что они сделали, украсили или выбрали для него, было разломано или разорвано с холодным бешенством и брошено на пол. Потом наступила очередь писем, хранившихся в бюро, – многочисленных писем Рене из Лиона, в которых он пытался выразить то, что не решался сказать при встрече, и коротенькая робкая записка, подписанная «Маргарита». А вот и письмо от Маршана, полученное два года тому назад, сдержанное и деловое: советы психиатра избегать лишних страданий и подробные объяснения, как это сделать. Тогда он не совсем понял это письмо и отложил его, чтобы потом поразмыслить над ним. Сейчас он перечёл его снова.

«...Раз вы решили не сдаваться, вам следует знать, какие опасности угрожают психике человека в вашем положении. Я не думаю, чтобы вам грозило какое-нибудь обыкновенное нервное заболевание, в равной мере я ни на минуту не допускаю – хотя порой не выдерживают и самые мужественные люди, – что у вас не хватит силы воли и вы будете искать спасения в опиуме. Но физическая боль коварный враг, нет конца ловушкам, которые она расставляет нашему воображению. Остерегайтесь прежде всего полюбить одиночество, на которое вы обречены, и не окружайте себя стеной из переборотых вами физических страданий».

Он заколебался, ясно понимая, что это серьёзное предостережение очень мудрого человека. Но потом вспомнил «ту, что раскрывает секреты». Нет, за стенами он в безопасности – туда не проникнет ни одна бабочка. Он разорвал письмо и бросил его на пол, к остальным. Лучше покончить со всем сразу. Если Рене мог предать...

Его снова охватило холодное бешенство. Он никогда бы не оскорбил даже предателя, – просто ушёл бы, без единого слова, не упрекнув даже взглядом, как ушёл он тогда от Маргариты. Исчез бы из их жизни и пошёл своим путём. Но Рене пришёл к нему домой! Пришёл нагло, чтобы ещё раз заставить его смотреть на своё лживое лицо, которое он считал таким честным. Может быть, он пришёл, чтобы первым перейти в нападение, чтобы бесстыдно потребовать объяснений: «Почему вы так обошлись с ней? Она сказала мне, что вы...»

Эта воображаемая фраза заставила его снова рассмеяться. О, несомненно она многое наговорила. Они, конечно, сплетничали. Уж если человек рассказывал девушке, о чём бредил его больной друг, а она слушала его и, наверное, спрашивала, сгорая от любопытства, то рассчитывать на их сдержанность не приходится.

Ну, если уж Рене пришёл требовать объяснения, барон Розенберг ему все хорошо объяснил! Если Рене допустил в святая святых тайны, доверенной ему другом, кого-то третьего, почему бы не допустить и всю улицу?

Он развёл огонь, сел перед камином и стал кидать в пламя то что валялось кучей на полу. На это потребовалось много времени. Когда съежилась и стала исчезать подпись Рене, он зажал рот, чтобы удержать крик боли. Ведь это горел он, он сам.

Он обжёт пальцы, пытаясь выхватить письмо из огня, но оно выскользнуло и сгорело. Все сгорело. Остался пепел, и остался он. Теперь до самой смерти он будет одинок.

Но пепел лучше предательства. И ему не впервые приходится порывать с губительными привязанностями. Давнишние смутные воспоминания – мальчик, который, смеясь, разбивает молотком распятие. Он не думал, что на протяжении жизни ему придётся ещё раз совершить этот очистительный акт. Но, оказывается, человек закутывается в привязанности, точно зимой в тёплую одежду. А потом они воспаляются, начинают въедаться в тело, и их приходится выжигать. К счастью, для этого нужно немало времени, а жить ему осталось немного.

Однако он совсем зря разволновался по пустякам – ему и раньше причиняли боль, и было гораздо больнее. И всё же, хотя Рене никогда не владел его сердцем, удар он сумел нанести неплохой. Можно восхищаться его находчивостью. Он нашёл изумительно простой способ предать. Достаточно воспользоваться болезнью человека, преданно ухаживать за ним, подслушать его бред, проникнуть в самые сокровенные его горести и начать рассказывать о них направо и налево.

Забавно, сколько же есть способов предать человека? К тому же это совсем излишне – человек сумеет погубить себя и без всякого предательства. Ведь не было запятнано предательством жестокое равнодушие синьора Джузеппе. Он просто пожертвовал в силу политической необходимости чужим ему человеком. Непрерывные мятежи питали душу Италии. И хотя каждую вспышку безжалостно подавляли, кровь, в которой её топили, смывала с народной души яд покорности.

Когда восстание в Савиньо потерпело поражение, великий человек невозмутимо заявил о своей полной к нему непричастности. А почему бы и нет? Это тоже было политической необходимостью, а потому вполне оправданно.

Да, синьор Джузеппе может спать спокойно, – он действовал честно, и мстительный призрак не будет тревожить его совесть. Он с самого начала предупредил: «Меня не интересует ваша личная судьба». Он не просил и не предлагал любви. Дело должно было быть сделано, а во что это обойдётся исполнителю, его не интересовало. Дело было сделано, и он пошёл дальше своим путём. Как Гурупира, но не как Иуда. Предать любовь может только тот, кого любят...

Сидя около камина и глядя на догорающие угли, Феликс перебирал в памяти тех, кто обманывал его. От рождения он, вероятно, был очень доверчив – процессия получилась весьма внушительная. Мать, которая лелеяла его и лгала ему; обожаемая мать, которая умерла в его объятьях с поцелуем и ложью на устах. Священник, выдавший тайну исповеди. Юноши, которые называли его своим товарищем и при первом же слове клеветы сразу поверили, что он способен на подлость. Девушка, которая была чутким другом, пока он, в минуту смертельного горя, не попросил её о помощи, а тогда она дала ему пощёчину. И был ещё один друг – и святой, и отец, и лгун...

Он вскочил и расправил плечи. Какая глупость – уже давно за полночь, впереди долгое путешествие, а он сидит не двигаясь, словно решил подхватить простуду. Эти воспоминания принадлежат той жизни, которая уже кончилась; подобно пеплу, они бледны и хрупки. А сейчас пора ложиться.

Он вошёл в спальню и стал раздеваться. Сзади что-то шевельнулось – оттуда пахло зловоньем, сверкнули зубы, блеснули белки глаз.

– Значит, все твои благородные друзья предали тебя? Тогда попробуй довериться мне.

Это был негр, торговец фруктами. Он с воплем отскочил, обеими руками оттолкнув гнусное чёрное лицо. Оно рассыпалось и расплылось на полу отвратительным пятном.

Он стоял задыхаясь, весь мокрый от пота, и его била дрожь. Какой холод, какой невыносимый холод! Нужно вернуться к огню, или он умрёт от холода. Он осторожно переступил через ковёр, обойдя место, где упало лицо. Но оно уже совсем сгнило, от него не осталось и следа. В гостиной он опустился на колени перед камином и, поправив поленья, стал раздувать огонь. Но пламя не вспыхивало. Он нагнулся, чтобы подуть на угли, и в лицо ему пахнул густой запах мускуса.

Женщины – накрашенные, бесстыдные мулатки!.. Они обступили его со всех сторон, они льнули к нему, заигрывали... Их руки обвивали его шею, их жирные волосы липли к губам...

– Почему ты так ненавидишь нас? Мы никогда тебя не предавали. Если ты терял на арене сознание, мы смеялись. Но ведь смех – это пустяки. Ну же, поцелуй нас, будем друзьями.

И не было сил оторвать их руки, снова и снова обнимали они его. Жеманные голоса уговаривали и увещевали, хихикали и визжали.

– Доверься мне, я не предам!

– Нет, не верь ей, доверься мне!

Голоса слились. в издевательский смех, кудахтающий, пронзительный негритянский смех. О, если они не умолкнут, он сойдёт с ума, сойдёт с ума.

– Хайме! Хайме, отгони женщин! только женщин...

Он лежал на полу, обнимая ноги пьяного метиса, рабом которого он был.

– Хайме, я никогда больше не сбегу! Буду у тебя шутом до самой смерти – только отгони женщин...

– Теперь ты видишь, что есть кое-что похуже старого Хайме! Я, правда, бил тебя, но я не подслушивал твоих секретов, мне не было дела, о чём ты там бредишь.

– Спасите! – взмолился он и попытался встать. – Спасите!

– Приди ко мне, я спасу тебя, carino!<sup>3</sup> О, только не этот голос! Лучше уж негры и накрашенные женщины – их он никогда не любил.

– Вы лгали мне, лгали! Скорее я брошусь в окно, разобьюсь о мостовую, чем приму вашу любовь!

Холодный, ночной воздух ворвался в комнату. Вздувшаяся штора взвилась и опала, окутав его, как саван. Из мрака ночи распятый Христос насмешливо протягивал к нему руки.

– Приди ко мне. Вокруг тебя – призраки, прыгай и не бойся. Если упадёшь, то ко мне в объятия.

– Ложь, ложь! – закричал он. – Все ложь! Он швырнул оконную раму в лицо видению, и мир, с грохотом рухнув, исчез.

Он очнулся на полу около окна. Его окутала разорванная штора, а на щеке, которую он, падая, ушиб, ныл синяк. Ухватившись за подоконник, он с трудом приподнялся и выглянул наружу.

Заря... заря... Она пришла, и наступила передышка. Даже в аду бывает несколько кратких часов передышки.

### **ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ ФЕЛИКСА РИВАРЕСА**

Узри, господь, я жалок, мал и слаб.  
Песчинка в море смерти – жизнь моя.  
Когда б я мог бороться и швырнуть  
В лицо тебе проклятье бытия!  
Но нет, господь, я жалок, мал и слаб,  
Бескрылый, одинокий и больной...  
Господь, будь я твой царь, а ты мой раб,  
Того б не сделал я, что сделал ты со мной.

Узри, господь, я жалок, мал и слаб...  
Из той страны, где правят боль и страх,  
Пришёл я к людям и стучался к ним.

---

<sup>3</sup> Дорогой – итал.

Хотел найти приют в людских сердцах.  
Согреться пониманием людским.  
Но хоть сердца людские и теплы,  
Туда, где холод, изгнан я опять.  
Я звал их, ждал и снова звал из мглы,  
Услышали – и не смогли понять.

## ЭПИЛОГ

Рене проводил в Мартереле летние каникулы. Маргарита жила там ещё с прошлого лета, изучала египтологию и как секретарь помогала отцу. Париж, казалось, надоел ей, и Рене подумывал отказаться от квартиры и переехать в меблированные комнаты – незачем тратиться на квартиру, если Маргарита не собирается вернуться в Париж.

– Не пойдёшь ли ты со мной в церковь? – спросила тётя Анжелика, заглядывая в комнату, где Рене сидел с Анри и Бланш. – В такое чудесное утро приятно пройтись.

Рене послушно встал. Теперь ему была безразлично, с кем идти в церковь.

Они шли по аллее. Рене пригибал к себе и нюхал ветки цветущих лип. Анжелика чинно держала двумя руками молитвенник, лицо её хранило важную серьёзность.

– Мне бы хотелось поговорить с тобой, – начала наконец Анжелика. – Я думаю, тебе пора бы уже обзавестись семьёй. Годы бегут, и если ты вообще намерен жениться, то дальше откладывать нельзя.

– Мне тридцать пять лет, но это ещё не достаточное основание, чтобы жениться. Я вполне доволен своей судьбой.

– Конечно, дорогой, у тебя лёгкий характер. Но теперь, когда Маргарита уехала из Парижа, тебе там так одиноко. Прямо сердце разрывается, как вспомню, что ты всё время один.

– Ну, не всё время, тётя. У меня очень много знакомых. Кроме того, я не знаю ни одной девушки, на которой мне хотелось бы жениться.

– Скажи, тебе совсем не нравится Жанна Дюплесси? Хорошая, набожная девушка, и характер чудесный. Я знаю её с пелёнок. И за ней дают хорошее приданое; хотя ты, конечно, слишком не от мира сего, чтобы об этом думать. И ты прав – набожность важнее любых богатств. Но одно другому не мешает, а поместье у них очень хорошее и недалеко от нас. Её не назовёшь красавицей, но она очень мила, и все мы будем так рады, когда ты обзаведёшься семьёй.

Анжелика, запыхавшись, умолкла.

– Но видите ли, тётя, – отвечал, улыбнувшись, Рене, – как бы ни были хороши мадемуазель Дюплесси и её приданое, мне они не нужны. И ведь у нас в семье уже есть один женатый человек. Почему бы мне для разнообразия не остаться холостяком?

Подбородок старой девы задрожал.

– У Анри и Бланш нет детей. А мне бы так хотелось понянчить крошку. Маргарита выросла и стала такой холодной. Последнее время мне порой кажется, что она старше меня.

Рене больше не улыбался.

– Простите, тётя. – Он взял её под руку. Тёплые нотки в голосе племянника придали Анжелике смелости.

– Скажи мне, Рене, что с ней такое? Дело ведь не в несчастье. С ним она примирилась. Но когда она приехала к нам в прошлом году, я сразу поняла – что-то случилось. Она словно сразу состарилась. Что с ней?

Рене молчал.

– Это все тот человек! – вскричала Анжелика. – Он не шлёт больше писем и подарков. Я с самого начала знала, что этим всё кончится. Да и чего ждать от безбожника? Он вскружил ей голову – ей, калеке, и забыл...

– Замолчите! – жёстко сказал Рене. Остановившись, он отпустил тёткину руку. Анжелика ещё никогда не видела у него в глазах такого выражения. – Если вы ещё хоть раз отзовётесь плохо о Феликсе, я перестану с вами разговаривать. Запомните это. А теперь пойдёмте, не то мы опоздаем в церковь.

Испуганная тётка засемила рядом с ним.

Когда они вернулись домой, Рене передали, что отец хочет его видеть. Он немедленно пошёл в кабинет и увидел, что отец ждёт его бледный и расстроенный.

– Плохие вести, Рене.

Маркиз замолчал и поднёс руку к задрожавшим губам.

– Полковник Дюпре прислал мне вырезку из английской газеты... для тебя. Он не знал, где ты сейчас... Там... Нет, я не в силах сказать тебе... Прочти лучше сам.

Рене взял из рук отца заметку, прочитал её и долго сидел неподвижно. Наконец он встал и направился к двери.

– Рене, – еле слышно позвал отец, и сын, не повернув головы, остановился.

– Да?

– А как же Маргарита?

– Я скажу ей сам, – отвечал Рене и добавил: – Немного погодя.

Спустя час кто-то тихо постучал в запертую дверь его комнаты.

– Мне надо поговорить с тобой, Рене, – послышался торопливый шёпот отца. Рене тут же отпер дверь. – Ты взял заметку?

– Нет, она осталась на столе.

– Значит, её взяла Бланш. Я вышел на несколько минут из комнаты, а когда вернулся, заметки на столе не было. Мне страшно. Эта женщина любит вмешиваться в то, что её не касается. Она пошла к Маргарите.

Рене бросился мимо отца на лестницу и тихо, не постучавшись, открыл дверь в комнату сестры. Около кушетки стояла Бланш, Маргарита держала в руке вырезку из газеты.

«Зверства в папской крепости. Бесчеловечное обращение с политическими заключёнными.

Вчера в палате общин член парламента А. Тейлор спросил помощника министра по иностранным делам, правда ли, что...»

Рене выхватил у сестры записку.

– Не надо! Не читай!

– Отдай сейчас же! – хрипло закричала Маргарита. Рене с потемневшими от гнева глазами повернулся к Бланш.

– Выйдите вон. Немедленно. Я и Маргарита хотим побыть одни.

Заперев за Бланш дверь, Рене подошёл к сестре.

– Ромашка...

– Отдай мне записку! – снова закричала она.

– Он умер, Ромашка.

В третий раз зазвенел ужасный вопль:

– Отдай!

Рене упал на колени около сестры.

– Не читай! Зачем тебе знать подробности? Всё кончено. Какое они теперь имеют значение?

– Никакого, – помолчав, отвечала Маргарита, – и поэтому незачем скрывать их от меня. Нелепо утаивать, как именно это произошло.

Она говорила ледяным тоном, и на мгновение Рене перенёсся в долину реки Пастаса и услышал другой голос: «Какое имеет значение, что бы именно могли они сделать?»

Он отдал ей записку и, отойдя к столу, уставился невидящим взглядом на вазу с розами. Тишина, как бескрылое чудовище, волочила по полу свои бесконечные кольца.

– Рене, – наконец позвала Маргарита.

Он подошёл к сестре, обнял её и, опустившись на колени, прижался щекой к её щеке. Она осторожно высвободилась из его объятий, и он похолодел от ужаса.

– Ромашка! – зашептал он, ловя дрожащими руками её руки. – Что встало между тобой и мной? Мне кажется, я потерял и его и тебя: Я не понимаю... Мы живём в каком-то кошмаре или сходим с ума... Я потерял его ещё до того, как он погиб, и до сих пор не знаю почему. Неужели мне суждено и тебя потерять живой?

Её взгляд заставил Рене отшатнуться.

– Нет. Я уже мертва. Это случилось два года назад, в ноябре. Мне жаль тебя, Рене, но мы оба мертвы. Он – труп, а я – египтолог. Это почти одно и то же. Теперь меня интересует только то, что произошло три тысячи лет тому назад.

Рене встал и, глядя сверху вниз на сестру, спросил:

– Ты не объяснишь яснее, дорогая? Что же случилось? Когда два человека – единственные, кого ты любил в мире, – вот так... умирают, очень трудно жить, не зная, что же случилось. Скажи мне, причина – какой-то... – у Рене перехватило дыхание, – причиной был какой-то поступок Феликса?

– Он не виноват. Он был вправе порвать. В её голосе прозвучала горечь, но Рене

почти обрадовался – всё-таки это было человеческое чувство.

– Ты подумала, что я виню его? Нет, для меня оправдан каждый его поступок – потому что это его поступок. Я так и не узнал, почему он порвал со мной. А теперь уже так никогда и не узнаю. Но это ничего не меняет.

– Я знаю, почему он порвал со мной, – прошептала Маргарита.

Лицо её, когда она подняла глаза, было пепельно-серым.

– Его оттолкнула моя любовь, которая была ему не нужна. Достаточно тебе этого? Почему он порвал с тобой, я не знаю. Но, вероятно, он решил, что лучше порвать сразу со всей семьёй... А теперь оставь меня одну.

Рене молча вышел. На лестнице его встретила Анжелика.

– Что случилось, дорогой? Бланш плачет и бранится в гостиной. Она жалуется Анри, что ты оскорбил её. Ах, Рене, да не смотри на меня так – ты ранишь меня в самое сердце! Я знаю, что виновата, и я прошу у тебя прощения за то, что забылась сегодня утром. Я знаю, как дорог тебе твой друг, и не хотела сделать тебе больно. Но последнее время я совсем измучилась. Бланш не стала мне настоящей племянницей, не стала дочерью и твоему дорогому отцу. А с Маргаритой я боюсь разговаривать. Вот если бы тебе понравилась Жанна!

С лёгким смешком Рене повернулся к тётке.

– Не плачьте, тётя. Жанна мне нравится. Если вам так этого хочется, поговорите с её отцом. Что же, все люди женятся.

Жанна старалась быть хорошей женой, она рожала мужу здоровых детей. Так что по крайней мере Анжелика была счастлива, но и Рене, казалось, был доволен своей участью.

Маргарита успокоилась и усердно занималась египтологией. Возможно, Бланш была недалеко от истины, утверждая, что раз уж женщина – беспомощная калека, то надо благодарить милосердного бога, если она к тому же сухарь и синий чулок. Египтология – один из немногих предметов, которыми может заниматься прикованный к постели человек. Когда маркиз умер, его дочь уже могла самостоятельно готовить его рукописи к изданию, и эта работа заполнила остаток её недолгой жизни. В сорок лет Маргарита умерла от осложнения после простуды. Жанна, Анри, Анжелика и Розина искренне оплакивали её кончину.

Для Рене их горе было ещё одной загадкой этого непонятного мира. Сам он уже давно оплакал сестру. Для него она умерла после одного их разговора за несколько лет перед этим, когда он, как обычно, приехал на лето в Мартерель.

Как-то утром он увидел в липовой аллее безутешно рыдавшую пожилую крестьянку. Осторожно расспросив её, он услышал печальную историю. Её дочь, служившая в замке горничной, – Рене припомнил эту тихую, скромную девушку, – «попала в беду», а возлюбленный бросил её. Устрашённая гневом строгого, набожного отца и безжалостным допросом Бланш, девушка бросилась в пруд. Кюре отказал ей в христианском погребении, и мать пришла просить, чтобы капеллан, которым обзавелась получившая наследство Бланш, прочитал в часовне замка над гробом молитву.

Но Бланш отказалась потакать распущенности. Став хозяйкой Мартереля, она

считала себя обязанной следить за нравственностью крестьян.

– А что же брат? – спросил Рене.

– Он говорит, это женское дело, и он не может вмешиваться.

– Почему же вы не пошли тогда к мадемуазель Маргарите?

Женщина зарыдала ещё безутешнее.

– Я к ней ходила. Она тоже не хочет помочь.

– Тут, вероятно, произошло какое-то недоразумение. Я поговорю с сестрой.

Он нашёл её в саду за чтением гранок.

– Я говорил с матерью Лизетты, – начал Рене. – Неужели нельзя настоять, чтобы Бланш разрешила поставить гроб в часовне?

– Дорогой Рене, – ровным голосом ответила Маргарита, – я не понимаю, почему ты обращаешься с этим ко мне? Ведь ты знаешь, что я не набожна. Вам, верующим, виднее, как использовать часовню.

– Я говорю не об этом. Меня возмущает жестокость Бланш.

– Но ведь Лизетта сама во всём виновата, пусть пожинает, что посеяла.

– Маргарита! – вскричал Рене. В эту минуту он был не в силах назвать её Ромашкой, – Маргарита! Но ведь она умерла!

– Ну и что же? Ты всё ещё сентиментален. Смерть не избавляет человека от последствий его поступков.

И она первый раз за время разговора подняла на брата глаза.

– Я тоже умерла, – сказала она, поджав губы. – Я уже говорила тебе. Но мне от этого не легче. Почему же станет легче Лизетте? Для женщин существует непреложный закон целомудрия. И, нарушив его, они должны нести наказание. Но мне все равно. Если хочешь, чтобы Лизетту отпели в часовне, – поговори с Анри.

Рене долго молчал.

– Понимаю, – наконец вымолвил он. – Я пойду погуляю с собаками.

Маргарита снова принялась читать гранки, а Рене ушёл, свистнув собакам.

– Боже, до чего жестоки женщины, – сказал он себе. – И это моя маленькая Ромашка!.. Как хорошо, что мои дети – мальчики.

Рене стал известным профессором и дожил до старости. Его уважали коллеги и любили студенты, он был заботливым мужем и примерным отцом. Но ни в университете, ни дома у него не было близких людей. Даже дети плохо знали своего отца.

Один только раз попробовал он поговорить по душам с сыном. Но попытка оказалась неудачной. Должно быть, он слишком долго молчал.

Это произошло весной 1870 года, когда его сын Морис уезжал в армию. После того как молодой офицер простился с плачущими родными и выслушал их напутствия, а вестовой уехал вперёд с вещами, отец с сыном отправились в Аваллон пешком. Они много раз гуляли вместе, а эта прогулка могла быть последней.

Пока заросли орешника не скрыли из виду большой старый дом, доставшийся Жанне в приданое, Рене шёл молча, потом с улыбкой повернулся к сыну,

– Да, если тебе не удастся отличиться, то уж не из-за недостатка добрых напутствий и советов.

Морис неловко рассмеялся. Милый старенький папа! Вот уж кто никогда не расчувствуется в неподходящий момент.

– Разумеется! Будь это только мама и дедушка Дюплесси, я бы ничего не сказал, но когда этим занимаются все родственники, получается многовато – Когда я был в Мартереле, дядя Анри и тётя Бланш по сорок раз перечислили все искушения, которые подстерегают молодёжь в армии. А потом мне пришлось подняться к тётушке Анжелике и выслушать все ещё раз от бедной старушки.

– Да, – сказал Рене. – Тётя Анжелика всегда любила давать хорошие советы. – Он, нахмурившись, посмотрел на живую изгородь и продолжал: – А я вот, как ты знаешь, этого не умею. Но мне всё-таки хотелось бы сказать тебе кое-что, если только это не будет тебе неприятно.

– Ну что вы, папа! – запротестовал Морис. – Да вы можете мне сказать всё, что сочтёте нужным. Но я, кажется, догадываюсь: «Не ставь поручительства на чужих векселях», – не правда ли? То, что случилось в прошлом году, послужило мне хорошим уроком. И главным образом потому, что вы все поняли и заплатили, ни слова мне не сказав.

Юноша покраснел, замялся и потом взял отца под руку.

– Мне кажется, папа, что у вас дар – уметь вовремя промолчать. Генерал Бертильон как-то сказал мне, что однажды, когда он был моих лет, он сделал страшную глупость и готов был пустить себе пулю в лоб, а вы просто дали ему какое-то срочное поручение и никогда не вспоминали о случившемся. Он сказал, что всю жизнь будет благодарен вам за это и сделает для вашего сына всё, что от него зависит. И... и... я... папа тоже сделаю всё, что от меня зависит.

Рене ласково погладил руку сына.

– Ничего, всё будет хорошо, но я собирался говорить о другом...

Он снова взглянул на живую изгородь. Не так легко было сказать то, что ему хотелось.

– На войне знакомишься с самыми разными людьми. Если ты когда-нибудь повстречаешь человека и он покажется тебе... непохожим на тебя и на других... одного из тех редких людей, которые проходят среди нас как ослепительные звезды... постарайся не забыть, что знать таких людей – большое счастье, но любить их опасно.

– Я не совсем вас понимаю, папа, – ответил Морис. Добродушный, здоровый юноша, каким был Морис, мог стать отличным офицером, но он вряд ли был способен разбить своё счастье, что-нибудь чрезмерно полюбив.

Рене со вздохом провёл рукой по седым волосам.

– Это не так-то просто объяснить. Понимаешь ли, маленькие радости, и горести, и привязанности – всё, что так дорого для нас, простых смертных, все это слишком обыденно для этих людей и не заполняет их жизни. А когда мы всей душой к ним

привязываемся и думаем, что наша дружба нерасторжима, порой оказывается, что мы им только в тягость.

И тут же сдержал себя, словно боясь даже на миг упрекнуть трагическую тень того, чьи глаза преследовали его до сих пор.

– Не подумай, что они способны сознательно обманывать нас. Так поступают только мелкие люди, а по-настоящему великие люди всегда стараются быть добрыми. В этом-то и беда. Они терпят нас из сострадания или благодарности за какую-нибудь услугу, которую нам посчастливилось им оказать. А потом, когда мы им окончательно надоедаем, – а это должно произойти рано или поздно, ведь они всё-таки только люди, – тогда нам бывает слишком поздно начинать жизнь сначала.

– Но... – начал Морис.